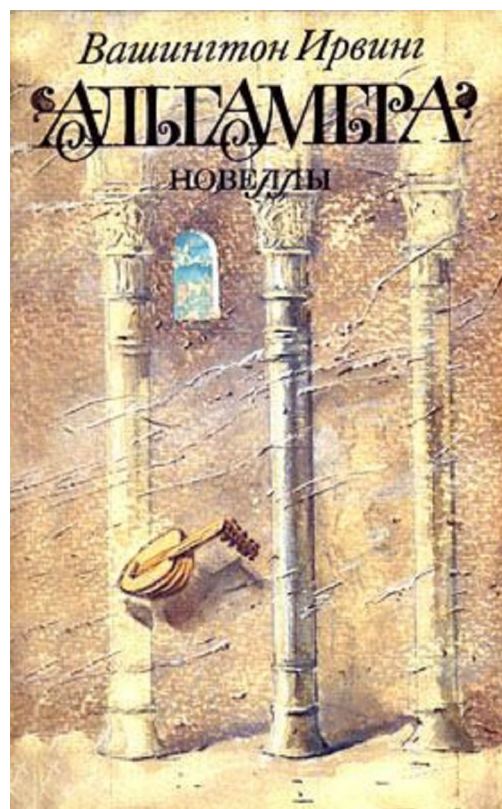




Вашингтон Ирвинг

Альгамбра

Предисловие к пересмотренному изданию

Из нижеследующих рассказов и очерков одни были написаны начерно в самой Альгамбре, другие позже, по тамошним наброскам и заметкам. Я тщательно соблюдал местный колорит и достоверность, дабы явить цельную, правдивую и живую картину того микрокосма, того необычайного мирка, в который меня забросил случай и о котором иностранцы имеют крайне туманное представление. Я прилежно стремился обрисовать его полуиспанский, полувосточный облик – в смешении героического, поэтического и несуразного; озарить живым огнем следы былой красоты и очарование осыпающихся стен; поведать о царственных и рыцарских заветах, которыми жили те, чьи шаги по дворцовым плитам давно отзвучали; пересказать причудливые и суеверные легенды, оставленные в наследство нынешнему роду, промышленяющему на развалинах.

Три или четыре года пролежали в портфеле мои наброски, пока я в 1832 году не оказался в Лондоне, на обратном пути в Соединенные Штаты. Я попытался подготовить их для печати, но помехою стали предотъездные хлопоты. Незаконченное отсеклось, прочее было сведено наспех, небрежно и вразброс.

Для настоящего издания я пересмотрел и перестроил всю книгу, кое-что дописал, кое-что добавил из ранее опущенного, постаравшись восполнить пробелы и сделать мой

труд как можно более достойным того снисхождения, каким его в свое время почтили.
Саннисайд, 1851
В. И.

Путешествие

Весной 1829 года автор этого сочинения, привлеченный в Испанию любопытством, проехался из Севильи в Гранаду в обществе приятеля, сановника русского посольства в Мадриде. Нас, уроженцев разных концов земли, свел случай, а сходство вкусов сделало нас спутниками в странствии по романтическим нагорьям Андалузии. Куда бы ни привел его долг службы – в придворном ли круговращенье или в созерцанье неподдельного величия природы, – если эти страницы попадутся ему на глаза, да напомнят они ему о превратностях нашего совместного пути, в особенности же об одном случае, когда он выказал столько доброты и благородства, что ни годы, ни мили не изгладят этой памяти [1 - Автор полагает себя вправе открыть, что его спутником был князь Долгоруков, ныне российский посол при персидском дворе (примеч. В. Ирвинга к пересмотренному изданию).].

Однако прежде всего надо мне сделать несколько предварительных замечаний об испанском ландшафте и о том, каково путешествовать по Испании. Торопливое воображение рисует Испанию краем южной неги, столь же пышно-прелестным, как роскошная Италия. Таковы лишь некоторые прибрежные провинции; по большей же части это суровая и унылая страна горных кряжей и бескрайних степей, безлесная, безмолвная и безлюдная, первозданной дикостью своей сродни Африке. Пустынное безмолвие тем глуше, что раз нет рощ и перелесков, то нет и певчих птиц. Только стервятник и орел кружат над утесами и парят над равниной да робкие стайки дроф расхаживают в жесткой траве; но мириад пташек, оживляющих ландшафты иных стран, в Испании не видать и не слышать, разве что кое-где в садах и кущах окрест людских селений.

В глубинных областях путешественник вдруг окажется среди нескончаемых полей, засеянных, сколько видно глазу, пшеницей или поросших травой, а иногда голых и выжженных, но тщетно будет он озиаться в поисках землепашца. Покажется наконец на крутом склоне или на каменистом обрыве селеньице с замшелым крепостным валом и развалинами дозорной башни – укрепления былых времен, времен междоусобиц и мавританских набегов; но и нынче испанские крестьяне не утратили обыкновения держаться сообща, ибо надобность защищать друг друга остается, пока кругом рыщут разбойничьи шайки.

Хотя Испания по большей части лишена древесного убранства и не пленяет мягкой прелестью возделанных земель, все же в суровом испанском ландшафте есть свое особое благородство: он вполне под стать здешним жителям, и полагаю, что я стал лучше понимать горделивых, закаленных, непритязательных и воздержанных испанцев, их мужественную стойкость в невзгодах и презрение ко всякой неге и роскоши, с тех пор как повидал их страну.

Вдобавок в этой жесткой простоте испанской земли есть нечто настраивающее душу на возвышенный лад. Нескончаемые равнины Кастилии и Ла Манчи, во всю ширь раскинувшиеся перед глазами, красит именно их нагота и нескончаемость: они торжественно-величавы, подобно океану. Блуждая по этим бескрайним степям, взгляд различает там и сям разбредшееся стадо и при нем пастуха, недвижимого, как изваяние, с тонким посохом, торчащим ввысь, словно пика; или длинную вереницу мулов, медлительную, как верблужий караван в пустыне; или одинокого всадника с ружьем и

кинжалом, степного бродягу. Так что и в стране, и в обычаях, и в самом облике жителей есть что-то арабское. Все и везде ненадежны, и все при оружии. И землепашец на полях, и пастух в степи не расстаются с мушкетом и ножом. Зажиточный селянин вряд ли поедет на рынок без своего trabuco [2 - Мушкетон (исп.) – короткое ружье с раструбом.], а, пожалуй, прихватит и пешего слугу с ружьем на плече; к самому ближнему путешествию готовятся будто к походу.

Дорожные опасности предreshают и способ путешествия, в миниатюре подобный восточному каравану. Arrigeros, или погонщики, собираются в конвой и отправляются затем в назначенный день вооруженной кавалькадой; желающие присоединяются к ним и усиливают отряд. Таким-то первобытным способом и происходит обмен товарами и вестями. Без погонщика мулов здесь шагу не ступишь; а он веренно бороздит страну, пересекая полуостров от Пиренеев и Астурии к Алыгу-харре, Серранье де ла Ронда и до самого Гибралтарского пролива. Он экономен и неприхотлив: переметные сумы из грубой материи вмещают весь его запас провианта, у луки висит кожаная бутылка с вином или водой: ведь путь лежит по выжженным горам и безводным равнинам; разостланная попона – его постель, вьючное седло – изголовье. Он низкого роста, но ладно скроен и мускулист – видно, что крепок, смугл до черноты; его решительный, но спокойный взгляд порой вдруг вспыхивает; держится он открыто, помужски вежливо и никогда не пройдет мимо вас без степенного напутствия «Dios garde a listed! Va usted con Dios, caballero!» («Храни вас господь! Господь с вами, кабальеро!»).

Часто мул несет на себе все достояние хозяина, и тот держит оружие под рукой, у седла, наготове для смертельной схватки; правда, ездят погонщики скопом, отпутивая мелкие бандитские шайки; и вооруженный до зубов одинокий bandolero [3 - Разбойник (исп.).] на своем андалузском скакуне кружит над ними, не рискуя напасть, как пират возле каравана торговых судов.

У испанских погонщиков неистощимый запас песен и баллад, скрашивающих их бесконечные странствия. Напевы их диковаты, просты и монотонны. Поют они старательно, громко, заунывно, сидя боком в седле, и мулы их, похоже, с несказанной важностью прислушиваются и вышагивают в такт пению. Поют старинные романсы о битвах с маврами, житийные стихи или какие-нибудь любовные песенки, а едва ли не чаще – баллады о дерзких контрабандистах и отважных бандолеро, ибо испанские простолюдины почитают пройдоху и грабителя лицами поэтическими. Частенько погонщик тут же и сочиняет песню, и в ней описываются окрестные виды или дорожные происшествия. В Испании бездна певцов-импровизаторов: говорят, что это пошло от мавров. С какой-то смутной усладой внимаешь их напевам, оглашающим дикую и унылую местность под неизменное позвякивание колокольцев.

Особенно живое впечатление оставляет встреча с вьючным обозом на каком-нибудь перевале. Сначала слышатся колокольца передних мулов, незатейливым переливом нарушающие высокогорную тишь; а может статься, голос погонщика, который укоряет ленивого, неповоротливого мула или во всю мочь распевает старинную балладу. Наконец видны и сами мулы, мерно шествующие извилистою тропой по скалистым кручам – то под обрыв, в полный рост вырисовываясь на небесном фоне, то в гору, выбираясь из выжженного ущелья. Они приближаются, и вот уже перед глазами колышется их пестрое убранство: шерстяные попоны, султаны, ковровые чепраки; провожая их взглядом, видишь неизменное трабуко, притороченное позади выюков, и припоминаешь, что дорога ненадежна.

Древний эмират Гранада, в былые пределы которого нам предстояло углубиться, занимал когда-то одну из самых гористых областей Испании. Необозримые сьерры, цепи гор, на которых нет ни деревца, ни кустика, испещренные цветными мраморами и гранитами, возносят опаленные вершины к иссиня-черным небесам, однако в их каменном лоне укрыты зеленые и плодоносные долины, где сад одолевает пустыню и

где самые скалы словно поневоле рожают инжир, апельсины и лимоны и облекаются миртом и розою.

В этой горной глуши взору вдруг предстают стены крепостей и селеньиц, примостившихся на уступах скал, подобно орлиным гнездам, и окруженных мавританскими укреплениями, или развалины дозорных башен, венчающие каменные пики, – и на память приходят рыцарские времена, войны христиан и сарацинов и легендарное покорение Гранады. На высоких перевалах через сьерры путник то и дело принужден спешиться и ведет свою лошадь вверх или вниз по крутым каменистым склонам, словно по обломанным лестничным ступеням. Иногда дорога вьется над пропастью, и бездна не отгорожена парапетом, – а затем ведет вниз темной и опасной кручей. Иногда она следует по неровным краям barrancos – оврагов, источенных зимними потоками, чуть видной тропой контрабандиста, а зловещий крест, свидетельство грабежа и убийства, воздвигнутый поодаль на груде камней, напоминает путешественнику, что разбойники не дремлют и что сейчас он, может статься, бредет под оком незримого бандолеро. Иногда, пробираясь извилистым путем по узкой лощине, путник вдруг слышит сиплое мычание и видит над собой на зеленом выгоне стадо свирепых андалузских быков, предназначенных для арены. Я испытывал, если можно так выразиться, приятный ужас, наблюдая вблизи этих страшных и могучих животных, пасущихся на родных лугах в первозданной дикости, вдали от людей: им знаком только их пастух, да и тот иной раз робеет к ним приблизиться. Густое мычание этих быков и тот грозный вид, с каким они поглядывают вниз со своих скалистых круч, придают еще дикости и без того диким местам.

Я, кажется, невольно увлекся и чересчур затянул рассказ о путешествии по Испании; однако ж все иберийские воспоминания как-то по-особому притягательны для воображения.

Путь наш в Гранаду лежал через горы, еле заметными тропами, где, по слухам, хозяйничают разбойники, так что мы приняли все необходимые предосторожности. Самая ценная часть наших пожитков была отправлена с оказией днем-двумя раньше; при нас остались только платье, скудные дорожные пожитки и деньги на расходы – с некоторым избытком на откуп 'от грабителей, если рыцари с большой дороги удостоят нас нападения. Беда, коли прижимистый путник воздержится от этой предосторожности и попадет к ним в лапы с пустым кошельком – ему, пожалуй, достанется от них на орехи за такую скаредность: «Неужели кабальеро должны рыскать по дорогам и рисковать виселицей за здорово живешь?»

Для нас нашлась пара крепких жеребцов; третьего, нагруженного нашей скудной поклажей, оседлал дюжий парень-бискаец лет двадцати – наш провожатый, конюх, лакей и в особенности телохранитель. По этому поводу он вооружился внушительным трабуко – тяжеленным мушкетом, которым пообещал защитить нас от всевозможных ратеро – пеших разбойников-одиночек; но если какая-нибудь банда, положим «Сыны Эсихи», нападет гуртом, тут он, говоря по чести, бессилен. Вначале он очень хвастался своим оружием; но увы, оно протряслось у него за седлом, даже и незаряженное.

Условлено было, что путевые расходы на корм и конюшню берет на себя владелец лошадей, на его же иждивенье и наш оруженосец, которому мы, однако, втихую намекнули, что уговор уговором, а если он будет служить толково и исправно, то мы позаботимся и о нем и о лошадях, а выданные ему деньги останутся у него в кармане. Эта неожиданная щедрость да вовремя предложенная сигара совершенно покорили его сердце. Он и так-то был парень услужливый, веселый и добродушный, с постоянными поговорками и прибаутками на языке, вроде прославленного Санчо, образца всех оруженосцев, имя которого, кстати, мы ему и присвоили; и, как сущий испанец, он вел себя с нами приветливо и дружелюбно, но и в самом буйном веселье ни на миг не терял почтительности.

Так мы понемногу собрались в путь; главное же – мы хорошенько запаслись добродушием и были искренне готовы довольствоваться малым; ведь нам предстояло странствие поистине контрабандистское: как устроимся, так и ладно, с кем сведет бродяжья судьба, с теми и хорошо. В Испании как же иначе и путешествовать. А если эдак настроиться и приготовить, то что за страна для путешественника! В любом постоялом дворе приключений не меньше, чем в зачарованном замке, любая трапеза едва ли не колдовство! Пусть кто хочет жалуется, что им не хватает шлагбаумов на дорогах и гостиниц – всех тех удобств, которыми потчует благоустроенная и на общий лад цивилизованная страна, а по мне лучше кое-как карабкаться по горам, пробираться наобум, наугад, наудачу; и пусть нас встречают с немудрящим и все же неподдельным гостеприимством, которое придает столько очарования доброй старой романтической Испании!

Так настроившись и так экипировавшись, мы выехали из «чудного града Севильи» ярким майским утром в половине седьмого; нас провожали верхом знакомая дама с кавалером, расставаясь с нами по-испански. Путь наш лежал мимо древней Алкалы да Гвадайра (Алкалы-на-Айре), благотельницы Севильи, снабжающей ее хлебом и водой. Здесь живут пекари, которым Севилья обязана отменными и прославленными хлебами; здесь выпекаются роскас [4 - Крендели (исп.)], известные под заслуженным именем pan de Dios (хлеб господень), которыми, кстати, мы велели нашему Санчо набить дорожные сумки. Недаром этот благотельный пригород именуется «хлебницей Севильи», Алкала де лос панадерос: большая часть здешних обитателей состоит при пекарне, и навстречу нам брели вереницы ослов и мулов, навьюченных огромными корзинами с караваями и кренделями.

Я сказал, что Алкала снабжает Севилью водой. Здесь расположены большие резервуары-водохранилища, сооруженные римлянами и маврами; от них к городу тянутся стройные акведуки. Алкальские родники столь же славны, как здешние пекарни: говорят, что и хлеб такой вкусный отчасти потому, что вода мягкая, сладкая и чистая.

Здесь мы задержались у развалин старого мавританского замка: это излюбленное место севильских пикников, и нам припомнились многие проведенные здесь приятные часы. Длинные стены в прорезях бойниц окружают квадратную громаду с остатками подземных закровов (масморас). Гвадайра огибает холм у подножия развалин, журча среди камышей и кувшинок; склон порос рододендронами, шиповником, желтым миртом, дикими цветами и благоуханным кустарником, и вдоль берегов тянутся апельсиновые, лимонные, гранатовые рощи; из них доносилось пение раннего соловья.

Через речку переброшен живописный мост, у въезда на который стоит ветхая мавританская замковая мельница, защищенная башней желтого камня; на стене ее сушилась развешанная рыбацья сеть, неподалеку на воде покачивалась лодка; крестьянки в ярких платьях шли по выгнутому мосту и отражались в тихоструйном потоке. Сцена на радость художнику-пейзажисту.

Старые мавританские мельницы у мелких речушек встречаются в Испании повсюду и напоминают о былых тревожных временах. Все они каменные и часто имеют вид башен с бойницами и парапетами: это бастионы тех буйных дней, когда жителям по обе стороны границы грозил внезапный набег и торопливый грабеж, когда мужчинам приходилось работать при оружии и заботиться о временном укрытии на случай опасности.

Следующая наша стоянка была в Гандуле, тоже у руин мавританского замка с развалинами башни, на которой гнездились аисты; но видна была оттуда вся кампинья – плодородная долина, в окружении дальних вершин Ронды. Такие замки строились как твердыни – охранять равнины от набегов, когда враги опустошали поля, угоняли с пастбищ овец и коров, захватывали крестьян; и длинные кавалькады торопливо

скрывались в горах.

В Гандуле мы обнаружили сносную гостиницу: люди добрые знать не знали, сколько нынче времени, время у них вызванивают раз в сутки, в два пополудни, а до этого живи вдогад. Мы догадались, что настал обеденный час, и, спешившись, спросили поесть. Пока еду готовили, мы побывали во дворце, бывшем обителище маркиза Гандульского. Там царило запустение: остались два-три жилых покоя, на редкость бедно обставленных. Кое-что, впрочем, напоминало о былом великолепии: терраса, по которой когда-то разгуливали прекрасные дамы и благородные кавалеры; пруд и заброшенный сад, заросший виноградом, с обомшелыми пальмами. Здесь нам встретился толстый священник; он нарвал букет роз и любезно преподнес его нашей даме.

Дворец был на горе, а под горой – мельница у тихой речки среди апельсиновых и алойных деревьев. Мы пристроились в тени, и мельники, оставив работу, подсели к нам и закурили, ибо андалузцы всегда готовы поболтать. Они поджидали цирюльника, который раз в неделю приезжал и выбривал им подбородки. Он вскорости прибыл: парень лет семнадцати верхом на осле, донельзя гордый своими новыми альфорхами, или седельными сумками, только что купленными на ярмарке. Один доллар за них предстояло ему заплатить в июне, на святого Иоанна, уж к тому-то времени волосаяная жатва принесет нужный доход.

Когда башенные часы проронили два удара, мы уже покончили с обедом, простились с севильскими друзьями, оставили мельников попечениям брандбурга и отправились в путь, который лежал через кампанию. Это была обычная испанская широкая равнина: мили и мили ни дома, ни деревца. Беда здесь путнику вроде нас, застигнутых бурными ливнями: ни прибежища, ни укрытия. Нас только и спасали наши испанские плащи, почти до земли покрывавшие всадника и лошадь, но они тяжелели с каждой милей. Едва успевал кончиться один ливень, как медленно, но верно собирался другой; по счастью, в промежутке светило и палило андалузское солнце; плащи наши выпускали клубы пара, еле успевали слегка подсохнуть и снова мокли.

В послезакатный час мы добрались до Арахали, маленького нагорного городка. Там была суетня по случаю прибытия отряда мигелетов, прочесывавших окрестности на страх грабителям. Во внутренних районах страны к иностранцам не привыкли, и весь городок, понятно, тут же занялся толками и пересудами. Хозяин с двумя или тремя умудренными старцами в бурых плащах изучал наши подорожные в углу гостиной, а альгвасил переписывал их при тусклом свете лампы. Подорожные писаны были по-иностранному и озадачивали их; но наш оруженосец Санчо помогал им разобраться, превознося нас до небес с испанской велеречивостью. Мы тем временем щедро оделили присутствующих сигарами, расположив к себе сердца, и все захлопотали о том, как бы нас получше принять. С визитом явился сам коррегидор, и по мановению хозяйки в нашу комнату торжественно внесли громадное кресло с тростниковым сиденьем, предназначенное для его персоны. Отужинал с нами и командир патрульного отряда, говорливый балагур-андалузец, которому довелось воевать в Южной Америке; он рассказывал о своих амурных и военных подвигах, не скупясь на пышные фразы и выразительные жесты и таинственно закатывая глаза. Он поведал нам, что у него есть список всех окрестных бандитов, что он, как бог свят, выловит их, мерзавцев, с первого до последнего, и предлагал в провожатые любого из своих солдат. «Для охраны, сеньоры, хватит одного человека: бандиты знают меня и знают моих людей: любой из них нагонит ужас на всю сьерру». Мы поблагодарили его в том же стиле и заверили, что под охраной несравненного Санчо нам не страшны все вместе взятые разбойники Андалузии.

Так, ужиная с нашим воинственным другом, мы слышали звон гитары и щелканье кастаньет, а потом хор завел народную песню. Оказалось, что наш хозяин созвал

певцов и музыкантов, собрал окрестных красоток, и теперь трактирный дворик-патио стал сценой подлинно испанского праздника. Мы уселись рядом с хозяином, хозяйкой и командиром отряда под дворовою аркой; гитара гуляла по рукам, и подлинным Орфеем здешних мест был шутник-сапожник. Он был недурен собой, с длиннейшими черными бакенбардами, рукава закатаны до локтя. Он перебирал струны, как истинный мастер, и спел любовную песенку, ослабившись на женщин, которые его явно жаловали. Потом станцевал фанданго с пышногрудой андалузянкой, к общему восторгу зрителей. И никто из девиц не мог сравниться с прелестной дочкой хозяина Пепитой, которая где-то пропадала, прихорашивалась и явилась в венке из роз: она отличилась в болеро с молодым красавцем драгуном. Мы велели хозяину оделить всех вином и сладями; и, хотя сборище было пестрое – солдаты, погонщики и деревенские, – никто не преступил трезвых приличий. Сцена была уготована для художника: живописная группа танцоров, патрульные в полувоенном платье, крестьяне в своих бурых плащах; не пропустить бы, кстати, тощего старого альгвасила в коротком черном плаще: он не обратил никакого внимания на все происходящее и уселся в углу, прилежно пищуци в тусклом свете большой медной лампы, словно во дни Дон Кихота.

Настало утро, яркое и душистое, самое что ни на есть майское утро, если верить поэтам. Арахаль мы покинули в семь часов, и весь постоянный двор вышел нас провожать; мы отправились своим путем плодородными полями, засеянными пшеницей и заросшими травой, полями, которые летом, к концу жатвы, лежат пересохшие, унылые и печальные: кругом нет ведь ни домов, ни людей, словно на давешнем переходе. Люди попрятались по нагорным деревенькам и крепостям: можно подумать, что эти плодородные долины все еще ждут набегов мавра.

К полудню мы оказались возле купы деревьев у заросшего ручья. Здесь мы остановились перекусить. Место было прекрасное, среди пышных цветов и душистых трав, а кругом пели птицы. Зная, что испанские трактиры бедны и что ехать нам по безлюдной местности, мы уж постарались набить альфорхи [5 - Здесь надо заметить, что альфорхами называются квадратные карманы по концам матерчатой полосы в полтора фута длиною, образованные подверткою. Полосу эту протягивают под седлом, и карманы висят по бокам, словно чересседельные сумки. Это арабское изобретение. Бота – кожаный бурдюк, или бутылъ изрядного размера, узкогорлая. Она тоже с Востока. Так мне стало понятно смущавшее меня в детстве евангельское предупреждение – не наливать новое вино в ветхие мехи, то бишь бурдюки (примеч. авт.).] нашего оруженосца запасами провизии, а его бота -кожаная бутылъ, вмещавшая чуть ли не галлон, – была доверху наполнена изысканным вальдепеньским вином. От этого наше благополучие зависело даже больше, чем от его трубуко, и мы прямо-таки заклинали его не оставлять заботами сумки и бутылъ; и надо отдать ему должное – даже его тезка, запасливый Санчо Панса был не столь ревностным добытчиком. Хотя и альфорхи и бота то и дело старательно опустошались, у них было чудесное свойство восполнения, ибо наш недремлющий оруженосец прибирал все, что оставалось от гостиничных трапез, для придорожных пиршеств, до которых он был превеликий охотник.

Он разложил перед нами на траве роскошную закуску, гвоздем которой был изумительный севильский окорок, и, отсев подальше, угощался остатками из глубин сумок. Раз-другой приложившись к боте, он возвеселился и застрекотал, словно кузнецик, опившийся росы. Я заметил, что он набивает свои альфорхи так же, как Санчо снимал пробу на свадьбе Камачо; оказалось, что он не худо знает историю Дон Кихота и, подобно многим простым испанцам, почитает ее подлинной.

– Все это было давным-давно, сеньор, – сказал он с вопросительным видом.

– Да, очень давно, – отвечал я.

– Пожалуй, больше тысячи лет назад, – но все еще с некоторым сомнением во взгляде.

– Пожалуй, не меньше.

Оруженосец остался доволен. Нашему простодушному слуге необычайно льстило сравнение с Санчо, который тоже был не дурак закусить, и всю дорогу он сам себя иначе не называл.

Покончив с едой, мы расстелили плащи на лужайке под деревом и на славу отдохнули, по испанскому обычаю. Между тем небо затянуло и с юго-востока подул резкий ветер; мешкать не следовало. К пяти часам мы прибыли в Осу, расположенный на откосе город с пятнадцатитысячным населением, церковью и разрушенным замком. Подворье было за городом и выглядело довольно сумрачно. Вечер выдался холодный, постояльцы теснились в углу, поближе к брасеро [6 - Жаровня (исп.)], где хозяйничала иссохшая старуха, похожая на мумию. Встретили нас косыми взглядами, как и принято у испанцев встречать чужаков, но мы дружелюбно и почтительно приветствовали милостивых государей, прикоснувшись к полям сомбреро, и тем потрафили испанской гордости; когда же мы уселись среди них, запалили сигары и пустили портсигар по кругу, победа была полная. Я не знал такого испанца, чтобы позволил превзойти себя в любезности, а предложить здешнему простолюдину сигару (пуро) – значит стать его приятелем. Только упаси вас бог предлагать ее высокомерно-нисходительно: всякий из них кабальеро и не поступится достоинством ради подачки.

Наутро, покинув Осу в ранний час, мы углубились в горы. Извилистый путь вел по живописной, но безлюдной местности; за обочиной там и сям возникали кресты, свидетельства преступлений: мы вступали в «разбойные пределы». Этот дикий и глухой край безмолвных долин и логовин, разделенных горными кряжами, издавна славен своими бандитами. В девятом столетии здесь правил беспощадною рукой мусульманский разбойничий главарь Омар ибн Гассан, непокорный даже халифам кордовским. Во времена Фердинанда и Изабеллы сюда вторгался частыми набегами Али Атар, старый мавританский властитель твердыни Лоха, тесть Боабдила, и места эти были прозваны «садом Али Атара»; здесь скрывался знаменитый испанский головорез Хосе Мария.

Днем мы перебрались через Фуэнте ла Пьедра неподалеку от соленого озерца с тем же названием; в его овальной глади как в зеркале застыло отражение дальних гор. И тут мы завидели Антекеру, древний город воителей, укрытый в лоне мощной сьерры, пересекающей Андалузию. Он лежал в долине, являвшей картину пышного плодородия, в обрамлении скалистых гор. Миновав тихую речку, мы поехали вдоль живых изгородей, мимо садов, где заливались вечерние соловьи. К ночи мы достигли городских ворот. В этом старинном городе все было как искони. Слишком он далеко отстоит от торных путей, и торговые караваны не вытоптали здесь давних обычаев. Я увидел стариков, на чьих головах, как прежде, красовалось монтеро, стародавняя охотничья шапка, когда-то обычная повсюду в Испании; молодежь носила маленькие шляпы с круглой тульею и подвернутыми вверх полями, как опрокинутые чашки на блюдечках; шляпы украшали черные банты, словно кокарды. Женщины все были в мантильях и баскинях. Парижские моды не достигли Антекеры.

Мы ехали по широкой улице и остановились у подворья Сан Фернандо. Антекера хоть и солидный город но, как уже было замечено, стоит в стороне от больших дорог, и я предвидел жалкое помещение и предвкушал дурную пищу. Однако я приятно обманулся: нас ждал обильный стол и, что еще важнее, уютные, чистые комнатухи и мягкие постели. Санчо чувствовал себя, словно собственный тезка, когда тот добрался до герцогской кухни, и мне было сообщено перед ночлегом, что альфорхи полным-полнешеньки.

На другое утро (4 мая) я совершил раннюю прогулку к развалинам старого

мавританского замка, который был в свое время воздвигнут на руинах римской крепости. Здесь, усевшись на развалинах осыпающейся башни, я наслаждался великолепным и многокрасочным зрелищем, которое прекрасно само по себе и вдобавок овеяно романтической памятью и туманными легендами, ибо я был в самом сердце края, славного битвами мавританских и христианских витязей. Подо мною, в горной теснине простерся древний воинственный город, столь часто упоминавшийся в летописях и балладах. Вон из тех ворот, вон по тому склону прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду и все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур. А за воротами простерлась долина – сады, поля, луга, – уступающая прелестью разве что прославленной долине Гранадской. Справа над долиною высился кряж и нависала Скала Влюбленных, откуда бросились дочь мавританского властителя и ее несчастный любовник, когда их настигла погоня.

Когда я шел вниз, из церкви и монастыря под горой вознесся призыв к заутрене. На базарной площади уже собирался и толпился народ, торгующий щедрыми плодами долины, ибо здесь находится главный окрестный рынок. В изобилии продаются свежесорванные розы: ведь андалузянке, замужней и незамужней, нужна, для завершения наряда, роза в иссиня-черных волосах.

Вернувшись на подворье, я застал нашего Санчо в оживленной беседе с хозяином гостиницы и двумя-тремя его прихлебателями. Санчо как раз досказал какую-то чудную историю про Севилью, и хозяин, видно, решил, что надо рассказать что-нибудь не хуже и про Антекеру. Когда-то, поведал он, на одной городской площади был фонтан под названием *El fuente del toro* (бычий фонтан), потому что вода хлестала из пасти быка, чья голова была изваяна из камня. А под изваянной головой было высечено:

En frente del toro
Se hallen tesoro

(Во лбу у быка таится сокровище). Многие рыли землю у фонтана, но трудились попусту и денег не нашли. Наконец один умник истолковал надпись иначе. Во лбу (*frente*) быка, а не где-нибудь нужно искать сокровище, вот он его и найдет. Явился он с молотком поздно ночью и разнес бычью голову вдребезги. И что же, вы думаете, он там нашел?

– Золото и брильянты! – взволнованно выкрикнул Санчо.

– Ничего не нашел, – сухо возразил хозяин. – И фонтана не стало.

Прихлебатели хозяина разразились хохотом: Санчо попросту поддели дежурной хозяйской шуточкой.

Мы покинули Антекеру в восемь утра и ехали вдоль речушки, мимо садов и цветников, источающих весенние ароматы и звенящих соловьиным пением. Мы обогнули Скалу Влюбленных (*el peñon de los enamorados*), а утром миновали высокогорный городок Арчидона; над ним вздымалась гора с трех вершинах и высились развалины мавританской крепости. Немалым трудом далась нам крутая каменистая улица, которая вела в город, хоть она и носила бодрое имя Калье Реаль дель Льяно (Королевская Равнинная улица), но еще труднее было спускаться по другому склону.

В полдень мы сделали привал в виду Арчидоны на чудесной лужайке, окруженной пригорками в оливах. Плащи наши были расстелены под вязом, возле говорливого ручейка, стреноженные лошади паслись на сочной траве; дошел черед до сумок Санчо. Все утро он был непривычно молчалив – с тех самых пор, как его выставили на смех, но теперь его лицо просветлело, и он победоносно взялся за свои альфорхи. За четыре

дня в них поднакопилось изрядно, а особенно они пополнились накануне вечером, в изобильном трактире Антекеры: тут-то наш Санчо и сквитался с шутником-хозяином.

En frente del toro
Se hallen tesoro, –

восклицал он, заливаясь смехом и являя то да се на свет божий нескончаемой чередой. Сначала показалась баранья лопатка, почти совсем свежая, за нею цельная куропатка, затем здоровенный кусок соленой трески в бумаге, потом остаток окорока и полцыпленка, а уж заодно несколько бутылок и россыпь апельсинов, инжира, орехов и винограда. Бота его была полна отменной малаги. Вынимая свои запасы, он наслаждался нашим преувеличенным удивлением, с хохотом опрокидывался навзничь на траву и вскрикивал: «Frente del toro! frente del toro!» («Ах, сеньоры, они там, в Антекере, посчитали Санчо простаком; нет, Санчо знает, где искать tesoro!»)

Пока мы развлекались этим незатейливым шутовством, к нам приблизился нищий, с пышной седой бородой, похожий на странника. Он опирался на посох, но преклонные года не согнули его: высокий и прямой, он был когда-то, верно, сложен на диво. На нем были круглая андалузская шляпа, овчинная куртка, кожаные штаны, гетры и сандалии. Платье его, старое и латаное, все же выглядело прилично, осанка горделивая, и обратился он к нам с суровой вежливостью, присущей любому испанцу. Гость был как раз ко времени, и в приливе прихотливого сострадания мы одарили его серебряной мелочью, дали ему сдобную булку и предложили бокал изысканной малаги. Он поблагодарил без малейшей лести или приниженности. Отведав вина, он несколько удивленно поглядел бокал на свет и, осушив его одним глотком, сказал: «Такого вина мне много лет не доводилось пробовать. Это отрада стариковскому сердцу». И затем, взглянув на сдобную булку: «Bendito sea tal pan!» («Благословен будь сей хлеб!») – и с этими словами положил ее в котомку. Мы уговаривали его поесть не откладывая. «Нет, сеньоры, отвечал он, – вино нужно было выпить либо отказаться, а хлеб я с вашего позволения отнесу домой и поделюсь со своими».

Санчо вопросительно поглядел на нас и, поняв, что мы не против, уделил старику от нашей изобильной трапезы на условии, что он сядет и поест.

Тотуселся чуть поодаль и принялся есть – неспешно, опрятно и чинно, под стать идальго. Судя по его сдержанности и спокойному достоинству, мне подумалось, что он знал лучшие дни; речь его была хоть и проста, однако ж порою красочна, почти даже поэтична. Я принял было его за обнищавшего дворянина. И ошибся: учтивость – врожденная черта испанца, а поэтические обороты мысли и речи не редкость встретить и в самых низших слоях этого народа с ясною головой. Он рассказал нам, что пятьдесят лет был пастухом, а теперь его никто не нанимает, вот он и дошел до крайности. «В молодости, – сказал он, – все мне было в радость и на пользу, всегда я был здоров и весел, а нынче, семидесяти девяти лет от роду, пришлось пойти по миру, и на сердце у меня скорбь».

И все же покамест он не живет подаянием, лишь недавно нужда довела его до нищенства; и он трогательно описал, как голод боролся в нем с гордостью, когда мера его лишений переполнилась. Он возвращался из Малаги без гроша, несколько дней ничего не ел, и путь его лежал по малолюдной равнине. Полумертвый от голода, он попросил подаяния у дверей венты, деревенской харчевни. «Perdon listed por Dios hermano!» («Прости бога ради, брате!») – услышал он в ответ – так в Испании принято отказывать нищим. «Я отпрянул, – сказал он, – и стыд заглушил голод, ибо сердце мое еще не смирилось. Я пришел к быстрой и глубокой реке с крутыми берегами, и у меня было искушение броситься в нее: «Зачем жить такому никчемному, жалкому старику?» Но на краю обрыва я подумал о блаженной Приснодеве и побрел дальше. Я шел и шел

и завидел усадьбу невдалеке от дороги, свернул и зашел во двор. Дверь была на запоре, но из окна выглянули две молодые сеньоры. Я приблизился и попросил милостыню. «Perdon listed por Dios, hermano!» – и окошко затворилось. Я поплелся было со двора, но голод одолел меня, и я пал духом: решив, что пробил мой час, я лег у ворот, препоручил душу пресвятой деве, укрыл лицо и приготовился умереть. Вскоро вернулся хозяин усадьбы; он заметил, что я лежу возле ворот, заглянул мне в лицо, сжалился над моими сединами, ввел в свой дом и накормил. Как видите, сеньоры, никогда не нужно отчаиваться в заступничестве Приснодевы».

Старик возвращался в Арчидону, свой родной город, отчетливо видный на обрывистом крутогорье. Он указал на развалины замка. «Во времена войн за Гранаду – сказал он, – в этом замке жил один мавританский владыка. Королева Изабелла вторглась в Гранаду с большим войском, но царь поглядел на них из своего заоблачного замка и презрительно рассмеялся. Тогда королеве явилась Приснодева и повела войско в гору таинственной тропой, дотоле неведомой. И при виде их пораженный мавр низвергся на коне в пропасть и разбился вдребезги. Следы копыт его коня, – сказал старик, – до сих пор видны на краю скалы. Смотрите, сеньоры, вон тем путем взойшла королева с войском: видите, он словно лентой обвивает гору, но вот чудо-то: издали его видно, а вблизи он исчезает!»

Небывалая дорога, на которую он указывал, была, конечно, песчаной горной логовиной, которая издали казалась узкой и ровной, а вблизи ширилась и терялась.

Сердце старика было согрето вином и закуской, и он стал рассказывать нам историю о зарытых сокровищах, оставленных мавританским царем. Его собственный дом был рядом с замком. Священнику и нотариусу трижды приснились сокровища, и они отправились копать на указанном во снах месте. Собственный его зять слышал, как они копали ночь за ночью. До чего докопались, никто этого не знает; но оба вдруг разбогатели, и никто не ведает почему. Вот как однажды старику чуть не улыбнулось счастье, но увы...

Я заметил, что истории о мавританских сокровищах, столь обычные во всей Испании, более всего по сердцу простолюдинам. Нужно же хотя бы призрачное утешение. Жаждающий мечтает о фонтанах и потоках, голодный – о пиршествах, а бедняк – о горах золота: нет щедрее воображения нищего.

К вечеру мы выбрались из обрывистой и скалистой теснины, именуемой Puerto del Rey – дорога короля: это один из больших перевалов в Гранаду, и король Фердинанд провел здесь свою армию. Мы ехали вверх по дороге, опоясывающей горный склон, и к закату оказались на плато, откуда видна была воинственная твердыня Лоха, от стен которой отступил Фердинанд. Арабское ее название обозначает крепость, и она стерегла и охраняла Гранадскую долину как форпост. Здесь властвовал буйный ветеран, старый Али Атар, тесть Боабдила, здесь Боабдил собрал войско и двинул его в тот злосчастный набег, который кончился смертью престарелого вождя и пленением молодого. Недаром Лоха воздвиглась, словно часовой, у врат перевала, недаром называлась ключом Гранады. Есть в ней диковатая живописность: она выстроена посреди каменистых осыпей. Руины мавританского крепостного замка венчают уступ, образующий центр города. У подножия горы, извиваясь по ущельям, омывая рощи, сады и луга, течет река Хениль, пересеченная мавританским мостом. Выше города – дикая пустошь, ниже – пышная растительность и свежайшая зелень. Подобный же контраст являет и река: до моста она широко и плавно струится между травянистых берегов, отражая рощи и сады, за мостом становится быстрой, шумной и бурливой. Кругозор замыкают снежные вершины царственной Сьерры-Невады – столь многообразен один из самых характерных пейзажей романтической Испании.

Спешившись у городских ворот, мы поручили Санчо отвести наших лошадей на постоянный двор, а сами прошлись, любуясь неповторимой красотой окрестности. Мост

вывел нас в чудесную аламеда, прогулочную аллею, и колокола возвестили молитвенный час. При этом звуке прохожие, гулявшие или спешившие по делам, останавливались, обнажали головы, крестились и читали вечернюю молитву; сей благочестивый обычай донныне строго соблюдается в глубине Испании. Зрелище было торжественное и прекрасное; мы бродили, пока не смерклось, и юная луна заблистала над высокими верхушками вязов вдоль аллеи. Наши тихие улады были прерваны голосом верного оруженосца, окликавшего нас издали. Он нагнал нас, вконец запыхавшись: «Ah, señores! – воскликнул он. – El pobre Sancho no es nada sin Don Quijote!» («Ах, сеньоры! Что такое бедняга Санчо без Дон Кихота!») Он был встревожен нашим затянувшимся отсутствием: Лоха ведь такая горная глушь, здесь полно контрабандистов, колдунов и всякой чертовни; он не мог взять в толк, что приключилось, отправился нас искать, расспрашивая каждого встречного, проследовал через мост и, к превеликой своей радости, увидел, что мы прогуливаемся по аламеде.

Гостиница, куда он нас повел, называлась «Корона» и была вполне в духе здешних мест, обитатели которых, по-видимому, сохранили смелый, огневой нрав старинных времен. Хозяйка была молодая, красивая вдова-андалузянка в нарядной баскинье черного шелка, расшитой бисером и обрисовывавшей ее гибкий стан и упругие округлости. Поступь у нее была ровная и легкая, темные глаза обжигали, и ее кокетливый вид и обилие украшений показывали, что она привыкла пленять взоры.

Под стать ей был и брат, примерно ее лет; он и она являли совершенные образчики андалузских махо и махи – щеголя и щеголихи. Он был высок и крепок, хорошо сложен, оливково-смуглое лицо, в глазах темный блеск; его курчавые каштановые бакенбарды срастались за подбородком. Одет он был щеголем: короткий зеленый бархатный камзол по фигуре, унизанный серебряными пуговицами, из карманов виднелись белые платки. Панталоны такие же, с рядами пуговиц от бедра до колена; шея повязана красным шелковым платком, пропущенным в кольцо на плоеном нагруднике сорочки; опоясан кушаком того же цвета; боттинас, или длинные гетры мягкой коричневой кожи отменной выделки, с проймами на икрах, чтоб видны были чулки; и коричневые туфли, облежавшие его точеную стопу.

Когда он стоял у дверей, к нему подъехал всадник, одетый в том же роде и едва ли не с тем же щегольством, и завязался негромкий, доверительный разговор. То был мужчина лет тридцати, коренастый, с резкими правильными чертами красивого лица, чуть тронутого оспой; глядел он смело, открыто и немного дерзко. На его массивном черном скакуне была узорчатая сбруя в кистях и пронижах, за седлом приторочены два широкоствольных мушкетона. У него был вид контрабандиста, каких я видел в горах Ронды, но брат нашей хозяйки ему явно благоволил, да и сама вдовушка, по-моему, отличала его среди своих воздыхателей. Вообще в гостинице было что-то от притона, а в постояльцах – от контрабандистов: в углу, рядом с гитарой, стоял мушкетон. Тот верховой провел здесь весь вечер и очень недурно спел несколько молодецких горских романсов. Когда мы сидели за ужином, явились два полуживых бедняги астурийца, умоляя накормить их и приютить на ночь. В горах, по пути с ярмарки, их подстерегли грабители, отобрали у них лошадь со всей поклажей, деньги до гроша, избили за попытку сопротивляться и ободрали чуть не донага. Мой сотоварищ, со свойственной ему нерассуждающей щедростью, тут же распорядился подать им ужин, отвести постели и снабдил их деньгами на дорогу домой.

Чем ближе к ночи, тем больше накапливалось действующих лиц. Крупный мужчина лет шестидесяти, могучего телосложения, пожаловал поболтать с хозяйкой. Он был в обычном андалузском костюме, только под мышкой придерживал громадную саблю; у него были пышные усы и осанисто-кичливый вид. Все явно относились к нему с глубоким почтением.

Наш Санчо шепотом уведомил нас, что это не кто иной, как Дон Вентура Родригес,

здешний герой и богатырь, прославленный своей доблестью и силой. Во времена французского нашествия он напал на шестерых спящих улан; сначала захватил лошадей, потом кинулся на солдат с саблей, одних зарубил, других взял в плен. За этот подвиг король положил ему на содержание песету (пятую часть дура, или доллара) в день и пожаловал дворянство.

Мне была любопытна его напыщенная речь и осанка. Как подлинный андалузец, он был хвастлив не менее, чем храбр. Саблю свою он то держал в руках, то прижимал под мышкой. Он никогда не расстается с ней, как ребенок с куклой, называет ее «моя Санта Тереза» и говорит: «Когда я ее обнажаю, земля дрожит» («tiembla la tierra»).

Я засиделся допоздна, внимая смешанным толкам этой пестрой компании, где царила непринужденность испанской придорожной гостиницы. Звучали песни о контрабандистах, рассказы о грабителях и подвигах партизан, мавританские легенды: это уж наша красавица хозяйка поведала поэтическую историю про Инфьернос, или Лохскую Преисподнюю – темные пещеры, наполненные таинственным шумом подземных потоков и водопадов. В народе говорят, что там трудятся чеканщики монет, замурованные еще со времен мавров, и что в этих пещерах мавританские правители хранили свои сокровища.

Наконец я отправился в постель, переживая в воображении все виденное и слышанное в стенах этой древней твердыни. Едва я успел заснуть, как меня пробудил ужасный шум и гам, какой смутил бы и самого рыцаря из Ламанчи, даром что без шума не обходился ни один его постой. Казалось, будто в город снова вторглись мавры или что разверзлась преисподняя о которой рассказывала хозяйка. Я выскочил, полуодетый, узнать, в чем дело. Это была всего-навсего шутовская серенада новобрачным: некоему старцу и полногрудой девице. Я пожелал им доброй ночи и приятной серенады, удалился на покой и крепко проспал до утра.

Одеваясь, я с любопытством разглядывал местных жителей из окна. По двое, по трое расхаживали франтоватые молодые люди в причудливых андалузских нарядах, бурых плащах, закинутых на плечо в неподражаемом испанском стиле, и маленьких круглых шляпах-Махо, сбитых набекрень. У них был тот же лихой вид, что я замечал у фатоватых горцев Рорды. Вообще в этой части Андалузии сплошь попадаются такие молодцы. Они слоняются по градам и весям: похоже, что у них пропасть времени и уйма денег; все они «с конем и при оружии». Это охотники поболтать, покурить, мастера побренчать на гитаре, пропеть куплеты своим махам и особенно станцевать болеро. По всей Испании даже последние бедняки располагают избытком благородного досуга: видимо, считается, что истому кабальеро суетиться не пристало, но у андалузцев досуг бесшабашный, ничуть не похожий на вялое празднество. Это ухарство, несомненно, объясняется рискованной контрабандой – главным промыслом жителей горных областей и приморских районов Андалузии.

Разительно отличались от этих гуляк два длинноногих валенсианца с ослом на поводу, навьюченным рыночным товаром; поверх выюков лежало готовое к бою ружье. На них были просторные кафтаны (jalecos), широкие холщовые шаровары (bragas), едва достигавшие до колен и похожие на шотландские юбки, красные fajas – кушаки, плотно обмотанные вокруг пояса, плетенные из дрока (espartal) сандалии; головы повязаны цветными платками на манер тюрбанов, но с открытой макушкой; короче, одеты они были почти что по мавританскому обычаю.

На пути из Лохи к нам пристал кабальеро на добром коне и отлично вооруженный, в сопровождении пешего эскопетеро, или стрелка. Он учтиво приветствовал нас, и вскоре мы познакомились ближе. Он был начальником таможни, а вернее, как я полагаю, командиром отряда, патрулирующего дороги и выслеживающего контрабандистов. Эскопетеро был из числа его стражников. За время утреннего перехода я кое-что разузнал у него касательно контрабандистов, составивших в Испании нечто вроде

рыцарского ордена. По его словам, они стекаются в Андалузию со всех концов, но чаще всего из Ламанчи; иногда в назначенную ночь принимают товары, пронесенные мимо таможенных постов на берегу Гибралтара; иногда же встречаются корабль, который этой ночью дрейфует у берега. Они держатся кучно и передвигаются затемно, а днем скрываются по barrancos – горным излогам, или на уединенных усадьбах, где им обычно рады, потому что они щедро одевают хозяев контрабандным добром. И то сказать, почти все наряды и украшения, которыми щеголяют жены и дочери обитателей горных деревушек и усадеб, – подарки веселых и тороватых контрабандистов.

На побережье они встречают корабль, высматривая его ночью с какой-нибудь скалы или мыса. Если неподалеку покажется парус, они подают условный сигнал – положим, трижды выставляют фонарь из-под полы плаща. Если на сигнал отзываются – сходят на берег и готовятся проворить дело. Корабль подплывает ближе и спускает на воду все свои шлюпки с контрабандным грузом, упакованным, как надо для выючной перевозки. Тюки быстро вышвыривают, еще быстрее подбирают и выючат – и контрабандисты миглом исчезают в горах. Они пробираются самыми крутыми, неведомыми и безлюдными тропами, и преследовать их толку мало. Таможенные стражники и не преследуют: они поступают иначе. Прослышав, что какая-нибудь шайка возвращается с грузом через горы, они выходят сильным отрядом, – скажем, двенадцать стрелков и восемь конников, и располагаются возле исхода из горной теснины. Стрелки устраивают засаду в самой теснине, пропускают шайку мимо, поднимаются и открывают огонь. Контрабандисты бросаются вперед и натываются на конников. Происходит яростная схватка. Попавшие в западню контрабандисты сдаваться не хотят ни за что. Одни спешиваются и отстреливаются из-за конских спин, как из-за насыпей, другие обрезают веревки, сбрасывают тюки, чтоб отвлечь врага, и верхом пускаются наутек. Кому-то удастся таким образом уйти ценою поклажи, кого-то захватывают с конем и товаром, иные же бросают все и налегке карабкаются по кручам.

– И тогда, – воскликнул Санчо, внимавший жадным ухом, – *se hacen ladrones legitimos* (они становятся законными грабителями).

Я от души рассмеялся над тем, как Санчо узаконил ремесло грабителя; но таможенный начальник сказал мне, что обнищавшие таким образом контрабандисты действительно считают себя вправе разбойничать, взимая мзду с проезжих, покуда не накопится денег на коня и наряд, приличествующий их ремеслу.

К полудню спутник наш попрощался с нами и свернул в крутое ущелье, эскопетеро за ним; вскоре после этого горы расступились, и мы выбрались в прославленную Гранадскую долину.

Нашу последнюю полуденную трапезу мы вкусили под сенью олив на берегу ручейка. Мы были в местах, освященных историей, неподалеку от рощ и садов дворца Сото де Рома. Легенда гласит, что выстроил его граф Хулиан, сокрывший в нем от глаз людских свою безутешную дочь Флоринду. Потом здесь была загородная резиденция мавританских повелителей Гранады; во времена недавние она стала местопребыванием герцога Веллингтона.

Наш достойный оруженосец скроил унылую физиономию, выворачивая напоследок свои альфорхи, и пожаловался, что путь подходит к концу, а между тем с такими кабальеро он, мол, готов на край света. Однако ж отобедали мы весело: будущее представлялось восхитительным. День стоял безоблачный. Солнечный зной умерялся прохладным дуновеньем гор. Перед нами простиралась изумительная долина. Вдали, над романтической Гранадой, возвышались красные башни Альгамбры и упирались в небеса сияющие серебром снежные вершины Сьерры-Невады.

Покончив с едой, мы расстелили плащи и устроили себе последнюю сиесту *ai fresco*, убаюканные жужжаньем пчел среди цветов и голубиным воркованьем на оливах. Жара спала, и мы тронулись в путь. Через некоторое время мы поравнялись с тучным

человечком жабьего вида верхом на муле. Он завел разговор с нашим Санчо и, визнав, что мы чужеземцы, взялся показать нам хорошую гостиницу. Он, мол, эскрибано (нотариус) и знает город как свои пять пальцев.

– Ah Dios Senores! Что за город вы увидите! Какие улицы! Какие площади! Какие дворцы! А женщины – ah, Santa Maria purisima – какие женщины!

– А та ваша гостиница, – сказал я, – она в самом деле хорошая?

– Хорошая! Санта Мария! Лучшая в Гранаде. Salones grandes, camas de luxo, colchones de pluma (Большие залы, роскошные спальни, пуховые перины). Ах, сеньоры, вы будете жить как царь Чико в Альгамбре.

– Как будут мои лошади? – воззвал Санчо.

– Как лошади царя Чико. Chocolate con leche y bollos para almuerzo (на завтрак какао с молоком и сдобными булочками), – и он подмигнул и ухмыльнулся оруженосцу.

После таких заверений нечего было и раздумывать. Мы ехали шагом во главе с жирненьким нотариусом, который поминутно оборачивался к нам, издавая все новые восклицания по поводу великолепия Гранады и нашей блаженной будущности в гостинице.

Таким караваном мы ехали между живых изгородей – алоэ и смоковниц, садовыми тропами, ибо здесь нет троп, помимо садов, и к закату прибыли к городским вратам. Наш услужливый проводник водил нас вверх-вниз по улицам, пока не привел во двор гостиницы, где он был как дома. Позвав хозяина по имени, он препоручил его заботам двух почтеннейших кабальеро – caballeros de mucho valor, – которым подобают удобнейшие комнаты и лучшая пища. Нам тут же припомнился гостеприимный незнакомец, столь торжественно представивший Жиль Бласа хозяину и хозяйке гостиницы в Пеньяфлоре, заказавший к ужину форелей и набивший брюхо за чужой счет. «Вам и невдомек, что вы заполучили, – кричал он трактирщику и его жене. – У вас в доме сокровище. Посмотрите, этот юный дворянин – восьмое чудо света, – что у вас найдется достойного сеньора Жиль Бласа из Сантильяны, которого надлежит принимать как принца».

Мы порешили, что маленькому нотариусу в отличие от его предшественника в Пеньяфлоре не удастся на наш счет полакомиться форелью, и не стали приглашать его к ужину, да и незачем было, ибо еще до утра выяснилось, что этот паршивец, хозяйский дружок, заманил нас в одну из самых дрянных гостиниц Гранады.

Дворец Альгамбры

Для путешественника, наделенного чувством истории и чутьем к поэзии – а история и поэзия неразрывно сплетены в анналах романтической Испании, – Альгамбра может служить местом поклонения, как Кааба для правоверного мусульманина. Сколько сказаний и обычаев, исконных и позднейших, сколько песен и баллад – арабских и испанских – о любви, войне и рыцарских подвигах связано с этим монументом Востока! Здесь обитали мавританские цари: окруженные изысканной пышностью азиатской роскоши, они полагали себя владетелями рая земного и стали последним оплотом мусульманского владычества в Испании. Царский дворец образует лишь часть крепости, стены которой, усеянные башнями, вкривь и вкось охватывают всю вершину горы – отрога Сьерры-Невады, Снежной Цепи, и нависают над городом; снаружи крепость кажется беспорядочным скоплением башен и зубчатых стен, воздвигнутых наобум и помимо всякого архитектурного плана; стройность и красота, которые царят внутри, извне невидимы.

Во времена мавров крепость легко вмещала сорокатысячное войско и служила, помимо всего прочего, оплотом властителей против взбунтовавшихся подданных.

Когда христиане покорили царство, Альгамбра осталась королевским владением – непостоянным обиталищем кастильских государей. Император Карл V начал было строить в стенах Альгамбры пышный дворец, но не довершил его из-за частых землетрясений. Напоследок Альгамбру почтили своим посещением король Филипп V и его прелестная супруга Елизавета Пармская в начале восемнадцатого столетия. К прибытию их готовились не на шутку. Дворец и сады принялись обновлять, привезенные из Италии художники помогали оборудовать новые апартаменты. Королевская чета прогостила недолго, и после них дворец снова пришел в запустение. Крепость, однако, оставалась на особом положении. Комендант подчинялся непосредственно монарху, власть его простиралась на пригороды, и он был никак не подотчетен губернатору Гранады. Здесь стоял изрядный гарнизон; комендант помещался в парадных залах старого мавританского дворца и нисходил в Гранаду с превеликой помпой. Собственно, крепость была маленьким независимым городком: несколько улочек, францисканский монастырь и приходская церковь.

И все же без короля и его двора Альгамбра перестала быть Альгамброй. Ее прекрасные чертоги пустовали, иные обрушились, сады запущены, фонтаны умолкли. Постепенно здесь расселился пришлый и темный народ: контрабандисты, которым неподсудность Альгамбры была куда как на руку и подвизала их на головокружительные аферы; всевозможные воры и мошенники, скрывавшиеся сюда после вылазок в Гранаду и ее окрестности. Наконец оказала себя твердая рука властей: жителей прочесали с первого до последнего, и остаться дозволено было лишь тем, кто мог засвидетельствовать свое благопослушание и проживал здесь по праву; дома большею частью были снесены, и осталось малое поселение с приходской церковью и францисканским монастырем. Во времена недавних потрясений Гранада была в руках французов, в Альгамбре стоял войсковой гарнизон, и начальник его поселился во дворце. Просвещенный вкус, отличающий французскую нацию и в самых ее завоеваниях, спас этот великолепный памятник мавританской культуры от полнейшего упадка и разорения. Крыши починили, залы и галереи защитили от непогоды, сады стали ухожены, водопотоки обновлены, и фонтаны опять забили искристыми струями; так что Испании следовало бы поблагодарить своих недругов за то, что они сохранили ей одно из прекраснейших и значительнейших свидетельств ее истории.

Уходя, французы взорвали несколько подозрительных башен, дабы сделать крепость негодной для обороны. Так было покончено с ее военным значением. Нынешний ее гарнизон – горстка инвалидов, главная обязанность которых – охрана той или иной башни, служащей временным местом заточения государственных преступников; и комендант крепости, покинув возвышенную Альгамбру, обитает в центре Гранады, где ему не в пример удобнее отправлять свои обязанности. Не могу не завершить этот беглый рассказ о крепости, не упомянув о достохвальном рачении нынешнего ее коменданта Дона Франсиско де Серна, который всеми доступными ему способами стремится сберечь дворец и чьи разумные мероприятия приостановили его неминуемое разрушение. Если бы его предшественники относились к своим обязанностям столь же ревностно, Альгамбра, может статься, сохранилась бы почти в первозданной красе; и если правительство окажет достойную поддержку его рвению, то останки дворца пребудут на много поколений украшением страны, привлекая просвещенных и любознательных людей со всего мира.

Наутро по прибытии мы, разумеется, первым делом отправились осматривать это пережившее века строение; впрочем, путешественники столько раз подробно описывали его, что я не буду ни пространным, ни тщательным и ограничусь разрозненными эскизами и попутными рассказами.

Из гостиницы мы пошли через славную площадь Виваррамбла, место мавританских турниров и состязаний (ныне здесь рынок), и далее по Закатину, при маврах – главной

улице Большого Базара; тамошние лавчонки и проулки еще хранят аромат Востока. Она вывела нас к губернаторскому дворцу; мы прошли мимо и стали подниматься по узкой, извилистой улочке, название которой напоминало о рыцарских временах Гранады. Она именовалась Калье, то есть улица, де Гомерес, в честь мавританского рода, прославленного в летописях и песнях. Вот и Пуэрта де лас Гранадас, массивные ворота в греческом вкусе, выстроенные Карлом V и вводящие в пределы Альгамбры.

На каменной скамье у ворот дремали два или три обносившихся и немощных солдата, преемники Зегрисов и Абенсеррахов; длинный, тощий малый в грязно-буrom плаще, кой-как прикрывавшем его нательные лохмотья, болтался на солнцепеке и точил ляды с престарелым часовым. Он прошел за нами в ворота и предложил показать крепость.

Я, как всякий путешественник, не люблю назойливых чичероне, да и наряд этого самозваного проводника был мне не по душе.

– А вы что, знаток местных достопримечательностей?

– Ninguno mas: pues, sefior, soy hi jo de la Alhambra (Кто как не я: ведь я, сударь, дитя Альгамбры).

Положительно испанские простолюдины изъясняются языком поэзии. «Дитя Альгамбры!» – эта рекомендация мне сразу понравилась, и оборванный вид нашего нового знакомого приобрел в моих глазах особое достоинство. Он знаменовал судьбы крепости и приличествовал потомку руины.

Я задал ему еще несколько вопросов и нашел, что он имеет право так зваться. Предки его жили в крепости из рода в род со времен Реконкисы. Его звали Матео Хименес.

– Так, может статься, – сказал я, – вы в родстве с великим кардиналом Хименесом?

– Dios sabe! Бог весть, сеньор! Может, и так. Мы – самые старинные обитатели Альгамбры – Cristianos Viejos, исконные христиане, без примеси арабской или еврейской крови. Я знаю, что мы знатного рода, но забыл какого. Это все знает мой отец, там у него наверху в лачуге висит наш герб.

У самого захудалого испанца всегда блестящая родословная; но этот благородный оборванец пленил меня своим начальным титулом, и мы охотно заручились услугами «сына Альгамбры».

Мы оказались в глубокой, узкой ложбине, среди густых рощ; вверх вел крутой склон в узорах дорожек, обставленных каменными скамейками и украшенных фонтанами. Слева над нами нависли башни Альгамбры, справа, на другом краю ложбины, возвышались на скалистом выступе башни столь же величественные. Это, как нам сказали, были Torres Vermejos, или Алые Башни, названные так по цвету камня. Откуда они взялись, никто не упомнит. Они гораздо древнее Альгамбры: одни полагают, что их выстроили римляне, другие – что какие-нибудь прибулудные финикийцы. Крутой тенистый склон возвел нас к подножию громадной и квадратной мавританской башни с барбаканом, образующим главный вход крепости. Изнутри барбакан охраняла еще одна компания престарелых инвалидов: один нес службу у ворот, а прочие, укутавшись в драные плащи, спали на каменных скамейках. Этот портал называется Врата Правосудия, ибо во времена мусульманского владычества под сводом его безотлагательно решались несложные дела: обычай, свойственный народам Востока и упоминаемый в Священном писании: «Во всех вратах твоих... поставь себе судей и надзирателей... чтоб они судили народ судом праведным» (Второзак., 16, 18).

Главный вход перемыкает громадная подковообразная арабская арка в полвысоты, башни. На замковом камне этой арки высечена исполинская рука. Замковый камень над порталом украшен парным изображением огромного ключа. Завзятые знатоки магометанских символов утверждают, что рука эта – религиозная эмблема: пять пальцев обозначают пять основных заповедей ислама – воздержание, паломничество, милостыня, омовение и война с неверными. Ключ же, по их словам, знаменует веру или власть: ключ Дауда (Давида), врученный пророку. «И ключ дома Давидова возложу на

рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он, и никто не отворит» (Исайя, 22, 22). Ключ, говорят далее, был вознесен против христианского креста на знаменах мусульман – покорителей Испании (иначе – Андалузии) в знак победной мощи наследников пророка. «Имеющий ключ Давидов, который отворяет – никто не затворит, затворяет – и никто не отворит» (Опер., 3, 7).

По-иному, однако, объяснил эти изображения законный отпрыск Альгамбры – более в духе простолюдинов, которые видят во всем мавританском тайну и волшебство, и с этой древней мусульманской крепостью у них связаны самые разные поверья. По словам Матео, здесь искони бытует предание, слышанное им от деда и отца, что рука и ключ – колдовские знаки судеб Альгамбры. Воздвигший ее мавританский царь был великим чародеем, а иные говорят, что попросту продался дьяволу; и он наложил на крепость магическое заклятие. Потому она и выстояла ураганы и землетрясения, хотя от многих мавританских построек почти что и следа не осталось. Преданье гласит, что заклятие не утратит силы, доколе рука с наружной арки не протянется под свод за ключом – и тогда все башни и стены рассыплются в прах, отвергнув мавританские сокровища, зарытые под основаниями твердыни.

Невзирая на столь недобрые прорицания, мы все же отважились пройти в зачарованные ворота, слегка, впрочем, уповая на то, что никакая черная магия не превозможет заступничества пресвятой девы, чье изваяние мы заметили над порталом.

Миновав барбакан, мы поднялись тесным, извилистым проулком и вышли на крепостную эспланаду под названием Пласа де лос Альхибес, Водоемная Площадь – от водоемов под нею, высеченных маврами,

дабы принимать воду по трубопроводам из Дарро, снабжающим крепости. Имеется здесь и колодезь неимоверной глубины, податель чистейшей и холоднейшей воды – тоже напоминая о маврах, которые не жалели трудов, чтоб добыть кристальную воду из-под земли.

Перед этой эспланадой высились роскошные хоромы, заложенные Карлом V – говорят, с намерением посрамить обитель мавританских владык. Немалую часть зимнего дворца пришлось снести, чтоб расчистить место для этой массивной постройки. Парадный вход был забит, и нынче входом в мавританский дворец служит простая и почти неприметная угловая дверь. При всем массивном великолепии и архитектурном изяществе дворца Карла V он показался нам высокомерным и непрошеным гостем; мы прошли мимо него едва ли не с презрением и позвонили у мусульманского входа.

Пока мы дожидались, отзовется ли кто, наш самозванный чичероне Матео Хименес сообщил нам, что царский дворец доверен попечениям почтенной и незамужней дамы по имени Донья Антония Молина, которую, впрочем, по испанскому обычаю, именуют попросту тиа Антония (тетка Антония): она следит за мавританскими садами и чертогами и показывает их чужестранцам. Пока об этом шел разговор, дверь отворила полненькая черноглазая коротышка-андалузянка, которую Матео назвал Долорес [7 - Скорбь (исп.)], хотя и по виду и по нраву подобало бы ей называться иначе. Матео шепотом сообщил мне, что она – племянница тетки Антонии; я же счел ее доброй феей, призванной провести нас по зачарованному дворцу. За нею мы перешли порог и были враз, точно по мановению волшебной палочки, перенесены в иные времена и в иное царство: мы попали в Аравию. Редкий контраст – между невзрачной наружностью дворца и сценой, нам открывшейся. Мы оказались в просторном патио, или двореке, сто пятьдесят футов в длину и примерно восемьдесят в ширину, вымощенном белым мрамором, с легкой колоннадой по концам, и с одной стороны над нею была изящная узорчатая галерея. На лепнине карнизов и всюду по стенам – щиты и надписи: выпуклая арабская или куфическая вязь, благочестивые девизы мусульманских государей, строителей Альгамбры, или хвалы их благородству и щедрости. Посреди

дворика – большой бассейн (estanque), сто двадцать четыре фута в длину, двадцать семь в ширину и пять в глубину, и вода в него наливается из двух мраморных чаш. Поэтому и двор называется Альберка (аль-берка – по-арабски «пруд» или «водоем»). Сверкали стайки золотых рыбок, и бассейн был обсажен розами.

Мавританский сводчатый проход вывел нас оттуда в знаменитый Львиный Дворик. Эта часть строения полнее всего напоминает о его былой красе, ибо наименее пострадала от времени. В центре двора – воспетый и прославленный фонтан. Алебастровые водостоки по-прежнему точат бриллиантовые капли; двенадцать львов, которые их поддерживают и дают имя двору, источают хрустальные струи, как во времена Боабдила. Впрочем, львы напрасно столь прославлены: изваяны они кое-как, видимо, руками какого-нибудь пленника-христианина. Дворик устилают цветы – вместо древнего и подобающего мраморного покрытия; эта перемена в дурном вкусе была произведена французами, завладевшими Гранадой. По четырем сторонам дворика – легкие арабские аркады, ажурная филигрань поверх беломраморных колонн, когда-то, вероятно, позолоченных. Архитектура, как и вообще внутри дворца, скорее изысканная, нежели великолепная: она свидетельствует об утонченном вкусе и расположении к праздным утехам. Глядя на грациозные колоннады и по видимости хрупкие настенные узоры, трудно поверить, что над ними промчались столетия, что они претерпели землетрясения и войны, что их пощадили неспешные и тем более пагубные старанья расхитителей-путешественников: почти что и нечего дивиться народному преданию про хранительное заклятье.

Пышный портал ведет со двора в Чертог Абенсеррахов, получивший это имя оттого, что здесь были вероломно умерщвлены эти доблестные потомки блистательного рода. Вся эта история вообще под сомнением но наш скромный чичероне Матео показал даже и проход, по которому Абенсеррахов одного за другим впускали в Львиный Дворик, и белый мраморный фонтан посреди чертога, возле которого им рубили головы. И большие ржавые пятна на каменных плитах – следы крови; их, как полагают в народе, никогда и нипочем не замыть.

Лица наши не явили ни тени сомнения, и он добавил, что ночами из Львиного Дворика нередко доносится смутный, глухой звук, сходный с роптанием толпы, и вдобавок позвякивание, вроде как лязг оков. И все это призраки убитых Абенсеррахов: ночами они приходят на эти кровавые места и призывают небесную кару на своих убийц.

Звуки позже услышал и я: это были перепады и струи вод, текущих к фонтанам по трубам и каналам под каменными плитами, однако я не стал этого объяснять смиренному летописцу Альгамбры.

Ободренный моей доверчивостью, Матео рассказал мне правдивую историю, слышанную от деда.

Жил да был когда-то солдат инвалидной команды, который по долгу службы показывал Альгамбру чужестранцам; как-то вечером, в сумеречный час, проходил он по Львиному Двору и слышал шаги в Чертоге Абенсеррахов. Решив, что там заплутались какие-нибудь иноземные гости, он поспешил им на выручку и, к удивлению своему, увидел четырех разодетых мавров в золоченых кирасах, с ятаганами и кинжалами в драгоценных каменьях. Они прогуливались мерным шагом, однако ж остановились и поманили его. Но старый солдат кинулся бежать и с той поры к Альгамбре близко не подходил. Так вот люди и упускают свое счастье; ибо Матео твердо был уверен, что мавры собирались показать, где зарыты их сокровища. Зато солдат, заступивший место того инвалида, оказался малый не промах: явился он в Альгамбру нищим, а год спустя уехал в Малагу, накупил там домов, обзавелся каретой и до сих пор, на удивление всем тамошним, живет себе да добра наживает, а все потому, как мудро рассудил Матео, что вызнал у мавров-призраков тайну клада.

Я решил, что этому сыну Альгамбры просто цены нет: знает все местные предания, накрепко им верит и держит в памяти массу всякого такого, к чему я имею робкое пристрастие и что философ построже непременно назвал бы чепухой. И решил сойтись поближе с этим премудрым беотийцем («Король Лир», III).

Прямо напротив Чертога Абенсеррахов – аркада, ведущая в иной, не столь скорбный чертог. Высокий и ажурный, изысканно отделанный, мощный белым мрамором, он носит красноречивое имя Чертога Двух Сестер. Некоторые думают, что имя это вполне прозаическое и относится к двум огромным алебастровым плитам, лежащим бок о бок и образующим большую часть пола; это мнение горячо поддержал Матео Хименес. Другие, однако ж, полагают, что в названии есть особый поэтический смысл, что в нем намек на мавританских прелестниц, некогда обитавших в этом чертоге – части царского гарема. К моему удовольствию, мнение это разделяла и наша маленькая быстроглазая проводница Долорес, которая указала на верхнюю галерею над портиком: как она слышала, галерея вела в женские покои.

– Сами видите, сеньор, – сказала она, – там всюду все зарешечено, как в монастырской часовне хоры для монахинь; ведь мавританские цари, – возмущенно добавила она, – держали жен взаперти, словно монашек.

И правда, частые «жалюзи» сохранены поныне; сквозь них незримые черноокие гаремные прелестницы глядели на самбру и другие танцы и развлечения в нижнем зале.

По обе стороны зала – ниши и альковы с диванами и оттоманками, на которых изнеженные властители Альгамбры вкушали дремотную лень, столь любезную азиатам. Сквозь купол льется мягкий свет и проникает воздух; с одной стороны слышен освежительный звук фонтана из Львиного Дворика, с другой – переплески бассейна в Саду Линдарахи.

Это чисто восточное зрелище переносит в сказочную арабскую древность: того и гляди, с галереи поманит белая ручка таинственной принцессы или за решеткой блеснут черные глаза. Здесь притин красоты словно бы вчерашней, но где они, эти две сестры, где все эти Зораиды и Линдарахи!

Дворец в изобилии снабжается водой с гор по старым мавританским акведукам: полнехоньки его бассейны и рыбные садки, сверкают и брызжут водометы в чертогах, журчат струи по мраморным желобам вдоль стен. Ублажив царский дворец, оросив его сады и цветники, вода длинным уличным протоком нисходит к городу, звеня ручьями, взметываясь фонтанами и во все времена года питая растительность, устилающую и украшающую всю гору Альгамбры.

Только жители жаркого юга могут оценить прелесть этой обители, свежее дуновение с гор и пышную зелень долины. Город внизу задыхается в полуденном зное, и опаленная Вега колышется пред глазами, а здесь зефиры со Сьерры-Невады, напоенные благоуханием окрестных садов, овевают возвышенные чертоги. Все манит к отдохновению, к южному блаженству: полусомкнутые глаза глядят с тенистых террас на искрящийся пейзаж, и слух баюкают шелест дерев и лепет низливающих потоков.

Покамест не стану описывать прочие не менее изумительные чертоги. Я и намеревался лишь ввести читателя во дворец, где он волен помедлить и побродить вместе со мной и день за днем осваиваться среди здешних достопримечательностей.

Кое-что об архитектуре морисков

Неопытному глазу легкие рельефы и причудливые арабески, украшающие стены Альгамбры, кажутся вырезными, плодом неспешного и кропотливого труда, и равно поражает их неистощимое разнообразие и гармоническое единообразие, особенно своды и купола, то ли сотовидные, то ли разрисованные изморозью – сталактиты и

висячие орнаменты, ошеломляющие наблюдателя затейливостью узора. Удивление проходит, однако, когда обнаруживаешь, что все это – лепнина: алебастровые плиты, отлитые в изложнице и искусно пригнанные в узоры всякой меры и вида. Этот способ облеплять стены арабесками и оштукатуривать своды наподобие пещер был изобретен в Дамаске и весьма Усовершенствован марокканскими арабами, которым сарацинское зодчество обязано многими своими изысками и причудами. Весь этот сказочный ажур был нанесен хитроумно и просто. Голые стены расчертили в клетку, как делают художники-копиисты, затем – пересекающимися кругами. По этой канве отделочники работали быстро и споро, а пересечения прямых и косых линий образовали бесконечно прихотливые и вместе единообразные узоры.

Золотили щедро, особенно купола; зазоры тушевали ярким колером: скажем, киноварью и ляпис-лазурью, тертыми на яичном белке. По словам Форда, египтяне, греки и арабы в ранней своей архитектуре использовали лишь первичные цвета; они и преобладают в Альгамбре, независимо от того, был ли зодчий с Востока или из Африки. Примечательно, что краски не утратили яркости за несколько столетий.

Снизу стены покоев на несколько футов выложены глазурными плитами, пригнанными в узор, подобно алебастровым. Иные из них изукрашены гербами мусульманских владык, с поперечной лентой и девизом. Эти глазурные плитки («асулехос» по-испански, «аз-зулай» по-арабски) – восточного происхождения: они обеспечивают прохладу и чистоту и не дают разводиться паразитам. Такие их свойства весьма ценны в жарком климате, поэтому ими устланы залы и фонтанные бассейны, инкрустированы купальни и покрыты стены. Форд полагает, что это очень древнее изобретение. Обычно их красят в синий и голубой цвет, и Форд выводит отсюда, что о них идет речь в Священном писании: «И под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира» (Исход, 10) и «Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров» (Исайя, 25, 11).

Эти глазурные или каолинные плиты мусульмане ввели в испанский обычай давным-давно. Их можно найти в развалинах мавританских строений восьмисотлетней давности. Их и поныне изготавливают на полуострове и в лучших домах Испании, особенно на юге, ими стелют полы и облицовывают летние покои.

Владычествуя в Нидерландах, испанцы завели и там эти плитки. Голландцы, обожающие чистоту в доме, очень обрадовались нововведению; таким-то образом это восточное изобретение, испанские асулехос или арабские аз-зулай, и стало повсюду известно под именем голландской плитки.

Немаловажные переговоры. Автор на троне Боабдила

День клонился к вечеру, когда мы насилу снизошли из области поэтического и героического к жалкой действительности испанского заезжего двора. Явившись с церемониальным визитом к коменданту Альгамбры, которому надлежало передать письма, мы восторженно описали наши впечатления и подивились, зачем он живет в городе, а не в земном раю. Он посетовал на неудобства пребывания во дворце на вершине горы, вдали от людей и дел. Такое пристало разве монархам, которые, бывает, отгораживаются от подданных стенами замков. «Впрочем, сеньоры, – прибавил он с улыбкой, – если вам так понравилось там, то мои покои в Альгамбре к вашим услугам».

Обычный и неизбежный акт вежливости испанца: он сообщает вам, что его дом все равно что ваш. «*Esta casa es siempre a la disposicion de Vm*» («Дом сей к услугам вашей милости»). Если вам что-нибудь понравилось, вам это тут же предлагают. Вы, однако ж, должны быть столь же хорошо воспитаны и отклонить предложение, так что мы лишь поклонились коменданту, предложившему нам царские покои. И ошиблись.

Комендант не шутил. «Комнаты там пустые, необставленные, – сказал он, – но следит за дворцом тетка Антония, может, она вас как-нибудь устроит. Если вы с нею договоритесь и удовольствуетесь скудным царским провиантом, то, пожалуйста, дворец царя Чико к вашим услугам».

Мы поверили коменданту на слово и поспешили вверх по Калье де лос Гомерес, сквозь великие Врата Правосудия – договариваться с мадам Антонией, в сомнении, не сон ли это, и опасаясь, что мудрую хранительницу крепости не так-то легко покорить. Правда, у нас был один друг в гарнизоне: ясноглазая малышка Долорес, чьею поддержкой мы заручились с самого начала; и когда мы вернулись во дворец, она озарила нас радостной улыбкой.

Все прошло как по маслу. У тетки Антонии нашлась кой-какая мебель – самая простая. Мы заверили ее, что можем спать и на полу. Она согласилась нам готовить – но без затей, а чего же лучше. Ее племянница Долорес будет нам прислуживать; тут уж мы подкинули шляпы и ударили по рукам.

На следующее утро мы переехали во дворец – и вряд ли когда государи делили трон в таком согласии. День за днем прошли как сон, и мой сотоварищ, вызванный в Мадрид по делам службы, вынужден был отречься от престола, оставив меня безраздельным владыкою царства теней. А я, привыкший наудачу шататься по свету и застревать в уютных уголках, перестал и следить, как мчались дни, словно привороженный к древней чародейной крепости. Читателю своему я всегда был другом и в знак сугубого доверия готов поделиться с ним мечтаниями и открытиями этих пленительных месяцев. И если мне удастся поразить его воображение волшебной прелестью замка, то он, верно, не пожалеет, что провел со мною лето в чудесных чертогах Альгамбры.

Прежде всего надо как-то описать свое жизнеустройство, для обитателя царского дворца более чем скромное, зато и не столь подверженное превратностям судьбы, как роскошь моих царственных предшественников.

Я квартируюсь в комендантской части дворца и занимаю несколько парадных комнат окнами на широкую эспланаду под названием la plaza de los algibes (Водоемная Площадь); здесь все обставлено по-нынешнему, но в дальнем от моей спальни конце – проход в комнатухи полумаавританские, полуиспанские – владения ch?telaine [8 - Хозяйка замка (фр.).] Доньи Антонии и ее семейства. Содержать дворец в порядке – не шутка, и почтенной даме предоставлены все доходы от посетителей и все, что дает сад; разве что иногда приходится слать фрукты и цветы коменданту. Живут с нею племянник и племянница, дети двух ее братьев. Племянник Мануэль Молина – надежный, по-испански степенный парень. Он отслужил в армии, на родине и в Вест-Индии, а теперь учится врачевать в расчете на должность крепостного лекаря и заработок не меньше ста сорока долларов в год. О племяннице, пухленькой черноглазой Долорес, речь уже шла: говорят, что она наследует теткино достояние, несколько дворцовых комнатух – они хоть вида не имеют, но, как по секрету сообщил мне Матео Хименес, приносят доходу едва ли не сто пятьдесят долларов, так что в глазах затрепанного сына Альгамбры она прямо-таки богатая наследница. Тот же наблюдатель удостоверил меня, что рассудительный Мануэль чинно ухаживает за своей ясноглазой кузиной и они вполне готовы соединить руки и судьбы; не хватает только его докторского диплома и папского разрешения на брак между чересчур близкими родственниками.

Любезная Донья Антония всеобязательно кормит меня и за мной ухаживает; я человек неприхотливый и полагаю, что устроился как нельзя лучше, а веселая малышка Долорес прибирает у меня и прислуживает за едой. Есть еще длинный заика, желтоволосый парень по имени Пепе: он помогает по саду и рад бы послужить камердинером, но тут его предвосхитил Матео Хименес, «дитя Альгамбры». Этот расторопный и услужливый малый так или иначе ухитрился остаться при мне с тех пор,

как мы его повстречали у ворот крепости; ему удалось присоседиться ко всем моим замыслам, утвердившись в должности лакея, чичероне, проводника, телохранителя и историографа, а мне уж пришлось позаботиться о его гардеробе, чтоб он был на высоте своих назначений; так что он скинул прежнее бурое облачение, как змея старую кожу, и ныне, донельзя довольный, разгуливает по крепости в щегольской андалузской шляпе и куртке, на удивление приятелям. Главный порок честного Матео – излишняя услужливость. Он понимает, что чуть ли не силою нанялся ко мне, что обиход мой – простой и скромный и должность его – чистая синекура; вот и лезет из кожи вон, чтоб хоть как-то пригодиться. Назойливостью своей он прямо-таки допекает меня: выйдешь за порог дворца побродить по крепости, а он уж под боком со своими объяснениями; отправишься на прогулку в ближние горы, и он тут как тут, набивается в телохранители, хотя я сильно подозреваю, что в случае нападения он вряд ли будет дерзок на руку, а скорее легок на ногу. Временами, впрочем, он презабавный спутник: бесхитростный и добродушный до крайности, словоохотливый, что твой деревенский цирюльник, знает все местные и окрестные толки и особенно гордится тем, что о каждой башне, обо всех воротах и закоулках У него наготове самые удивительные истории, которым он дает полную веру.

Он говорит, что слышал их по большей части от своего деда, баснословного портняжки, прожившего чуть не до ста лет и за это время всего дважды покидавшего пределы крепости. И почти сто лет в мастерской у него собирались почтенные говоруны и далеко за полночь толковали о старых временах, о чудесах и кладах. Этот причастный истории портняжка ходил, думал и трудился в стенах Альгамбры: здесь он родился и прожил жизнь, здесь умер и похоронен. К счастью для потомства, здешние сказанья не канули вместе с ним в могилу. Верный Матео еще мальчишкой во все уши слушал рассказы деда и его собеседников за портняжным столом; так и стяжал сведения, которых в книгах нет и которые стоят внимания всякого любознательного путешественника.

Таковы мои приближенные, и спрашивается: кто из властителей до меня, христианских или мусульманских, был окружен такой заботой или царствовал столь же безмятежно?

Когда я встаю утром, Пепе, садовый парень-заика, приносит мне свежесорванные цветы, которые потом разбирает по вазам умелая ручка Долорес, по-женски гордой своим призваньем украшательницы. Трапезую я там, где пожелаю: иногда в каком-нибудь мавританском чертоге, иногда под аркадами Львиного Дворика, среди цветов и фонтанов; а когда я отправляюсь на прогулку, усердный Матео показывает мне самые романтические горные уголки и прелестные местечки в лощинах, и каждое из них имеет свою необычайную историю.

Я больше всего люблю проводить свои дни в одиночестве, но вечера нередко коротаю в семейном кругу Доньи Антонии. Обычно семья собирается в старом мавританском покое, который служит почтенной даме гостиной, столовой и приемной; верно, во времена мавров она могла похвастаться роскошью, судя по ее остаткам, но не столь давно здесь был кое-как вырублен камин, и в дыму его поблекли стены и почти исчезли древние арабески. Окно с балконом над долиною Дарро впускает легкий вечерний ветерок; здесь я вкушаю свой скромный ужин, фрукты и молоко, и вмешиваюсь в семейную беседу. У испанцев, как говорится, естественный талант к здравому смыслу, так что они собеседники толковые и приятные в самом низком своем положении и при самом скудном образовании; добавлю еще, что они никогда не бывают вульгарными: природа наделила их врожденным достоинством. Тетушка Антония – женщина сильного и строгого, пусть и необразованного ума, а ясноглазая Долорес, прочтя за всю жизнь три или четыре книжки, пленяет наивностью, смешанной с рассудительностью, и ее бесхитростные остроты порой просто поразительны. Иногда племянник занимает нас

чтением какой-нибудь старинной комедии Кальдерона или Лопе де Веги, к чему его явно побуждает желание развлечь, а равно и наставить кузину Долорес; однако ж, к его большому огорчению, девушка обычно засыпала еще до конца первого акта. Иногда у тетки Антонии собирались друзья и знакомые или жены солдат-инвалидов. Она пребывала в большом почете как хранительница дворца, и в знак преданности ее потчевали новостями или слухами, дошедшими из Гранады. Внимая этим вечерним собраниям, я многое понял в нравах здешних жителей и обычаях здешних мест.

Так протекают мои нехитрые досуги; примечательны они лишь оттого, что я обитаю здесь. Я ступаю по зачарованной земле и окружен дивными призраками. С раннего детства, когда на берегах Гудзона я впервые склонился над страницами сочиненной некогда Хинесом Пересом де Ита ненадежной, зато волнующей истории гражданских войн в Гранаде и распрей доблестных родов, Зегрисов и Абенсеррахов, – с тех пор дворец этот возник в моем воображении, и в мечтах я, бывало, не раз бродил по сумеречным чертогам Альгамбры. И вот мечты сбылись; я, однако ж, не верил себе, не мог поверить, что я на самом деле живу во дворце Боабдила и обзираю с балкона сказочную Гранаду. Блуждая по этим азиатским чертогам, слушая плеск фонтанов и песнь соловья, нежась в лучах благодатного солнца, я чуть было не начал думать, что попал в магометанский эдем и что пухленькая Долорес – одна из ясноглазых гурий, пекущихся о блаженстве правоверных.

Обитатели Альгамбры

Я часто замечал, что, чем знатнее хозяева дворца во дни его роскоши, тем невзрачнее их преемники во дни Упадка: царские палаты в конце концов обычно становятся нищенским притоном.

К тому и идет дело в Альгамбре, и дальше – больше. Ветшающую башню вдруг заселяют какие-нибудь многосемейные голодранцы, потеснив в золоченых чертогах сов и летучих мышей, и вывешивают из окон и бойниц свои лохмотья, эти знамена бедняков.

Забавы ради я несколько присмотрелся к завладевшему былым жилищем царей разношерстному сброду, словно призванному судьбой, чтобы снабдить фарсовым эпилогом драму человеческой гордыни. Осмеян даже и царский титул. Его носит старушонка по имени Мария Антония Сабонея, известная под прозвищем *la Reyna Soquína* – Королева-ракушечница. Ростом она с эльфа: может, из них и есть, ибо никто не знает, откуда она взялась. Живет она в какой-то норе под наружной лестницей и сидит с утра до вечера в прохладном каменном проходе, шьет, поет и шутит над всеми, кто идет мимо; может, она и беднее всех на свете, но зато и веселее. Главное ее достоинство – талант рассказчицы, и поистине в запасе у нее не меньше историй, чем у неистощимой Шехерезады из «Тысячи и одной ночи». Некоторые из них слышал и я на *tertulias* (вечеринах) Доньи Антонии, где она обычно смиренно присутствует.

В этой таинственной старушонке непременно есть что-то эльфическое; недаром у нее, крохотной, безобразной и нищей, было, по ее словам, пять с половиной мужей: за половину считается молодой драгун, который умер, не успев стать ее супругом. С этой царицей эльфов соревнуется некий осанистый человечек с сизым носом, разгуливающий в обносках, заломив клеенчатую шляпу с красной кокардой. Он – из законных детей Альгамбры, прожил здесь всю жизнь и занимал разные посты – помощника альгвасила, приходского могильщика, подавальщика мячей на площадке, расчерченной у подножия одной из башен. Он беднее церковной крысы и горд не менее, нежели оборван: он, изволите видеть, отпрыск блистательного рода Агиларов, от семени которого произошел Гонсальво из Кордовы, великий полководец. Мало того, он

и сам зовется Алонсо де Агилар, именем, запечатленным в истории Реконкисты; правда, здешние беззастенчивые остряки окрестили его *el padre santo*, то есть святым отцом, как обычно именуют Папу; я, собственно, думал, что католики чтут этот титул и не позволяют над ним измываться. Ну не прихотливый ли это каприз судьбы: жалкий оборванец, тезка и потомок горделивого Алонсо де Агилара, зеркала андалузского рыцарства, едва не побирается в этой когда-то величественной крепости, которую предок его помог сокрушить, – и такова могла быть судьба потомков Агамемнона и Ахиллеса, буде они уцелели бы и жили на развалинах Трои!

Да, сообщество пестрое, и семья моего болтливого оруженосца Матео Хименеса занимает в нем, хотя бы по числу своему, не последнее место. Не зря он хвастался, что он – дитя Альгамбры. Его семья обитает в крепости со времен Реконкисты, и завет нищеты переходит от отца к сыну: в этом роду ни у кого еще не водилось ни одного мараведиса. Отцу его, плетельщику, ставшему главой семьи после смерти легендарного деда-портного, нынче под семьдесят, живет он в самодельной глинобитной лачуге. Мебели у него только и есть что шаткая кровать, стол, два-три стула и деревянный комод, где помимо скудного тряпья хранятся «семейные архивы». Это – ни более ни менее чем давние и не особенно давние документы процессов, затеянных отцами, дедами и прадедами: видно, беззаботность и добродушие своим чередом, а сутяжничество – своим. Процессы по большей части со сплетниками-соседями за пересуды о чистоте их крови и по поводу титула *Cristianos Viejos*, то есть исконные христиане, без малейшей примеси еврейской или мавританской крови. Я, кстати, подозреваю, что эта ревность о крови своей и опустошала их карманы: всякий грош уходил писцу или альгвасилу. Стену хижины украшает гербовый щит с геральдическими знаками маркиза де Кайеседо и других знатных родов, захудалым отпрыском которых считают себя Хименесы.

Что до самого Матео, которому сейчас тридцать пять лет, то он сделал все, чтобы продолжить свой род и сохранить нищету в семье: его жена и многочисленное потомство ютятся в какой-то развалюхе. На что они живут, ведомо лишь Тому, для Кого нет никаких тайн, для меня существование подобной испанской семьи всегда было загадкой; однако ж они существуют и даже, по-видимому, радуются жизни. В праздники жена Матео выходит на Пасео да Гранада с младенцем на руках, полдюжины детишек следом, а старшая дочь, девица на выданье, вплетает цветы в волосы и буйно танцует под кастаньеты.

Есть два разряда людей, для которых жизнь – сплошной праздник: очень богатые и совсем нищие – одним просто нечего делать, а другим делать нечего; и пуще всех понаторели в ничегонеделании и пропитании помимо денег испанские бедняки. Полдела – климат, остальное – темперамент. Дайте испанцу летом – тени, зимой – солнца, краюшку хлеба, головку чеснока, ложку оливкового масла, горстку гороха, затасканный бурый плащ и гитару – и все ему нипочем. Подумаешь, бедность! Он знает, что бедность не порок. Бедность ему к лицу, вроде драного плаща. Хоть и в лохмотьях, а все идальго.

«Дети Альгамбры» – замечательная иллюстрация к этой практической философии. Мавры полагали, что рай находится прямо над Альгамброй, вот и я временами думаю, что и вправду отблеск золотого века почил на этих оборванцах. Ничего у них нет, ничего они не делают, ни о чем не заботятся. Так проходят дни, казалось бы, в полном безделье, но все выходные и святые дни они чтут не хуже самого работающего ремесленника. На празднествах и танцах в Гранаде и окрестностях они тут как тут, они зажигают костры на горах в канун святого Иоанна и танцуют лунные ночи напролет в честь урожая на крохотном поле в стенах крепости, с которого едва-едва и наберешь-то несколько бушелей зерна.

Прежде чем завершить эти заметки, надо еще упомянуть одно из здешних

развлечений, меня оно как-то особенно поразило. Я и раньше видел на вершине башни долгоязого парня с двумя или тремя удочками, он словно бы удил звезды. Странно было глядеть на деяния этого воздухолова, ровно как и на старания его собратьев, разместившихся на стенах и бастионах; и лишь Матео Хименес разрешил мне эту тайну.

Оказывается, крепость расположена столь высоко и на таком чистом воздухе, что ее, как замок Макбета, облюбовали ласточки и стрижи: они мириадами носятся вокруг башен и резвятся, как мальчишки, выпущенные из школы. И ловля их в этой вихревой круговерти на крючки с мухами – излюбленное развлечение оборванных «сынов Альгамбры», которые с досужей изобретательностью истых бездельников надумали, как удить в небесах.

Посольский чертог

Наведавшись однажды в древнюю мавританскую залу, где тетушка Антония стряпает обед и устраивает приемы, я вдруг заметил в углу таинственную дверь, ведущую, вероятно, в старинную часть здания. Мне стало любопытно, я отворил ее и оказался в узком, темном проходе, которым на ощупь добрал до верха винтовой лестницы в углу башни Комарес. Я в темноте спустился по ступенькам, держась рукой за стену и, распахнув дверцу внизу, вдруг оказался в светлом преддверии Посольского Чертога: передо мною сверкал фонтан внутреннего двора. В чертог вела грациозная аркада с архивольтами в мавританском стиле. По обе стороны прохода – альковы, и потолок украшала затейливая цветная лепнина. Миновав великолепный портал, я вошел в прославленный Посольский Чертог, приемную мусульманских государей. Говорят, в нем тридцать семь футов вдоль и поперек, а высотой он шестьдесят футов, занимает всю внутренность башни Комарес и хранит следы былого великолепия. Стены красиво отделаны и изукрашены с мавританской прихотливостью, таков же был раньше и возвышенный свод в морозных узорах с висячими сталактитными орнаментами; в красках и позолоте это, надо полагать, было просто великолепно. К несчастью, он осел при землетрясении и обрушил громадную поперечную арку. Его заменили нынешним сводом или куполом, лиственничным, не то кедровым, в пересечениях балок; любопытно сделано и пышно раскрашено; восточный колорит сохранился и напоминает какой-то из тех «багряных кедровых сводов, о которых мы читаем у библейских пророков и в книгах „Тысячи и одной ночи“ [9 - Цитата из «Геркулесовых столпов» Эркьюхарта (примеч. авт.).].

Свод высоко вознесен над окнами, и поэтому верхняя часть зала – в полумгле, однако сумрак это великолепный и торжественный, просвеченный пышной позолотой и яркой мавританской раскраской.

Царский трон – напротив входа, в нише, древняя надпись над которой сообщает, что Юсуф I (государь, достроивший Альгамбру) соделал сей трон державным. Все устроено с расчетом окружить трон пышностью и величием: здесь и следа нет изнеженного сластолюбия, властвующего в прочих чертогах. Это главная крепостная башня: мощная громада, воздвигнутая над обрывом. Толща стен Посольского Чертога с трех сторон прорезана окнами, открывающими глазу дальние просторы. С балкона за срединным окном видна цветущая долина Дарро с ее аллеями, рощами, садами. Слева расстилается Вега, вдали высится склон Альбайсина в затейливых узорах улочек, террас и садов, когда-то украшенный крепостью, соревновавшейся с Альгамброй. «Печальна же судьба человека, все это утратившего!» – воскликнул Карл V, взглянув на это волшебное зрелище.

Балкон за окном, слышавшим этот королевский возглас, стал моим излюбленным

местечком. Я только что вернулся оттуда, насладившись закатом долгого сияющего дня. Солнце, уходя за лиловые вершины, прощальной вспышкой света озарило долину Дарро и багровые стены Альгамбры, а Вега, подернутая жаркой предзакатной дымкой, казалось, колыхается вдали, словно позолоченное море. Воздух застыл, ни дуновенья, и хотя легкий звук музыки и веселья доносится из садов возле Дарро, он лишь усугубляет тяжкое молчанье крепости, нависшей надо мной. В такой час и над такою сценой с волшебной силой царит память: она, словно вечернее солнце, в лучах которого нежатся ветхие башни, заново высвечивает величие прошлого.

Я сидел, наблюдая, как догорающий день меняет облик мавританской крепости, и задумался о ее внутреннем убранстве – легком, изящном, пышном: какой контраст с горделивой суровостью готических строений, воздвигнутых победителями-испанцами! В самом зодчестве явны несогласные и непримиримые характеры двух воинственных народов, столь долго соперничавших из-за владычества над полуостровом. Постепенно размышления мои обратились к необыкновенной судьбе арабских или мавританских обитателей Испании, жизнь которых отзывалась, как сказанье, образующее один из самых причудливых и блистательных исторических эпизодов. Могучим и долгим было их царство, а мы теперь даже не знаем толком, как их называть. Они составляли нацию безземельную и безымянную.

Поздний вал великого арабского нашествия обрушился на европейский берег с первозданным неистовством. Арабы прошли от скал Гибралтара до пиренейских отрогов молниеносно и неудержимо, так же как мусульманские покорители Сирии и Египта. Да когда б их не остановили на Турской равнине, может статься, вся Франция, вся Европа была бы захвачена с той же легкостью, что и восточные царства, и полумесяц блистал бы ныне на храмах Парижа и Лондона.

Африкано-азиатские полчища были отброшены за Пиренеи; пришельцы отступились от мусульманского завета покорения мира и принялись учреждать в Испании правление мирное и надежное. Отвага завоевателей равнялась лишь их незлобivosti; в том и другом отношении они до поры превосходили покоренных. На дальней чужбине они возлюбили землю, дарованную им, по их разумению, Аллахом, и постарались украсить ее всем, что только может послужить людскому благоденствию. Они утвердили власть на основе мудрых и справедливых законов, прилежно насаждали науки и искусства, споспешествовали земледелию, ремеслам и торговле, и со временем царство их процвело на зависть всем христианским державам. Усердно перенимая у азиатских арабов, тогда на вершине их могущества, изобретения и ухищрения, они излучали свет восточного знания в омраченные края Западной Европы.

Города арабской Испании сделались прибежищем христианских умельцев, обучавшихся здесь новым ремеслам. В университеты Толедо, Кордовы, Севильи и Гранады стекались бледные студенты-чужестранцы, дабы искуситься в арабских науках и приобщиться незабвенной древности; любители стихотворства съезжались в Кордове и Гранаде послушать восточную поэзию и музыку, и закованные в доспехи северные рыцари торопились туда же – упражняться с оружием и учиться рыцарскому обращению.

И если мусульманские памятники Испании, если кордовская мечеть, севильский замок и гранадская Альгамбра поныне изобилуют надписями, возвещающими надежное и непреходящее владычество, то стоит ли осмеивать эту хвастливость, объявлять ее высокомерной и тщеславной? Уходили поколение за поколением, век за веком – а владельцы не менялись. Лет прошло больше, нежели в Англии со времен Вильгельма Завоевателя, и потомки Мусы и Тарика были столь же не готовы к изгнанию, к пути назад через проливы, через которые переплыли их незапамятные предки, как потомки Грольфа, Вильгельма и их древних соратников – к обратной переправе на берега Нормандии.

И все же, увы, мусульманское государство в Испании было всего лишь экзотическим растением, не сумевшим пустить корни в землю, которую оно украсило. Отсеченные от северных соседей неодолимыми преградами веры и нравов, отделенные морями и пустынями от восточных сородичей, испанские мавры были отдельным народом. И все их существование было затянувшейся и, конечно, доблестной, рыцарственной борьбой за утверждение на захваченной земле.

Они были форпостом и рубежом ислама. Полуостров стал полигоном, где готы – покорители севера и мусульмане – завоеватели юга встретились и состязались за первенство; и пылкая отвага араба была наконец сломлена упорной, нестигаемой доблестью гота.

Никогда еще ни один народ не рассеивался так бесследно, как мавритане-испанцы. Куда они делись? Спросите у берегов Берберии, у берберских пустынь. Переселенцы-изгнанники некогда мощного царства рассеялись среди африканских берберов и утратили черты единого народа. И не оставили за собой даже явственного имени, хоть и пробыли явственной нацией почти восемь столетий. В их былом пристанище, в их многовековом приюте их не признают, там их считают захватчиками и непрошеными гостями. Несколько разрушенных монументов – вот и все свидетельства их былой силы и славы – они, словно одинокие скалы, напоминают о безбрежном наводнении. Такова же и Альгамбра: мусульманская крепость посреди христианского края, азиатский дворец среди готических строений Запада – прекрасный памятник доблестному, разумному, вежливому народу, который нагрязнул, владычествовал, процветал, исчез.

Иезуитская библиотека

Вышеописанные размышления пробудили мое любопытство, и мне захотелось узнать что-нибудь о государях, оставивших за собой этот пышный памятник в восточном вкусе, о тех, чьи имена еще не стерлись в настенных надписях.

Чтобы утолить это неотступное любопытство, я снизошел из области фантазий и преданий, где все подвластно воображению, и принялся пролистывать пыльные тома старинной иезуитской библиотеки при университете. От этого когда-то прославленного хранилища учености осталась лишь бледная тень: манускрипты и редкие книги вывезли французы, побывавшие хозяевами Гранады.

Однако между тяжеловесных сочинений отцов иезуитов, осмотрительно оставленных в покое, нашлись любопытные испанские трактаты – и, кстати же, немало обернутых в пергамент древних летописей, до которых я большой охотник.

В этой старой библиотеке я провел за книгами немало часов, неспешных и бестревожных; ключи от дверей и книжных шкафов были любезно доверены мне, и никто не мешал мне рыться в книгах в свое удовольствие, – что не так-то обычно в этих святилищах науки, где чересчур часто дразнят страждущего изыскателя одним лишь зрелищем запечатанных кладезей познаний.

Таким вот образом я и почерпнул кой-какие факты об исторических лицах, связанных с Альгамброй, и привожу их здесь в надежде, что они заинтересуют читателя.

Альгамар, основатель Альгамбры

Гранадские мавры считали Альгамбру чудом искусства и от века наделяли царя, основателя ее, чародейским даром – ну, хотя бы алхимическим ведовством, которое помогло ему раздобыть золото, нужное для построения крепости. Окинем взором историю его правления – и поймем тайну его богатства. В арабской летописи он

известен как Мухаммед Ибн аль-Ахмар. однако ж имя его обычно пишется просто Альгамар, и даровано оно ему было, как говорят, потому, что он был краснолицый [10 - И потому что был он багроволицый, называли его мавры Абенальгамаром, что означает багровый... и поскольку мавры называли его Бенальгамар, что значит багровый, он сделал багровые знаки, и такие были потом у всех гранадских владык... – Бледа. Летопись царствования Альфонса XI, ч. I, гл. 44 (исп.).].

Род его был знатный и богатый: Бен Назары, или Насриды; родился он в Архоне в 592 год хиджры (1195 г. от Р– Х.). Звездочеты, как это заведено на Востоке, составили гороскоп новорожденного, гороскоп весьма благоприятный; и дервиш тоже предсказал ему блистательное будущее. Расходов не жалели: лишь бы сбылось предреченное. Он еще не достиг совершеннолетия, когда битва на Тулузской равнине (1212) сотрясла мавританское государство и проложила рубеж между испанскими и африканскими мусульманами. В Испании правоверные скоро начали враждовать, и различные вожди состязались между собой за первенство на полуострове. Альгамар стал военачальником у Бен Назаров и во главе их войска сокрушил Честолюбивые замыслы Абен Гуда, который укрепился в горах Альпухарры и объявил себя повелителем Мурсии и Гранады. Немало сражений было между этими враждующими полководцами; Альгамар отвоевал у неприятеля несколько важных крепостей, и войско провозгласило его эмиром Хаэнским, но он уповал на владычество над всей Андалузией, ибо был ретив духом и метил высоко. Отваге его сопутствовало великодушие: покорив мечом, он затем пленял сердца, и по смерти Абен Гуда (1238 г. от Р. Х.) ему предались все прежние подданные этого могучего вождя. В том же году он вступил в Гранаду при восторженных кликах толп: в нем приветствовали объединителя и прекратителя раздоров, грозивших повергнуть царство к ногам христианских государей.

Столицей своей он сделал Гранаду и положил начало царствованию славного рода Насридов. Он тут же начал готовиться к обороне от неминуемых нападений соседей-христиан: отстроил и усилил пограничные крепости, укрепил столицу. Не довольствуясь мусульманским узаконением, согласно которому все мужчины суть воины, он образовал постоянное войско и разместил его по крепостям, наделив каждого защитника границы земель для прокормления себя, коня и семьи, – и так приохотил их сражаться за свой дом. События показали, что эти мудрые меры были приняты не зря. Христиане воспользовались мусульманскими крамолами и стремительно отвоевывали старинные свои владения. Хайме Завоеватель покорил всю Валенсию, а Фердинанд Святой явился во главе войска под стены Хаэна, гранадской твердыни. Альгамар попытался было противостоять ему, но был разбит наголову и укрылся в столице с остатками войска. Хаэн, однако ж, держался, и неприятель простоял перед ним всю зиму, но Фердинанд поклялся не снимать лагеря, пока не возьмет город. Выслать подмогу осажденной крепости было невозможно; Альгамар понимал, что паденье ее означает осаду столицы, а тягаться с могучим кастильским государем у него сил не было. Приняв внезапное решение, он отправился без свиты в христианский лагерь, предстал пред очами короля Фердинанда и объявил, что он и есть повелитель Гранады. «Я здесь, – сказал он, – по чести и по совести и отдаюсь под ваше покровительство. Примите все мое достояние: отныне я – ваш подданный». Сказав так, он преклонил колена и поцеловал в знак преданности руку короля.

Фердинанд был тронут таким доверием и решил не уступить в благородстве. Он поднял с земли недавнего врага, дружески обнял его и, отказавшись от его сокровищ, предоставил ему прежние владения, наложил ежегодную ленную подать, обязал – как вельможу – к участию в кортесах и к военной службе с таким-то числом конников. Фердинанд посвятил его в рыцари и самолично препоясал.

Вскоре после этого Альгамар был призван на войну помогать королю Фердинанду в его знаменитой осаде Севильи. Мавританский властитель выступил с пятьюстами

лучшими всадниками Гранады, не превзойденными в езде и обращении с копьём. Это была безотрадная служба, ибо пришлось обнажить меч против единоверцев.

Альгамар сражался с отчаянной удалей, и скорбная слава осенила его, но больше чести ему за то, что он преподавал Фердинанду обычай милосердия в делах войны. Когда в 1248 году достославный град Севилья покорился кастильскому монарху, Альгамар возвращался печальный и озабоченный судьбой своего царства. Он понимал, что все мусульмане под угрозой, и у него вырвалось восклицание, обычное во дни забот и тревог: «Сколь тесной и жалкой была бы наша жизнь, когда б не столь великая и непомерная надежда!» («Que angoste y miserable sýria nuestra vida, sino fuera tan dilatada y espaciosa nuestra esperanza!»)

Приближаясь к Гранаде, он увидел триумфальные арки, воздвигнутые в честь ратных подвигов. Народ радостно толпился, людям не терпелось увидеть государя, ибо его благодатное царствование было всем по сердцу. «Эль Талиб!» («Победитель!») – выкрикивал народ при виде его. На это Альгамар грустно качал головой. «Wa le ghalib ile Alah!» («Один Аллах победитель!») – промолвил он. Слова эти стали его девизом, унаследованным потомками; их и сейчас можно прочесть на гербах в чертогах Альгамбры.

Альгамар оплатил мир покорством христианскому игу, но он понимал, что поводов для раздора достанет и что древнюю, глубокую вражду надолго не замирить. Он поступал по старому совету: «Вооружайся в мирное время и одевайся в летнее» – и употребил передышку, дабы укрепить свои владения, пополнить арсеналы и содействовать обогащению и подлинному усилению царства. В своих городах он поставил начальствовать тех, кто отличился доблестью и благоразумием и полюбился народу. Он учредил надежные караулы и строгими правилами обеспечил внутренний порядок. Нищим и обездоленным доступ к нему всегда был открыт, и он самолично заботился о должном им вспоможении. Он построил богадельни для слепых, престарелых, увечных и немощных; и часто навещал их, да не по назначенным дням, с шумом и свитой, а нежданно-негаданно, чтоб не дать возможности привести все в порядок и сокрыть злоупотребления; воочию и путем расспросов он выяснял, каков уход за призреваемыми, исправно ли блюдут их те, кто за них в ответе. Он основал школы и разные училища; точно так же наведывался и туда, присматривая за воспитанием юношества. Он завел скотобойни и хлебопекарни, чтоб обеспечить народ здоровой пищей по правильным, твердым ценам. Он в изобилии снабдил город водой, соорудил бани и фонтаны, воздвиг акведуки и прорыл каналы, чтоб оросить и утучнить Вегу. И прекрасный город зажил довольно и счастливо; торговые караваны тянулись в ворота и из ворот, склады ломились от диковинных товаров всех стран и всякого климата.

Добавлю, что Альгамар награждал и поощрял умельцев-ремесленников, заботился об улучшении по род лошадей и другого домашнего скота, покровительствовал землепашеству; при его содействии природное плодородие почвы возросло вдвое, и прелестные долины стали цветущими садами. Он был внимателен к шелководству и шелкоделию, и гранадские шелка превзошли даже сирийские своею мягкостью и тонкостью расцветок. В горах открылись залежи золота, серебра и других руд и начали разрабатывать прииски; первым из гранадских государей Альгамар стал чеканить золотые и серебряные монеты со своим именем, и чеканились они его попечением весьма искусно.

В середине столетия, сразу после возвращения из-под Севильи, Альгамар начал строить великолепный дворец, самолично распоряжаясь работами зодчих и каменщиков.

Свершенья его были изумительны, замыслы величавы, а сам он прост обычаем и неприхотлив. Одевался он более чем скромно, почти неотличимо от своих подданных.

Красавиц в его гареме было немного, и навещал он их лишь изредка; правда, содержались они в большой роскоши. В жены он брал дочерей своих приближенных и обходился с ними ласково и с уважением. Мало того, они у него все были дружны между собою. Много времени он проводил в садах, особенно в садах Альгамбры, где были разведены редкие растения и прекрасные, душистые цветы. Здесь он услаждал душу чтением книг по истории либо же ему что-нибудь читали или рассказывали; порою, на досуге, он занимался воспитанием трех своих сыновей, препорученных самым ученым и благонравным наставникам.

Он признал себя ленным вассалом Фердинанда доброй волею и без обиняков – и был верен данному слову, не раз доказав свою преданность и благонадежность. Когда этот прославленный монарх скончался в Севилье в 1254 году, Альгамар отправил к его преемнику Алонсо X послов с соболезнованиями; их сопровождали сто благороднейших мавританских витязей, которые во время погребальной церемонии несли караул у королевского гроба с длинными горящими свечами. Эту царственную дань почтения мусульманский государь воздавал весь остаток своей жизни: в каждую годовщину смерти короля Фердинанда Святого сто мавританских витязей отправлялись из Гранады в Севилью и становились на часы с зажженными свечами в центре громадного храма, у кенотафа усопшему.

В преклонных летах Альгамар сохранил ясный ум и твердую руку. На семьдесят девятом году жизни (1272 г. от Р. Х.) он повел в битву с вторгшимся неприятелем конный строй своих лучших рыцарей. Когда войско выезжало из Гранады, один из адалидов, военачальников, скакавших во главе, ненароком преломил копьё об арку ворот. Встревоженные этим недобрым предвестием, советники Альгамара заклинали его воротиться. Но мольбы их были напрасны. Он настоял на своем, и к полудню, как свидетельствуют мавританские летописцы, роковое знамение исполнилось. Альгамар внезапно занемог и едва не упал с коня. Его возложили на паланкин и понесли назад в Гранаду, но ему становилось все хуже, и пришлось разбить шатер посреди Беги. Врачи были в замешательстве и не знали, что посоветовать. Через несколько часов он умер в страшных корчах, изрыгая кровь. У его смертного одра был кастильский принц Дон Филипп, брат Алонсо X. Прах его набальзамировали, заключили в серебряный гроб и погребли в Альгамбре, к неподдельной скорби его подданных, оплакивавших Альгамара, как родного отца.

Я сказал, что он положил начало династии славного рода Насридов. Могу прибавить, что он основал блистательное царство, навеки запечатленное в истории и легендах, – последний оплот пышного мусульманского владычества на Пиренейском полуострове. Дела его были грандиозны, расходы непомерны, но казна не скудела: оттого и пошел слух, будто он понаторел в чародействе и умеет превращать черные металлы в золото. Те же, кто внимательно прочел, что было сказано о его правлении, легко поймут, каким натуральным волшебством и какою простой алхимией пополнялась его несметная казна.

Юсуф Абуль Хаджи, завершитель Альгамбры

К предыдущим сведениям о мусульманских государях, бывших владельцах этих чертогов, прибавлю краткую заметку о монархе, который довершил и изукрасил Альгамбру. Юсуф Абуль Хаджи (или, как иногда пишут, Naxis) был тоже из династии Насридов. Он взошел на гранадский престол в лето господне 1333-е; согласно мусульманским летописцам, он был могуч телом, осанист и светлолиц; когда же он отпустил длинную бороду, выкрасив ее в черный цвет, вид его, говорят те же летописцы, стал еще благообразнее. Обхождение его было милостивое, приветливое и

любезное; свой ратный обычай он согласовал с природным добродушием, воспрещал всякую бессмысленную жестокость, предписывая милосердие к женщинам и детям, престарелым и немощным, ко всем монахам и святым отшельникам. Благородство духа естественно сочеталось в нем с отвагой, но создан он был для мирных дел, а не для бранных подвигов, и, хотя ему часто доводилось воевать, удача обычно ускользала от него.

Такого рода злосчастной затеей был и его совместный с марокканским султаном большой поход против королей кастильского и португальского, который завершился поражением в памятной битве под Сала-до, чуть не положившей конец мусульманской Испании.

После этого разгрома Юсуф испросил долгое перемирие; тут-то и проявились его подлинные достоинства. У него была прекрасная память, и он обогатил свой ум познаниями и науками; он имел изысканный и утонченный вкус и слыл лучшим среди тогдашних поэтов своего края. Он занялся воспитанием народа, положив исправить его нравы и обычаи, и завел в каждой деревне школы с простой и одинаковой программой; во всяком поселке, где было больше дюжины домов, он велел построить мечеть и очистил религиозные обряды, празднества и народные гулянья от наносных извращений и неблагопристойностей. Он весьма озаботился благочинием в столице, установив ночной дозор и караулы и взяв под личную опеку всю городскую управу. Он также задумал окончить большие постройки, начатые его предшественниками, и предпринял новые. Тогда и была довершена Альгамбра приснопамятного Альгамара. Юсуф соорудил великолепные Врата Правосудия, образующие главный вход в крепость, которая была достроена в 1348 году. При нем же были отделаны многие чертоги и дворики: это явствует из надписей на стенах, где то и дело встречается его имя. И он построил гордый Алькасар, цитадель Малаги, ныне, увы, ставший грудой развалин, а в свое время, вероятно, не уступавший Альгамбре роскошью и изяществом.

Каков государь, таково и время. Гранада зная, перенявшая утонченный и изысканный вкус Юсуфа, вскоре украсила город чудными дворцами, мощенными мозаикой и отделанными золоченой лепниной (или тонко инкрустированным кедром и другой редкой древесиной), расцвеченными лазурью, киноварью и иными яркими красками, сверкающими во всей своей красоте сквозь осыпь столетий. И почти всюду были фонтаны, освежающие и охлаждающие. Над строениями высились деревянные или каменные башни, резные, орнаментированные, облицованные металлическими бляхами, блистающими под солнцем. Так образовался в целом народе изумительный архитектурный вкус; и, говоря словами арабского летописца, «Гранада во дни Юсуфа подобна была серебряной чаше, полной изумрудов и яхонтов».

Есть один рассказ о великодушии этого благородного государя. Долгое перемирие, заключенное после битвы под Саладо, подошло к концу, и тщетны были все попытки Юсуфа возобновить его. Его смертельный враг Алонсо XI Кастильский с большим войском осадил Гибралтар. Юсуф нехотя взялся за оружие и собрал рать на выручку. Посреди всех этих дел он получил известие, что грозный неприятель внезапно пал жертвою чумы. Вместо того чтобы ликовать, Юсуф вспомнил все достоинства усопшего и был поражен тяжким горем. «Увы! – воскликнул он, – мир утратил одного из лучших своих государей: вот кто умел чтить доблесть равно в друге и недруге».

О том же великодушии свидетельствуют и испанские летописцы. Согласно их хроникам, мавританские витязи, подобно своему государю, приняли траур по поводу смерти Алонсо. И даже гибралтарские мавры, хоть на них и надвигалась беда, узнавши о том, что предводитель неприятельского войска лежит мертвый, решили до поры никак не тревожить христианское воинство. И когда вражеская рать снялась и отступила с телом Алонсо, мавры во множестве высыпали за стены Гибралтара и стояли печальны и безмолвны, провожая взглядом траурное шествие. То же почтение к

усопшему соблюдали мавританские военачальники на всех рубежах; и похоронная процессия безопасно пронесла тело христианского государя от Гибралтара до Севильи [11 - И мавры, бывшие в городе и крепости Гибралтар, узнав, что король дон Алонсо умер, приказали, чтобы никто не вступал в сражение с христианами, и все стояли неподвижно и говорили между собой, что ныне опочил благородный король и великий суверен (исп.).].

Юсуф ненадолго пережил врага, которого он столь великодушно оплакал. В 1354 году он однажды молился в царской мечети Альгамбры, и вдруг какой-то безумец кинулся на него сзади и вонзил ему в бок кинжал. На крик Юсуфа прибежали телохранители и царедворцы. Их повелитель лежал в луже крови. Он как будто хотел что-то сказать, но слова его были неразборчивы. В бесчувствии перенесли его в царские палаты, где он почти сразу скончался. Убийцу изрубили на куски, и куски эти были сожжены публично во утоление всенародного гнева.

Царское тело приняла великолепная гробница белого мрамора; длинная эпитафия, золотыми буквами по лазурному фону, исчисляла его достоинства: «Здесь лежит царь-мученик, прославленного рода, милосердный, ученый и добродетельный, известный достоинством поведения и добронравием; его мягкосердечие, благочестие и великодушие Гранада не забудет вовеки. Он был великий государь и знаменитый воитель, острый меч Ислама, доблестный знаменосец среди могущественнейших монархов» и т. д.

Мечеть, в которой раздались предсмертные крики Юсуфа, все еще стоит, а памятника с перечислением его добродетелей нет и следа. Имя его, однако ж, осталось, вплетенное в тонкие и изящные орнаменты Альгамбры, и пребудет, пока стоит эта славная крепость, которую он горделиво и радостно изукрасил.

Загадочные покои

Как-то я блуждал по мавританским чертогам и вдруг впервые заметил дверь в дальней галерее, ведущую, видимо, в какую-то не исследованную мною часть Альгамбры. Я попытался ее открыть, но она была заперта. Я постучал, но никто не ответил, и звук эхом прокатился в пустоте. Вот наконец и тайна. Зачарованная сторона замка. Как же мне увидеть, что здесь сокрыто от глаз людских? Прийти ли мне тайком в ночи с мечом и фонарем по обыкновению романтических героев? Или попытаться выведать тайну у заики-садовника Пеппе? у простодушной Долорес? у речистого Метео? А может, напрямик пойти к смотрительнице замка Донье Антонии и спросить у нее, в чем тут дело? Я избрал последний путь как наипростейший, хоть и наименее романтический, и обнаружил, к своему разочарованию, что никакой тайны здесь нет. Если мне хочется побродить по покоям, то пожалуйста: вот ключ.

И я возвратился к двери с ключом. Она отворилась, и я проник, как и думал, в череду пустынных покоев, вовсе, впрочем, не похожих на известные мне. Отделаны они были пышно и по-старинному, но на европейский манер. Ничего мавританского. В первых двух покоях – высокие разрешенные и растрескавшиеся потолки, обшитые кедровыми панелями искусной резьбы: причудливые лики или маски вплетались в узор из цветов и плодов.

Когда-то, верно, завешанные дамасскими тканями, а ныне оголенные стены исцарапали тщеславные путешественники, оскверняющие древнее величие своими ничтожными именами. Выломанные окна, открытые всем ветрам и ненастьям, смотрят в очаровательный уединенный садик, где меж роз и миртов играет алебастровый фонтан, окруженный апельсиновыми и лимонными деревьями; ветви их простираются в глубь комнаты. За этими покоями еще два, протяженнее и пониже, окнами тоже в сад.

На потолочных панелях – гирлянды цветов и корзины с плодами, чудесно нарисованные и недурно сохранившиеся. Стены тоже разрисованы фресками в итальянском стиле, но краски поистерлись; окна выломаны и здесь. Затейливая анфилада заканчивается открытой галереей с перильцами, под прямым углом к тому же садику. Меня заинтересовала история этих покоев, столь изысканно отделанных, столь уединенно расположенных подле укромного сада и столь непохожих на соседние залы. Мне объяснили, что это апартаменты работы итальянских мастеров, приготовленные в начале века к приезду Филиппа V и его второй жены, Елизаветы Фарнезе, дочери герцога Пармского. Они предназначались для королевы с фрейлинами. В одном из высоких покоев была ее спальня. Узенькая лесенка, ныне замурованная, вела наверх, в чудесный бельведер мавританской постройки, соединенный с гаремом; став будуаром прелестной Елизаветы, он теперь именуется *el tocador de la Reyna* – туалетная королевы.

Из одного окна королевской спальни открывается вид на Хенералифе и его пышные террасы; другое, как уже говорилось, выходит в укромный садик, явно мавританский и тоже со своей историей. Это – Сад Линдарахи, столь часто упоминавшейся в рассказах об Альгамбре; но кто такая Линдараха, я покамест не имел понятия. Мне недолго пришлось разузнавать то немного, что было о ней известно. Ее красота расцвела при дворе Мухаммеда Левши; она была дочерью его верного подданного, правителя Малаги, который приютил государя у себя во время междоусобицы. Вернув себе трон, Мухаммед вознаградил правителя за преданность. Дочери его были отведены покои в Альгамбре, и ее выдали замуж за Насара, юного Сетимериенского принца, потомка Абен Гуда Справедливого. Свадьбу их, разумеется, отпраздновали в царском дворце, и медовый их месяц прошел под этой самой сенью [12 - Мавританские цари, однако же, держали под надзором браки своих приближенных; поэтому все приближенные к царской персоне сочетались во дворце; и была особая палата, отведенная для этой церемонии. – Прогулки по Гранаде, Прогулка XXI (исп.).].

Четыре столетия уж нет прекрасной Линдарахи, но как сохранилась хрупкая красота, ее окружавшая! Цветет сад, бывшая услада ее очей, струи фонтана тревожат кристальное водяное зеркало, когда-то отражавшее быть может, ее красы; правда, алебастр уже не той белизны, а бассейн зарос, обмелел и сделался приютом ящериц, но даже и самые следы времени увеличивали интерес сцены, свидетельствуя о бренности, неотвратимой судьбе человека и всех его трудов.

Опустошение чертогов, когда-то приютивших гордую и строгую Елизавету, – даже в нем была особая красота, большая, чем если бы я наблюдал их первозданную пышность, блестящую и мишурную.

Когда я вернулся в свое обиталище, в комендантские апартаменты, мне все там показалось пресным и тусклым. И я невольно подумал: а почему бы не перебраться в эти пустующие покои? вот подлинная жизнь в Альгамбре, среди садов и фонтанов, словно во времена мавританского владычества. Я изложил это Донье Антонии и ее семейству, к их огромному удивлению. Они не могли взять в толк, с какой стати мне понадобились такие заброшенные и отдаленные покои. Долорес воскликнула, что там ужас как одиноко, одни летучие мыши да совы, а ночью из соседних купален забежит, чего доброго, лиса или дикая кошка. Теткины возражения были основательнее. Кругом пропасть бродяг, ближний холм облюбовали цыгане, дворец в развалинах, и в него отовсюду можно пробраться; пойдут слухи, что какой-то жилец поселился на отшибе, вот ночью кто-нибудь и наведается, ведь чужеземцы, известное дело, набиты деньгами. Я, однако ж, стоял на своем, а воля моя для этих добрых людей была законом. Мы призвали на подмогу плотника и верного Матео Хименеса, кое-как закрепили двери и окна, и королевская спальня Елизаветы была приготовлена для меня. Матео храбро вызвался почивать в моей прихожей, но я решил не подвергать его преданность таким

испытаниям.

Наконец я собрался с духом и должен признаться, что первая ночь на новом месте была полна невыразимой жути. Тревожиться было как будто и нечего, но сердце леденило зловещее чувство: столько крови было пролито в этом дворце, столько его владык постигла смерть от руки убийцы! Я брел в спальню угрюмыми палатами башни Комарес – и припомнил стихи, которые пугали меня в отрочестве:

Витают хищный рок над черными зубцами;
Врата разверсты, я вхожу и слышу
Холодный голос замогильным эхом
Вещает об ужасном злодеянье

Ко сну меня провожали всей семьей и расставались словно с отважным путешественником; когда я услышал, как их шаги замирают в пустых палатах и гулких галереях, и повернул ключ в дверях, мне вспомнились истории, где героя, покинутого в зачарованном доме, осаждают привидения.

И даже мысли о прекрасной Елизавете и ее прелестницах-фрейлинах, когда-то оживлявших эти чертоги, странным образом лишь нагнетали сумрак. Вот здесь они беззаботно резвились и чаровали, вот даже и свидетельства их утонченного вкуса; но что они и где они? Прах и пепел! Жилицы могил! Призраки памяти!

Мною овладевал смутный и неизбывный ужас. Напрасно успокаивал я себя, что просто ввечеру наслушался лишнего о грабителях: пугало что-то иное, нелепое и потустороннее. Ожили давно забытые детские страхи, ожили и поработили мое воображение. И все стало видеться и слышаться по указке изнутри. Даже шорох ветра в листве лимонов под моим окном словно чем-то угрожал. Я выглянул в Сад Линдарахи: по сторонам аллеи залегла тень, в зарослях расплывалась жуть. Я быстро прикрыл окно, но и в моей комнате творилось неладное. Вверху что-то зашелестело: из-под отставшей потолочной панели вдруг выскользнул нетопырь и наискось метнулся к моему одинокому светильнику. И когда этот летучий вестник рока чуть не полоснул меня по лицу своим бесшумным крылом, мерзкие лики с резного кедрового потолка вдруг начали строить мне рожи и корчить гримасы.

Я встряхнулся и, неловко усмехаясь своему нечаянному слабодушию, решил превозмочь его, как воистину и подобает герою в зачарованных палатах, и со светильником в руке прогулялся по дворцу. Умом я себя успокоил как умел, но далось мне это нелегко. Нужно было пройти по пустым залам и таинственным галереям, а светильник едва-едва освещал меня самого. Я шел как бы в ореоле, стиснутый непроницаемой тьмой. Сводчатые коридоры были словно пещеры, потолки терялись в сумраке. Я припомнил речи о том, сколь опасны бандиты в этих отдаленных и заброшенных покоях. Может, какой-нибудь негодяй уже притаился там, впереди... или сзади, и следит за мною из темноты? Собственная моя тень, колебавшаяся на стене, начала тревожить меня. По коридорам разносилось эхо моих шагов, я застывал и озирался. Я проходил по местам недоброй памяти. Черный сход вел в мечеть, где был подло убит Юсуф, завершитель Альгамбры. Потом я вышел на галерею, где другого мавританского властителя заколол его родственник, соперник в любви.

До меня донесся глухой ропот, как бы сдавленные голоса и лязг цепей – должно быть, из Чертога Абенсеррахов. Я знал, что это клокочет вода в подземных трубах, но странный гул в ночи приводил на память мрачные рассказы, им порожденные.

Вскоре, однако, слух мой был поражен звуками чересчур и до ужаса явственными. Когда я шел по Посольскому Чертогу, глухие стоны и вскрики вырывались словно у меня из-под ног. Я остановился и прислушался. Они доносились как будто снаружи – нет, опять изнутри. Кто-то взвыл по-звериному, потом раздались придушенные вопли и

невнятные жалобы. Час был глухой, место необычайное: впечатление разительное. У меня пропала всякая охота к прогулкам, я вернулся в свой покой куда стремительнее, чем выходил из него, и, только задвинув за собой засов, перевел дыхание. Когда же я проснулся поутру, за окном сияло солнце, исправно и весело освещая все углы, и я едва мог припомнить, что за привиденья и страхи мерещились мне в ночном сумраке, даже и не верилось, что мои покои, такие пустые и прибранные, можно было населить мнимыми ужасами.

Впрочем, унылый вой и вопли мне отнюдь не пригрезились; все, однако, скоро разъяснила моя служаночка Долорес: это неистовствовал несчастный помешанный, брат ее тетки, которого на время сильных припадков запирали в подвал под Посольским Чертогом.

Прошло несколько вечеров, и мои покои совершенно преобразились. Когда я перебрался сюда, было новолуние; теперь же луна все прибывала и рассеивала ночную тьму; наконец, она в полной своей красе засверкала над башнями, заливая потоками тихого света каждый двор и каждую залу. Садик под моим окном, ранее подернутый мглою, озарился тихим светом, листья апельсинов и лимонов засеребрились, фонтан заискрился в лунных лучах, и даже чуть проступал багрянец роз.

Тогда-то я и оценил по достоинству стихотворную арабскую вязь на стенах: «Как чарует этот сад, где Цветы земные не уступают красою звездам небесным! Что может сравниться с чашей того алебастрового фонтана, наполненной хрустальной влагой? Одна лишь полная луна, сияющая с безоблачных высот!»

В такие благодатные ночи я часами просиживал у окна, вдыхая ароматы сада и размышляя над превратностями судеб прежних обитателей дворца, повесть которых смутно угадывалась по узорам затейливой каменной летописи. Бывало, когда тишину оглашал далекий полночный бой часов Гранады, я отправлялся побродить и блуждал по всему дворцу, но совсем не так, как в первый раз. Ни мрака, ни тайн, ни призрачных недругов, ни памяти убийств и злодеяний; всюду ясно, просторно и дивно; все пробуждает пленительные, сказочные виденья: и Линдараха снова гуляет в своем палисаднике, и Львиный Дворик заполняется нарядными рыцарями мусульманской Гранады... Благословенный климат, неопишуемые места! Эфирное дуновение освежает летнюю андалузскую полночь. Вас словно возвели на чистые высоты: на душе яснее, дух бодрится, мышцы расправляются и самое существование полнит радостью. И ко всему этому еще очарование лунного света. Луна смягчает очертанья, и Альгамбра будто восстает в первозданной красе. Трещины и проломы сглажены, не видно ни потеков, ни плесени: мрамор обрел изначальную белизну, длинные колоннады блистают в лунных лучах, чертоги купаются в мягком сиянии – вы проходите по замороженному дворцу арабской сказки!

И как чудесно в такой час подняться в маленький прозрачный павильон – туалетную королевы (el tocador de la Reyna), который, подобно птичьему гнезду, навис над долиной Дарро, и любоваться с его легкой аркады на лунные просторы! Справа высятся хребты Сьерры-Невады: они кажутся не столь скалистыми, а сказочно гладкими, и снежные вершины их сверкают, как серебряные облака в темно-синем небе. А потом перегнуться через парапет Токадора и поглядеть на Альбайсин и Гранаду, расстилающиеся внизу, словно карта: все объемлет глубокий покой, белые дворцы и монастыри спят в лунном свете и за ними теряется вдали туманная Вега, будто царство грез.

Порою с аламеда доносится легкое щелканье кастаньет: какие-то андалузцы веселятся ночь напролет. Откуда-то слышны гитарные переборы и вкрадчивый голос: неутомимый любовник поет под окном своей избранницы.

Примерно таковы были лунные ночи, которые я провел во дворах, чертогах и на балконах этого многопамятного дворца, «питая ум сладостными фантазиями» и

впитывая ту смесь чувств и мечтаний, которая заменяет жизнь южанам; я шел в постель едва ль не поутру, и меня баюкало журчанье фонтана в палисаднике Линдарахи.

Вид с башни Комарес

А вот и чудное, ясное утро: солнце еще не в силах прогнать ночную свежесть. Как прекрасно таким утром взойти на башню Комарес и с высоты птичьего полета обозреть Гранаду и ее окрестности!

Так пойдемте же, любезный читатель и друг, следуйте за мною сюда, в эту переднюю, столь пышно орнаментированную: она ведет в Посольский Чертог. Мы, однако, в чертог не пойдем, а свернем в эту дверцу, видите, в стене. Осторожнее: крутая винтовая лестница и скудное освещение; по этой самой узкой, темной и витой лесенке гордые повелители Гранады и их супруги нередко поднимались к бойницам, чтоб посмотреть на вторгшееся войско или с тревожным сердцем следить за битвой в долине.

Вот мы и на крыше, изрезанной террасами; можно перевести дух и окинуть глазом великолепное зрелище города и окрестностей: замок, собор, мавританские башни и готические шпили, осыпающиеся развалины и цветущие рощи. Приближимся к парапету и поглядим вниз. Видите, вон там перед нами вся Альгамбра, все ее дворы и палисадники. У подножия башни – Дворик Альберка, внутри – большой водоем, или пруд, обсаженный цветами, а там Львиный Дворик со знаменитым фонтаном и легкой мавританской аркадой, а вон, посередине дворца, палисадник Линдарахи, отовсюду укрытый, и в нем розы, цитроны и изумрудная зелень.

Пояс укреплений с квадратными башнями, охватывающий вершину холма, – это внешняя граница крепости. Иные из башен, замечаете, в развалинах, их могучие останки оплетены виноградом, поросли смоквами и алойными деревьями.

Поглядим-ка с башни на север. Высота головокружительная; самое основание башни вырастает из рощи на крутом склоне. Вот оно как! В толстой стене расселина – видно, башня надломилась во время какого-нибудь землетрясения, они так часто повергают в ужас Гранаду, и какое-то из них, раньше или позже, непременно превратит эту осыпающуюся крепость в груды развалин. Вон та узкая лощина под нами, которая расширяется в проеме гор, – это долина Дарро; извилистая река струит воды мимо лесистых уступов, среди садов и цветников. В былые времена этот золотиносный поток был славен, его прибрежные пески просеивают и поныне. Некоторые из белых строений, блистающих среди рощ и виноградников, были когда-то загородными жилищами мавров, там они наслаждались свежестью своих садов. Недаром кто-то из поэтов сравнил их с жемчужной россыпью на изумрудном ложе.

Легкий дворец на той горе, с высокими белыми башнями и длинными аркадами, стесненный пышными рощами и висячими садами, – это Хенералифе, летний дворец мавританских царей, куда они перебирались в жаркие месяцы, дабы насладиться прохладой, какой нет даже и в Альгамбре. А голая вершина над ними, вон там, где бесформенные развалины, – это Силья дель Моро (Сиденье Мавра), а название такое оттого, что здесь злосчастный Боабдил переживал народные волнения, здесь он сидел и устремлял печальный взор на мятежный город.

Из долины то и дело доносится журчанье воды. Это акведук вон от той мавританской мельницы, почти у подножия горы. Верхняя аллея – Аламеда, она идет по склону в Дарро; вечером здесь полным-полно народу, а летними ночами встречаются влюбленные, и в поздний час со скамеек слышится гитара. А сейчас там никого нет, только несколько монахов и водоносы. Кувшины у них старинного восточного образца, точно такие были еще у мавров. Их наполняют холодной и чистой струей родника под названием Фуэнте де Авельянос. Та горная тропа ведет к источнику, равно

излюбленному мусульманами и христианами; говорят, что это и есть Адинамар (Айнуль-адамар) – Источник Слез, упоминаемый путешественником Ибн Баттутой и прославленный в мавританских летописях и сказаниях.

Чу! Нет, это просто мы испугали ястреба. Старая башня – поистине птичье пристанище: ласточки и стрижи гнездятся в каждой щели и застрехе и кружат у башни весь день напролет, а ночами, когда все прочие птицы спят, угрюмая сова выбирается из укрытия и оглашает укрепления своим зловещим криком. Смотрите-ка, ястреб, которого мы потревожили, проносится в низине над самыми верхушками деревьев и парит над развалинами возле Хенералифе!

Я вижу, вы поднимаете глаза к снежным вершинам той горной гряды, сверкающей, как светлые летние облака в синих небесах. Это Сьерра-Невада, гордость и отрада Гранады: оттуда веют прохладные зephyры и струятся неиссякаемые потоки. Этому изумительному горному кряжу Гранада и обязана всеми своими прелестями в сочетании редкостном для южного города: мягкая зелень и свежий воздух севера – и живительный зной тропического солнца, незамутненная лазурь южного неба. В летнюю пору это заоблачное хранилище снега подтаивает и разливает ручьи и реки по всем лощинам и ущельям Альпухарры.

Горы эти с полным правом можно назвать сокровищем Гранады. Они главенствуют над Андалузией и видны отовсюду. Погонщик мулов приветствует их издали, заведя обледенелые пики со знойной равнины; испанский моряк с палубы своего парусника, бороздящего дальнюю голубую гладь Средиземноморья, глядит на них и думает о волшебной Гранаде – и вполголоса напевает какую-нибудь старинную мавританскую балладу.

А там, к югу, у подошвы гор, – гряда выжженных холмов, откуда медленно спускается длинный караван мулов. Здесь разыгралась последняя сцена многовековой истории мавританского владычества. С вершины одного из этих холмов злосчастный Боабдил окинул взором оставленную Гранаду и дал волю рыданиям. Это место известно¹ по рассказам и песням, имя ему – Прощальный Вздох Мавра.

За склонами этих холмов – снова пышная Вега: цветущее приволье рощ и палисадников, и изобильные сады, и серебристые изгибы Хениля, питающего бесчисленные ручьи; а ручьи, струясь по древним мавританским каналам, орошают весенние всходы. Вот они где, любимые сады, и беседки, и навесные павильоны, за которые несчастные мавры бились с такой отчаянной доблестью. И даже нынешние хижинки и амбары, простейшие их постройки, заселенные последними простолюдинами, все же свидетельствуют остатками арабесок и прочей изысканной отделки, что во дни мусульман здесь пребывали аристократы. Вот поглядите, в самой середине этой многострадальной равнины высится дворец, объединяющий прежнюю и новую историю здешнего мира. Видите стены и башни, сверкающие под утренним солнцем? Это город Санта Фе, воздвигнутый католическими государями во время осады Гранады, когда их лагерь истребил пожар. К этим самым стенам воротила Колумба королева-воительница, и здесь был подписан договор, приведший к открытию Западного полушария. Вон к западу за выступом – мост Пинос, знаменитый кровавыми битвами между маврами и христианами. На этом мосту посыльный догнал Колумба, когда он отчаялся в испанцах и вез свой проект ко французскому двору.

А за мостом – горная цепь, западный предел Беги: древняя преграда между Гранадой и христианскими землями. Там, на высотах, до сих пор стоят крепости: их серые стены и укрепления сливаются воедино со скалой, в которой они вырублены. На горных откосах стоят *atalayas* – одинокие дозорные башни, и глядят они с высоты, словно видят долину с той и с другой стороны. Как часто эти *atalayas* давали знак, ночным огнем или дневным дымом, – знак приближения врагов! По скалистым уступам, перевалом Лопе, спускалось христианское войско. Из-за подошвы той серой безлесной

Эльвириной горы, простершей в дол каменистые отроги, выносились во весь опор с развернутыми знаменами конные неприятельские отряды под пенье труб и барабанный рокот.

Пятьсот лет минуло с тех пор, как Исмаил бен Ферраг, мавританский властитель Гранады, с этой самой башни глядел на подобное вторжение, на поругание и разграбление Беги, и все же выказал затем рыцарственное великодушие, столь свойственное мусульманским государям, «история которых, – по слову арабского летописца, – изобилует благородными примерами и доблестными поступками, и память о них не сотрется временем и будет жить в веках». Но присядем на парапет, и я расскажу подробнее.

Итак, в лето от Рождества Христова одна тысяча триста девятнадцатое Исмаил бен Ферраг смотрел с этой башни на шатры христиан, белевшие вон там, у подножия Эльвириной горы. Принцы крови Дон Хуан и Дон Педро, регенты кастильские во время малолетства Альфонса XI, уже опустошали край от Алькаудете до Алькала ла Реаль, взяли крепость Ильора и предали огню ее окрестности и теперь сеяли смерть и разорение у врат Гранады, вызывая на бой самого царя с его войском.

Исмаил был молод и бесстрашен, однако принять вызов не спешил. Войска у него было недостаточно, и он ожидал подкреплений из соседних городов. Христианские принцы сочли его трусом, потеряли всякую надежду сразиться с ним в открытую и, насытившись бесчинствами, сняли шатры и отправились восвояси. Дон Педро вел авангард, Дон Хуан прикрывал отход, но двигались они без порядка и строя, ибо войско их было отягощено добычей и пленниками.

Тем временем к Исмаилу подошли долгожданные подкрепления, он отдал их под начало Осмина, храбрейшего из своих полководцев, и отправил по горячим следам неприятеля. Христиане были застигнуты на горном перевале. Их охватила паника; они были разбиты наголову и остатки войска отброшены за рубежи. Погибли оба принца. Тело Дона Педро вынесли из боя, но убитого Дона Хуана в темноте не нашли. Сын его обратился к мавританскому государю с посланием, умоляя отыскать тело отца, дабы предать его достойному погребению. Исмаил вмиг забыл, что Дон Хуан был его недругом, предавшим страну огню и мечу до самых стен столицы; он увидел в нем лишь доблестного рыцаря и принца крови. По его приказанию стали усердно искать тело, и оно было найдено и доставлено в Гранаду. Исмаил повелел возложить его на возвышенном одре, обставленном свечами, в чертоге Альгамбры. Осмин и один из знатнейших витязей несли почетный караул, а пленники-христиане были допущены в чертог для молитвы.

Исмаил написал сыну принца Хуана, чтобы тот выслал конвой за телом, поручившись, что никакого обмана не будет. В условленное время прибыл отряд христианских рыцарей. Исмаил принял их пышно; когда же они отбыли с телом, почетный эскорт витязей-мусульман сопровождал его до границы.

Но будет: солнце уже высоко над вершинами и обдает нас нестерпимым зноем. Камни под нашими ногами раскалились; оставим эту террасу и освежимся под аркадами возле Львиного Фонтана.

Беглец

У нас в Альгамбре случилась маленькая неприятность, затуманившая ясное личико Долорес. У крошки подлинно женское пристрастие к животным, и благодаря ее неиссякаемым щедротам один из разрушенных дворигов Альгамбры заполнен ее любимцами. Величавый павлин со своею павой царствует там над чванными индюками, вздорными цесарками и базарной толчеею петухов и кур. Впрочем, сама

Долорес с некоторых пор прикипела душою к юной паре голубков, недавно соединивших свои судьбы и возобладавших в сердце хозяйки даже над пестрой кошкой с котятками.

Для семейного благоустройства им была отведена комнатка рядом с кухней, окном в тихий мавританский дворик. Здесь они жили в сладком неведении о мире за пределами дворика и его солнечных сводов. Они никогда не взлетали над зубцами укреплений к верхушкам башен. Их супружеская добродетель была наконец вознаграждена двумя молочно-белыми яйцами без единого пятнышка – к великой радости заботливой хозяйки. И молодая чета повела себя как нельзя более похвально. Они по очереди сидели в гнезде, пока не вылупились их беспомощные птенцы, тут же потребовавшие тепла и корма: тогда один родитель стал оставаться дома, а другой летал за пищей и приносил ее в изобилии.

Однако их супружескому счастью неожиданно настал конец. Нынче рано утром Долорес кормила голубка, и ей взбрело в голову хоть чуточку показать ему большой мир. Она распахнула окно над долиной Дарро – и любимец ее внезапно оказался за стенами Альгамбры. Впервые в жизни изумленной птичке довелось испытать силу своих крыльев. Голубь нырнул глубоко в долину, потом взмыл под самые облака. Никогда раньше он не летал так высоко, никогда так не радовался полету: и у него, как у юного повесы, вступившего вдруг в права наследства, закружилась голова от избытка свободы и от раскрытого перед ним простора. Весь день он своевольно кружил над башнями и деревьями. Напрасно его пытались залучить обратно, напрасно рассыпали зерно по крыше – он словно и думать забыл о доме, о нежной подруге и беззащитных детенышах. К пущему огорчению Долорес, его взяли в оборот два голубка-разбойника (*palomas ladrones*), занятие которых было сманивать бездомных собратий в свои голубятни. Беглец, подобно несмышленным юнцам, окунувшимся в светскую жизнь, был в восторге от этих опытных, хоть и бесцеремонных спутников, которые взялись учить его жизни и ввести в общество. Он носился с ними над всеми крышами и шпилями Гранады. Разразилась гроза, но домой он все равно не полетел; спустилась ночь, а его все не было. В довершение печалей голубка, просидев в гнезде бессменно несколько часов, отправилась искать своего сбежавшего супруга и отлучилась так надолго, что птенцы, лишенные родительского тепла и защиты, погибли. Вечером, в поздний час, Долорес донесли, что беглец был замечен на башнях Хенералифе. А дело в том, что управитель этого древнего дворца – тоже владелец голубятни, в которой как раз и живут две или три бессовестные птицы, гроза окрестных голубятников. Долорес тут же заключила, что два пернатых негодяя, которые обхаживали ее беглого голубка, – наверняка из Хенералифе. Военный совет держали в комнате тетюшки Антонии. В Хенералифе свое начальство, и с начальством Альгамбры оно, конечно, слегка не ладит, чтоб не сказать соперничает. Поэтому решено было направить заику-садовника Пепе послом к тамошнему коменданту и затребовать беглеца, буде он там объявится, как подданного Альгамбры. Пепе отбыл с дипломатической миссией и, прошеествовав по лунным аллеям и рошицам, вернулся через час со скорбной вестью, что в голубятне Хенералифе подобной птицы не обнаружено. Впрочем, комендант поручился своим словом, что в случае появления бродяги, хоть бы и в полночь, он будет тут же арестован и отправлен под стражей к своей черноглазой хозяйке.

Такая вот приключилась грустная история, наделавшая немало шума во дворце; и безутешная Долорес отправилась на свое бессонное ложе.

Утро вечера мудренее, гласит -поговорка. Едва я вышел наутро из своих покоев, как натолкнулся на Долорес с беглым голубем в руках, и глазки ее искрились радостью. Он появился в ранний час, робко перелетая с крыши на крышу, наконец впорхнул в окно и сдался в плен. Правда, раскаяния в нем было незаметно: он жадно принялся клевать рассыпанный перед ним корм, и, конечно же, его, как и блудного сына, пригнал домой

голод. Долорес распекла голубя за бессовестное поведение, назвала на тысячу ладов бродяжкой, в то же время по-женски прижимая его к груди и покрывая поцелуями. Я заметил, однако ж, что на будущее она позаботилась подрезать ему крылья; эту предосторожность я упоминаю к сведению всех тех, у кого беспокойные любовники или гулящие мужья. Вообще история Долорес и ее голубка весьма и весьма поучительна.

Балкон

Я уже говорил о балконе за средним окном Посольского Чертога. Он служил мне обсерваторией, и я частенько сиживал там, наблюдая не только небесные, но и земные явления. Оттуда открывался прекрасный вид на горы, доли и веси, а внизу разворачивались повседневные житейские сценки. У подножия горы была аламеда, место прогулок, не такое фешенебельное, как нынешний великолепный бульвар-пасо возле Хениля, но и здесь публика подобралась пестрая и живописная. Тут были дворянчики из пригородов, священники и монахи, гулявшие для аппетита и пищеварения, щеголи и щеголихи, *majos* и *majas* из простых, в андалузских нарядах, разодетые контрабандисты, а иногда прогуливались, полузакрыв лицо плащом, и лица высшего сословия – видимо, с некою тайной целью.

Я восхищенно созерцал эти живые картины испанского быта и нравов; и, подобно астроному, который обзревает небеса в громадный телескоп, как бы поднося звезды к глазам, я глядел со своих высот в карманную подзорную трубу, и участники пестрых сборищ были видны столь отчетливо, что порою мне казалось, будто я могу судить об их разговорах по Жестам и выражению лиц. Я был как бы наблюдателем-невидимкой и, не поступаясь уединением, мог вмиг оказаться в гуще толпы – редкое преимущество, особенно ценное для человека моего склада, довольно застенчивого и необщительного, любителя наблюдать жизненную драму со стороны, не участвуя в сценическом действе.

Пригород в низине под Альгамброй занимал узкую ложбину и распространялся на противоположную гору Альбайсин. Многие дома здесь были в мавританском стиле, с круглыми фонтанными двориками-патио под открытым небом; в этих двориках и на крышах жители проводят летом большую часть времени, так что сверху, из-под облаков, можно было вдоволь насмотреться на их житье-бытье.

Я был вроде того студента из знаменитой и старинной испанской повести, который проникал взглядом под мадридские крыши; а мой словоохотливый оруженосец Матео Хименес иногда служил мне Асмодеем, рассказывая разные истории о домах и их обитателях.

Я, однако ж, предпочитал строить собственные догадки и просиживал часами, сплетая из случайных происшествий и замет умыслы, козни и заботы вечно занятых смертных там, внизу. Обо всяком миловидном личике, о всякой изящной фигурке у меня постепенно сочинялись драматические истории, хотя порою некоторые мои персонажи совершенно выбивались из роли и ломали весь сюжет. Как-то, обводя своим стеклянным оком улочки по склону Альбайсина, я увидел процессию: вели на постриг будущую монахиню. И то, что мне бросилось в глаза, пробудило живейшее участие к судьбе этой юной девицы, которую хоронили заживо. Я с удовлетворением отметил, что она красива: бледность щек выдавала в ней невольную жертву. Она была облачена в свадебный наряд, на голове белый венок, но сердце ее явно противилось этой пародии на духовный союз и тосковало по земной любви. Рядом с нею шел высокий и суровый мужчина – разумеется, тиран-отец, который вынудил ее к этому из ханжества или корысти. В толпе был красивый темноволосый юноша, одетый по-андалузски; он не сводил с нее мучительного взора – конечно же, ее тайный избранник, с которым она

навек расставалась. Я различал злорадство на лицах монахов и послушников, и возмущение мое росло. Процессия приблизилась к монастырской часовне; солнце напоследок ярко озарило венки бедной девушки, и вот она переступила роковой порог и скрылась за дверями храма. Толпа влилась за нею, монахи, певчие, миряне; возлюбленный помедлил перед входом. Мне было так понятно смятение его чувств! Но он совладал с собою и вошел. Последовал долгий промежуток. Я представлял себе, что происходит там, внутри: с несчастной девушки совлекают мишурный наряд и облачают ее в монастырское платье; хорошенькую головку, лишенную белого венка, лишают длинных шелковистых прядей. Я слышал, как она лепечет невозвратимые слова обета. Я видел ее простертой на одре и укрытой погребальным покровом: свершалась похоронная служба, возвещавшая ее смерть для мира; вздохи ее заглушало гудение органа и жалобный рекем монахинь; бесчувственный отец глядел на все это, не пролив ни слезы; возлюбленный – нет, скорби возлюбленного я не мог даже вообразить, и картина оставалась недорисованной.

Наконец толпа повалила обратно и стала рассеиваться; они шли радоваться солнечному свету и погрязать в житейских заботах, но жертвы в свадебном венке с ними уж не было. Монастырская дверь затворилась и навсегда отгородила ее от мира. Я увидел, как вышли ее отец и возлюбленный: они были погружены в беседу. Несчастный яростно жестикулировал, и я ожидал было кровавой развязки драмы, но они свернули за угол и скрылись с моих глаз. Впоследствии я часто обращал взгляд на монастырь с печальным любопытством. Поздно ночью я заметил одинокий огонек, мерцавший из-за ставен дальнего башенного окошка. «Вот, – сказал я себе, – несчастная монахиня сидит и плачет в своей келье, а возлюбленный ее, быть может, мечется внизу по улице в безысходной скорби».

Услужливый Матео пресек мои размышления и в один миг смел паутину вымысла. С обычным своим рвением он разузнал все касательно виденной мною сцены, и оказалось, что воображал я понапрасну. Героиня моей трогательной истории была вовсе не молода и не красива; возлюбленного у нее не было; в монастырь она пошла по доброй воле и нынче славится там своим веселым нравом.

Я не сразу простил эту монахиню, счастливую в своей келье вопреки всем романтическим уставам, и кое-как утешился, наблюдая день-другой очаровательное кокетство черноглазой красотицы, которая тайком перемигивалась со своего балкона, из-за цветущих роз и шелкового навеса, с видным брюнетом в пышных бакенбардах, часто появлявшимся на улице под ее окнами. Мне случалось видеть, как в ранний час он крался прочь, до самых глаз укутавшись в плащ. Иногда он стоял на углу, переодетый, видимо дожидаясь тайного знака, чтобы пробраться в дом. Ночью оттуда слышен был звон гитары, и фонарь на балконе переставляли с места на место. Я вообразил было интригу в духе Альмавивы, но опять попал впросак. Любовник оказался мужем, известным контрабандистом: ловчил и прятался он неспроста.

Порою я развлекался тем, что следил со своего балкона, как по времени дня сцена внизу постепенно меняется. Едва серая полоса прорезала предрассветное небо и из какого-нибудь двора на горном склоне доносился крик раннего петуха, как предместье подавало первые признаки оживления, ибо свежие утренние часы драгоценны летом в знойном климате. Все спешит с делами, чтоб опередить солнце: погонщики выводят в путь свой груженный караван, путник торочит ружье за седлом и садится на коня у ворот корчмы, смуглый крестьянин погоняет медлительных мулов, навьюченных корзинами фруктов и свежих, обрызганных росой овощей, – ведь хлопотливые хозяйки уже спешат на рынок.

Солнце встает и осыпает блеском долину, золотит кружевную листву рощ. В чистом и ясном воздухе разносится мелодичный колокольный звон, зовущий к заутрене. Погонщик останавливает мулов с поклажей у часовни, затыкает сзади за пояс свою

палку и переступает порог со шляпой в руке, приглаживая угольно-черные волосы, чтоб отстоять мессу и помолиться за благополучный переход через сьерру. А вот легкою стопой выходит изящная сеньора в щегольской бас-кинье, с трепетным веером в руке, и темные глаза ее поблескивают из-под искусных складок мантильи. Она направляется в какую-нибудь многолюдную церковь, дабы вознести там свои утренние моления; но платье по фигуре, дивный башмачок и чулочек-паутинка, изысканно уложенные смоляные пряди и свежесорванная роза, блистающая среди них, как драгоценность, – конечно же, мысли ее прочно прикованы к земле. Смотрите за нею, заботливая мать, незамужняя тетка или бдительная дуэнья. – кто уж там из вас идет следом!

Утро в разгаре, и шум будничных трудов все громче слышен отовсюду; по улицам сплошным потоком движутся люди, кони и выючный скот; доносится как бы океанское гудение и ропот. Когда солнце достигает зенита, гул и гомон понемногу молкнут; в полдень наступает затишье. Беспокойный город охватывает вялость, и несколько часов все отдыхают. Окна затворены, занавеси опущены, горожане укрылись в самых прохладных уголках своих жилищ, откормленный монах храпит в dormitorio; мускулистый носильщик распростерся на мостовой возле своей поклажи; крестьянин и работник спят под деревьями аламеда, убаюканные томным верещанием цикад. На улицах никого, кроме водоносов, освежающих слух похвалами своему искристому товару – «холоднее горного снега» (*mas fria qua la nieve*).

Солнце клонится к западу, все понемногу снова оживает, и, когда колокол негромко звонит к вечерне, вся природа словно ликует, что владыка дня пал. Горожане высыпают на улицы подышать вечерней прохладой и проводят краткие сумерки у Дарро, возле Хениля.

Надвигается ночь, и прихотливая сцена опять обновляется. Один за другим зажигаются огни: вот косяк света от балконного окна, вот лампадка перед статуей святого. Так мало-помалу город выступает из мглы и сыплет огнями, словно звездный небосвод. Из дворов и садов, с улиц и переулков слышатся переборы бесчисленных гитар и шелканье кастаньет; на высоте эти звуки сливаются в общий отдаленный концерт. «Лови миг!» – таков жизненный девиз веселых и влюбчивых андалузцев, и особенно рьяно они следуют ему благоуханными летними ночами, пленяя своих избранниц танцами, куплетами и страстными серенадами.

Однажды вечером я сидел на балконе, наслаждаясь легким ветерком, овевавшим гору и шелестевшим в листве деревьев, и мой скромный историограф Матео, который торчал у меня под боком, указал на обширную усадьбу в одной из улочек на Альбайсине и поведал о ней примерно нижеследующую историю.

Случай с каменщиком

Жил да был когда-то в Гранаде бедный каменщик, который никогда не работал – ни во дни святых, ни в праздники, ни в воскресенья, ни даже в понедельники – и, несмотря на такое благочестие, все беднел да беднел и еле-еле ухитрялся прокормить свое многочисленное семейство. Однажды ночью едва он заснул, как раздался стук в дверь. Он отворил и увидел перед собой высокого, тощего и мертвенно-бледного священника.

– Послушай-ка, друг любезный! – сказал незнакомец. – Я приметил, что ты добрый христианин и верный человек: не хочешь ли поработать нынче ночью?

– С радостью, сеньор падре, особенно за сходную плату.

– Это уж как водится, только надо будет тебе завязать глаза.

Каменщик спорить не стал; священник повел его с повязкой на глазах вверх-вниз по разным проулкам и переходам и привел к воротам какого-то дома. Там он достал ключ,

со скрежетом отомкнул замок и отворил дверь – как слышно было, очень тяжелую. Они вошли, дверь была заперта, засовы задвинуты, и каменщик прошагал за своим поводырем по гулкому коридору и просторному залу. Священник снял с его глаз повязку, и он увидел, что стоит во дворике-патио, тускло освещенном единственным фонарем. Посредине дворика был пересохший бассейн древнего мавританского фонтана; под ним-то священник и велел устроить тайник – кирпичи и известка были уже заготовлены. Каменщик работал всю ночь, но дело не закончил. Перед самым рассветом священник вручил ему золотой, завязал глаза и отвел домой.

– Ты согласен прийти еще раз, – спросил он, – и закончить работу?

– Еще бы, сеньор падре, если за такие же деньги.

– Хорошо, тогда завтра в полночь я снова зайду за тобой.

Так и случилось, и тайник был доделан.

– А теперь, – сказал священник, – ты мне поможешь перенести то, что будет здесь схоронено.

У бедного каменщика при этих словах волосы встали дыбом; он неверным шагом побрел за священником, готовясь увидеть ужасные трупы, но, к облегчению своему, увидел лишь три или четыре высоких кувшина в углу комнаты. Они, по всему судя, были полны монет, и немалых трудов стоило ему на пару со священником перенести их в тайник. Затем тайник был замурован, бассейн облицован по-прежнему, все тщательно прибрано, а каменщик с повязкой на глазах выведен совсем не тою дорогой, какою был приведен. После долгих блужданий по улочкам и аллеям они остановились. Священник вложил ему в руку два золотых.

– Жди здесь, – сказал он, – пока не услышишь из собора звона к заутрене. Если вздумаешь снять повязку до того, тебя постигнет несчастье.

С этими словами он удалился. Каменщик честно ждал, от нечего делать взвешивая золотые на ладони и позвякивая ими. Как только прозвонил утренний колокол, он сорвал повязку и обнаружил, что стоит на берегу Хениля; явившись прямехонько домой, он вместе с семьей пропировал на двухдневный заработок две недели и зажил в прежней нищете.

Как и раньше, он немного работал, неустанно молился, соблюдал все дни святых и праздники, и так из года в год, пока жена его и дети вконец не отощали, как существа цыгане. Однажды вечером он сидел у дверей своей лачуги, и к нему приблизился старый прижимистый богатей, владелец многих домов, которые сдавал внаем и драл с жильцов три шкуры. Богач пристально поглядел на него из-под насупленных косматых бровей.

– Я слышал, друг мой, ты очень беден.

– Что правда, то правда, сеньор, – с этим не поспоришь.

– Стало быть, от работы не откажешься и возьмешь недорого.

– Дешевле вам в Гранаде никто не сделает, хозяин.

– Это мне подходит. Есть у меня старый, завалившийся дом, и содержать его в порядке толку нет, жить в нем все равно никто не хочет; так вот, надо бы кой-как его подлатать и подпереть, да подешевле.

Каменщик согласился, и тот привел его в большой заброшенный дом, который и вправду грозил вот-вот обрушиться. Они прошли по залам и покоям, вышли во дворик, и каменщик сразу заметил старинный мавританский фонтан. Он на миг замер и смутно припомнил это место.

– Простите, – сказал он, – а кто раньше жил в этом доме?

– Чума его задери! – воскликнул хозяин. – Жил тут старый скряга священник, один-одинешенек. По слухам, богач богачом, а родни никакой, и думали, что все свои сокровища он оставит церкви. Скончался он внезапно; священники с монахами кинулись сюда толпой, чтоб не упустить своего, и нашли они пяток дукатов в его

кожаной мошне. А я и вовсе в дураках: ведь старик хоть и умер, а все-таки остался в моем доме бесплатно – на мертвых какая управа! Говорят, будто каждую ночь слышно, как звенят золотые в той самой комнате, где спал старик священник, словно он пересчитывает свои деньги; а то еще будто стонет и охает во двореке. Может, это правда, а может, выдумки, только о доме моем пошла худая слава, и никто его у меня не снимает.

– Понятно, – сказал храбрый каменщик. – Давайте-ка, я бесплатно поживу в вашем доме, пока не подвернется съемщик почище, и тем временем подправлю что можно и разберусь с этим беспокойным мертвецом. Я добрый христианин, взять с меня нечего, и я не побоюсь самого дьявола, даже если он явится под видом большого мешка с деньгами.

Такое предложение честного каменщика было с радостью принято: он перевез семью в новое жилище и что сказал, то сделал. Мало-помалу он починил дом; золотые перестали звенеть по ночам в спальне покойника и звенели днем в кармане живого каменщика. Словом, дела его, на удивление всем соседям, вдруг пошли на поправку, и он скоро стал чуть ли не первым богачом в Гранаде. Он щедро жертвовал на храм – разумеется, для успокоения совести – и рассказал о тайнике только на смертном одре своему сыну и наследнику.

Львиный дворик

Особая прелесть этого древнего дремотного дворца – в его способности вызывать смутные видения и картины прошлого, облекая нагую действительность чарами памяти и воображения. Мне в радость эти «тщетные тени», и я люблю блуждать по тем уголкам Альгамбры, которые особенно благоприятны для таких фантазмагорий, – по Львиному Двору и прилегающим чертогам. Здесь рука времени была милостива, и мавританская пышность и изящество сохраняют едва ли не первозданную прелесть. Землетрясения надломили основания дворца и расшатали самые мощные башни, а вот поди ж ты! Все стройные колонны на своих местах, ни один свод легкой и хрупкой аркады не сместился, и вся волшебная отделка, по видимости такая же ненадежная, как утренние морозные разводы на стекле, уцелела сквозь века и свежа так, словно ее только что завершил мавританский строитель. Я пишу это, окруженный свидетельствами прошлого, овеянный утренней прохладой, в роковом Чертоге Абенсеррахов. Фонтан на крови, легендарный памятник их убийства, передо мною, брызги его струй чуть-чуть не долетают до листа бумаги. Как трудно согласить древнее кровавое сказание с этой тихой и мирной сценой! Здесь все будто призвано внушать нежные и добрые чувства, ибо все здесь утонченно и прекрасно. Даже и самый свет мягко проникает сверху, сквозь ажурный купол, расцвеченный и изукрашенный как бы руками чародея. Сквозь широкую узорчатую арку портала я гляжу на Львиный Двор, на его блистающие в ярком солнечном свете колоннады и переливчатые фонтаны. Юркая ласточка залетела во двор, взмыла и помчалась прочь, щебеча над крышами; деловитая пчела гудит в лепестках; цветастые бабочки перепархивают с цветка на цветок и резвятся стайками в напоенном солнцем воздухе. Легкое усилие воображения – и появится грустная гаремная прелестница, блуждающая среди затворнической роскоши Востока.

Впрочем, тот, кто захочет увидеть всю эту роскошь под знаком ее судеб, пусть приходит, когда вечерние тени скрадывают яркость двора и застилают мглой соседние чертоги. Тогда здесь воцаряется ясная печаль, как нельзя более подходящая к сказаниям об отошедшем величии.

В такое время дня меня тянет под глубокие тенистые аркады Чертога Правосудия, по

ту сторону дворика. Здесь, в присутствии Фердинанда и Изабеллы и их ликующего двора, совершалась пышная месса в честь взятия Альгамбры. Даже и крест еще виден на стене, за воздвигнутым алтарем, на котором совершал жертвоприношение великий кардинал испанский и другие высокопоставленные прелаты. Я представляю, как все здесь было полно победоносным войском, смешение епископов в митрах и бритых монахов, закованных в латы рыцарей и разодетых придворных, кресты, посохи и статуи святых вперемешку с гордыми воинскими знаками и знаменами надменных военачальников, триумфальное шествие по мусульманским чертогам. Я представляю себе Колумба, будущего открывателя мира, как он скромно стоит в дальнем углу, смиренный и незаметный наблюдатель этого хоровода. Воображение мое рисует католических государей, простирающихся пред алтарем и возносящих благодарения за свою победу; а своды гудят от церковного пения, от басовитого *Te Deum*.

Представление закончено, воображаемая картина расплывается, монарх, священник и воин возвращаются в область забвения вместе с бедными мусульманами, над которыми восторжествовали. Триумфальный чертог пуст и заброшен. Летучая мышь мечется под его сумеречным куполом, и сова кричит в соседней башне Комарес.

Минуло несколько вечеров, я зашел в Львиный Дворик и был прямо-таки потрясен, увидев мавра в тюрбане, спокойно сидевшего возле фонтана. На мгновение показалось, что какие-то сказания ожили: зачарованный мавр пробился сквозь завесу веков и стал видим. Он оказался, впрочем, обыкновенным смертным: уроженцем Тетуана в Берберии, владельцем лавки в гранадском Закатине, где он торгует ревенем, а также разными побрякушками и духами. По-испански он говорил бегло, и мне удалось завязать с ним беседу, причем он выказал ум и сметливость. Он сказал мне, что летом иной раз взбирается на гору, чтобы побыть в Альгамбре, напоминающей ему старинные берберские дворцы: сходно построены и отделаны, но этот великолепнее. Мы прогулялись по дворцу, и он указал мне на арабские надписи, весьма поэтичные.

– Ах, сеньор, – сказал он, – когда Гранада была мавританской, здесь было куда веселее, чем нынче. Тогда все думы были о любви, музыке и поэзии. По любому случаю сочинялись стихи, и их клали на музыку. Тот, кто лучше всех сочинял, и та, которая нежнее всех пела, – им были милости и щедроты. В те дни, если кто просил хлеба, ему отвечали: сочини стих – и последнего нищего, если он просил в рифму, нередко награждали золотом.

– И что ж народная любовь к стихам, – спросил я, – она у вас совсем угасла?

– Отнюдь нет, сеньор: берберы, даже из самых простых, все еще сочиняют стихи, и неплохие стихи, как в старину; только талант нынче остается без награды – богатым приятнее звон золота, нежели звуки стиха или музыки.

Так говорил он, и тем временем взгляд его набрел на одну из надписей, возвещавших силу и славу мусульманских государей во веки веков. Переведя надпись, он покачал головой и пожал плечами.

– Так бы все оно и было, – сказал он, – мусульмане и поныне владели бы Альгамброй, если бы предатель Боабдил не сдал свою столицу христианам. Приступом испанские государи никогда бы ее не взяли. Я попытался защитить память злополучного Боабдила от поношения и возразил, что раздоры, сокрушившие мавританский трон, порождены были жестокостью бессердечного отца Боабдила, но мавр твердо стоял на своем.

– Мулей Абуль Гассан, – сказал он, – может, и был жесток, зато он был отважен, бдителен и любил родную землю. Будь у него настоящий преемник, Гранада осталась бы нашей, но сын его Боабдил спутал его планы, расточил его силы, посеял измену в его дворце и раздоры в его лагере. Да проклянет Аллах предателя!

С этими словами мавр покинул Альгамбру.

Негодование моего чалмоносного собеседника вполне согласуется с рассказами одного из моих друзей, который путешествовал по Берберии и беседовал с тетуанским

пашою. Этот мавританский государь весьма выпрашивал его об Испании, и в особенности об Андалузии, о прелестях Гранады и руинах царского дворца. Ответы пробудили в нем дорогие воспоминания, столь близкие сердцу каждого мавра, — о могуществе и пышности их древнего царства в Испании. Обернувшись к мусульманам-придворным, паша разгладил бороду и разразился горькими сетованиями на то, что правоверные утратили столь прекрасные владения. Он, однако ж, утешился тем соображением, что силе и успехам испанской нации приходит конец, что настанет время, когда мавры отвоюют свои исконные владения, и, может статься, уж недалек тот день, когда в Кордове снова закричит муэдзин, а на трон в Альгамбре воссядет магометанин.

Этого ждут и в это верят все берберы: они считают Испанию, или Андалуз, как она издревле называлась, своей законной вотчиной, отторгнутой насильственно и предательски. Такие мечты век за веком лелеют потомки гранадских изгнанников, рассеянные по всям Берберии. Некоторые из них живут и в Тетуане, по-прежнему зовутся Паэсами и Мединами и не вступают в брачные союзы с семьями, которые не могут похвастать подобной родовитостью. Их высокородство весьма чтут в народе, а это среди магометан редкость: они безразличны к происхождению, исключая разве царское.

Рассказывают, что в этих семьях все так же томятся по земному раю их предков и по пятницам в мечетях молят Аллаха приблизить срок возвращения Гранады правоверным; на это они уповают столь же пламенно и твердо, как уповали крестоносцы отвоевать гроб господень. Говорят еще, что многие из них хранят древние карты и крепостные записи на именья и сады своих гранадских предков, хранят даже ключи от домов как свидетельства наследственных прав, чтобы предъявить их в чаемый и блаженный день.

Разговор с мавром навел меня на размышления о судьбе Боабдила. Ему на диво подходит прозвище, которым наделили его подданные: Эль Зогойби, Неудачник. Несчастья его начались чуть не с колыбели и не кончились смертью. Если он когда-либо мечтал оставить по себе достойную память в анналах истории, то как жестоко был он обманут в своих надеждах! Кто из тех, кого хоть немного заинтересовала романтическая история мавританского владычества в Испании, не возгорался негодованием, проведая о злодеяниях Боабдила? Кто не был тронут горем прелестной и кроткой царицы, которую он поставил между жизнью и смертью по ложному обвинению в измене? Кого не ужаснуло приписанное ему убийство сестры с двумя детьми в ослеплении неистовства? У кого не вскипала кровь от рассказа о бесчеловечном избиении доблестных Абенсеррахов, тридцать шесть из которых, как утверждают, были по его велению обезглавлены здесь, в Львином Дворике? Все эти обвинения повторялись на разные лады — в балладах, драмах, романсах, — пока они не укоренились в народном сознании. И нет такого образованного чужестранца, чтоб посетил Альгамбру и не спросил, где тот фонтан на месте казни Абенсеррахов, и не посмотрел бы с трепетом на ту зарешеченную галерею, которая была узилищем царицы; и всякий уроженец Беги или Сьерры поет под свою гитару незатейливые куплеты о страданиях узницы, а слушатели привыкают проклипать самое имя Боабдила.

Между тем никогда и никто еще не был так безвинно и грубо оболган. Я изучил все подлинные летописи и записки испанских авторов, современников Боабдила; некоторые из них пользовались доверенностью испанских государей и сами были при войске всю кампанию. Изучил я и арабских летописцев — тех, которые были мне доступны в переводе, — и не обнаружил ничего подтверждающего эти тяжкие и злобные обвинения. Большой частью рассказы эти восходят к книге, обычно называемой «Гражданские войны Гранады» и будто бы содержащей историю раздоров

Зегрисов и Абенсеррахов во время агонии мавританского царства. Книга появилась на испанском языке, будто бы переведенная с арабского неким Хинесом Пересом де Ита, жителем Мурсии. С тех пор ее перевели на несколько языков, и Флориан многое заимствовал оттуда для своей повести о Гонсальво из Кордовы; таким-то образом она приобрела, к немалому ущербу для истины, весомость подлинной истории: нынче ее принимают за чистую монету, особенно гранадские крестьяне. Она, однако ж, сплошь состоит из выдумок, с малой примесью искаженной истины для придания некоторого правдоподобия. Лживость ее самоочевидна: быт и нравы мавров представлены в ней до смешного неверно, и сочиненные сцены столь не согласны с их верой и обычаями, что ни один магометанин не мог написать ничего подобного.

Признаюсь: в этих бесстыдных извращениях истины мне чудится некое злоумышление; романтическим писателям, конечно, дозволено многое, но есть пределы и для них – знаменитых покойников, чьи имена принадлежат истории, порочить нельзя, так же как и прославленных живущих. Добавим, кстати, что несчастный Боабдил достаточно претерпел за свою столь понятную враждебность к испанцам, лишившись своего царства, и нет нужды превращать его имя в позорную кличку у его на родине, на земле отцов его!

Если читатель достаточно заинтересовался этими делами и готов вытерпеть кое-какие исторические подробности, то нижеприведенные факты о судьбе Абенсеррахов, почерпнутые из подлинных, насколько я могу судить, источников, послужат, может статься, к тому, чтобы снять со злосчастного Боабдила обвинение в предательском уничтожении знаменитого рода, облыжно приписанном ему. Заодно прояснится и путаная история с обвинением и заточением царицы.

Абенсеррахи

Среди испанских мусульман существовало строгое разделение на пришельцев с Востока и из Западной Африки. Первые почитали себя чистейшей расой, родоначальники которой явились с родины пророка, подняв знамя ислама; среди прочих наиболее воинственными и могучими были берберы, уроженцы горы Атлас и пустыни Сахары, известные под именем мавров; они покорили прибрежные племена, основали город Марокко и долгое время оспаривали у восточных родов первенство в мусульманской Испании.

Абенсеррахи были восточноарабской знатью и гордились тем, что они – прямые потомки Бени Сераев, одного из колен ансаров, или сподвижников пророка. Какое-то время род их процветал в Кордове; вероятно, перебравшись в Гранаду после падения Западного халифата, здесь-то они и прославились в летописях и песнях как доблестнейшие рыцари великолепного двора Альгамбры.

Опасных вершин придворного почета они достигли во время бурного правления Мухаммеда Насара, прозванного Эль Хайзари, то есть Левша. Этот злосчастный монарх, взойдя на трон в 1423 году, осыпал милостями доблестный род и сделал главой его, Юсуфа Абен Зерага, своим визирем, то есть премьер-министром, а его родственникам и друзьям раздал высшие придворные должности. Другие роды были тяжело обижены, и старейшины их принялись строить козни. В народе Мухаммеда тоже невзлюбили – за его нрав. Он был тщеславен, неосмотрителен и высокомерен, выказывал пренебрежение к подданным, запретил состязания и турниры, утеху знати и простолюдинов, и надменно роскошествовал у себя в Альгамбре. Наконец народ восстал; дворец осадили, Мухаммед бежал садами, добрался до морского берега, доплыл до Африки в чужой одежде и нашел приют у своего родственника, владыки Туниса.

Опустевшим тронном завладел Мухаммед эль Загер, двоюродный брат бежавшего государя. Он повел себя иначе, нежели его предшественник. Он не только беспрестанно задавал празднества и турниры, но и сам в них участвовал в пышном царском облачении; он прекрасно владел конем и копьем и отличался в рыцарских потехах, пировал со своими придворными и делал им богатые подарки.

Те, кто был в милости у его предшественника, ныне очутились в опале; он оказывал к ним такую враждебность, что более пятисот славнейших витязей удалились из города. Юсуф Абен Зераг с сорока Абенсерра-хами покинул Гранаду ночью и явился ко двору короля Хуана Кастильского. Тронутый их повестью, этот юный и великодушный монарх написал государю тунисскому, призывая его помочь покарать самозванца и вернуть престол царю-изгнаннику. Верный и неустанный визирь поехал с послом Хуана в Тунис, к своему изгнанному повелителю. Посланье возымело действие. Мухаммед эль Хайзари высадился в Андалузии с пятью сотнями африканских всадников; к нему присоединились Абенсеррахи и другие его приверженцы, а также союзники-христиане; при появлении его города сдавались один за другим, высланные против него войска переходили на его сторону: Гранада была отвоевана без единой жертвы. Самозванец укрылся в Альгамбре, но был обезглавлен собственными воинами (1428), провластвовав два с лишним года.

Воцарившись заново, Эль Хайзари осыпал почестями достойного визиря, чья исправность вернула ему трон, у подножия которого снова встал род Абенсеррахов. Эль Хайзари отправил посольство к королю Хуану – поблагодарить за помощь и предложить прочный дружеский союз. Король кастильский потребовал признать его сюзереном и платить ежегодную дань. Незадачливый властелин Альгамбры отказался, полагая, что его юный сосед слишком занят внутренними крамолами, чтобы утвердить свою волю силою. И опять земля Гранады застонала от нашествия, и Вега была разорена. Сражались много и без толку, но главная опасность поджидала Эль Хайзари в тылу. Жил тогда в Гранаде знатный рыцарь по имени Дон Педро Венегас, веры мусульманской, а по рождению христианин; история его ранних лет – истый роман.

Он был отпрыском знатного рода Луке и восьмилетним мальчиком попал в плен. Сид Яхья Альнаяр, властелин Альмерии, усыновил его и воспитал вместе со своими детьми, царевичами сетимерийскими: их гордый род вел начало от Абен Гуда, одного из первых повелителей Гранады. Дон Педро и принцесса Сетиме-риен, славная своею красотой дочь Сида Яхьи (имя ее хранят руины дворца в Гранаде, где все еще видны следы изящества и роскоши), полюбили друг друга. Со временем они стали супругами: так испанский дичок Луке был привит к царственному древу потомков Абен Гуда.

Таково начало истории Дона Педро Венегаса, а ко времени, о котором идет речь, он был уже зрелым мужем, деятельным и честолубивым. Кажется, он и стал душою тогдашнего заговора, имевшего целью свергнуть Мухаммеда Левшу с его ненадежного трона и посадить на его место Юсуфа Абен Альгамара, старшего сетимерийского принца. Нужно было заручиться помощью короля Кастилии, и Дон Педро отправился тайным послом в Кордову. Он поведал королю Хуану, что заговор нешуточный, что под знамена Юсуфа Абен Альгамара встанут многие, стоит ему только появиться в долине Веги, и что он признает себя испанским вассалом, если помощь короля обеспечит ему корону. Помощь была обещана, и Дон Педро поспешил назад в Гранаду с радостными известиями. Заговорщики выбирались из города порознь, под разными предложениями; и когда король Хуан перешел границу, Юсуф Абен Альгамар привел под его знамя восемь тысяч человек и целовал ему руку в знак покорности.

Не стоит и рассказывать о битвах, опустошивших край, и о бесконечных интригах, которые побудили царство разделиться надвое. Абенсеррахи во все время раздоров были верны несчастной звезде Мухаммеда; напоследок они стояли насмерть под Лохой, где визирь Юсуф Абен Зераг пал в битве и погибли многие доблестнейшие

рыцари; вообще эта братоубийственная война была крушением судеб рода.

И снова злополучный Мухаммед был согнан с трона и нашел приют в Малаге, правитель которой хранил ему верность.

Юсуф Абен Альгамар, известный под именем Юсуфа II, с победой вступил в Гранаду первого января 1432 года; но город был печален, половина обитателей в трауре. Не было знатной семьи, которая не оплакивала бы павшего; и разгром Абенсеррахов под Лохой стоил жизни многим доблестным витязям.

Царская свита промчалась по пустым улицам, и скудные приношения в чертогах Альгамбры не утолили потребности в простодушном народном ликованье. Юсуф Абен Альгамар почувствовал, что он ненадежен. Низвергнутый монарх был неподалеку, в Малаге, за него стоял правитель Туниса, призывавший на подмогу христианских государей; помимо всего прочего Юсуф знал, что он не полюбился народу Гранады. Ратные труды подорвали его здоровье, тяжкая печаль обуяла его, и за неполных шесть месяцев он сошел в могилу. Узнав о его смерти, Мухаммед Левша поторопился прибыть из Малаги и снова был посажен на трон. Из уцелевших Абенсеррахов он избрал визирем Абдельбара, одного из достойнейших в этом славном роде. По его совету он умерил мстительные порывы и постарался установить мир. Он простил почти всех своих врагов. После Юсуфа, покойного самозванца, осталось трое детей, и владения его были поделены между ними. Старший его сын, Абен Селим, сохранил титул правителя Альмерии и унаследовал к тому же Марчену в Альпухарре. Младшему, Ахмеду, был пожалован Лу-кар, а дочь Экивила получила в приданое родовые земли плодородной Веги, а также дома и лавки в гранадском Закатине. Визирь Абдельбар присоветовал еще и породниться с этой семьей. И тетку Мухаммеда выдали за Абен Селима, а царевич Насар, младший брат покойного самозванца, получил руку прекрасной Линдарахи, дочери надежного приверженца Мухаммеда, правителя Малаги. Той самой Линдарахи, имя которой и поныне носит один из садов Альгамбры.

Один лишь Дон Педро Венегас, муж царевны Сетимериен, не получил ничего. Считалось, что его происки были первопричиной раздоров. Абенсеррахи винили его в несчастьях своего рода и гибели многих храбрейших рыцарей. Царь именовал его не иначе, как Эль Торнадисо, Изменник. Ему грозили арест и заточение, и он покинул свою жену-царевну, двух сыновей, Абуль Касима и Редуана, дочь Сетимериен и бежал в Хаэн. Там, подобно шурина-самозванцу, он искупил свои происки и неимоверное честолюбие униженной скорбью и умер в 1434 году, предавшись покаянию, ибо разочаровался во всех и вся.

А Мухаммеда Эль Хайзари ожидали новые превратности. У него было два племянника: Абен Осмин, по прозвищу Эль Анаф, что значит Хромой, и Абен Исмаил. Первый из них, большой честолюбец, обитал в Альмерии, другой – в Гранаде, где имел много друзей. У него была красивая невеста, но царственный дядя расстроил брак, выдав ее замуж за одного из своих приближенных. Возмущенный таким произволом, Абен Исмаил облачился в доспехи, сел на коня и уехал за рубежи Гранады, и с ним немало знатных рыцарей. История эта вызвала общее негодование, особенно среди Абенсеррахов – приближенных принца. Как только слухи о народном недовольстве достигли ушей Абен Осмина, честолюбие его разыграло. Он внезапно явился в Гранаду, поднял мятеж, захватил своего дядю в Альгамбре, заставил его отречься и объявил себя царем. Это случилось в сентябре 1445 года. Абенсеррахи решили, что дело их низложенного и незадачливого царя безнадежно, а сам он не способен к правлению. Под водительством своего старшего родича, визиря Абдельбара, и в сопровождении многих витязей они оставили двор и разбили лагерь под Монтефрио. Оттуда Абдельбар написал царевичу Абен Исмаилу, нашедшему прибежище в Кастилии, призывая его к стану, обещая свою поддержку в притязаниях на трон и советуя покинуть Кастилию тайно, дабы король Хуан II не воспрепятствовал его отъезду. Однако царевич,

положившись на великодушие кастильского государя, изъяснил ему дело. И не обманулся. Король Хуан не только позволил ему ехать, но вдобавок снабдил соответствующими письмами к своим военачальникам на границе. Абен Исмаил отбыл с блестящей свитой и благополучно добрался до Монтефрио; Абдельбар со своими сторонниками, большею частью Абенсеррахами, провозгласил его владыкою Гранады. Между двоюродными братьями, соперниками из-за трона, разгорелась долгая междоусобица. Абен Осмину помогали короли Наварры и Арагона; Хуан II, занятый войной со своими мятежными подданными, не мог по-настоящему поддержать Абен Исмаила.

Несколько лет край истощали внутренние раздоры и опустошали чужеземные нашествия, редкое поле не было орошено кровью. Абен Осмин был храбр и отличился во многих боях, но был он вдобавок жесток и своевластен и правил железною рукой. Знати не по нраву были его капризы, а народу – его тирания; между тем его двоюродный брат склонял к себе сердца своею ласковостью. Поэтому из Гранады все время перебегали в укрепленный стан под Монтефрио, и число сторонников Абен Исмаила что ни день возрастало. Наконец король Кастильский, помирившись с королями Арагонским и Наваррским, выслал на помощь Абен Исмаилу отряд отборного войска. Тот покинул укрепления Монтефрио и повел объединенные силы на Гранаду. Абен Осмин поспешил ему навстречу. Разразилась жестокая битва, в которой Абенсеррахи явили чудеса доблести. Абен Осмин был разгромлен и отброшен к городским воротам. Он призвал было горожан к оружию, но те не откликнулись: жестокость его отвратила все сердца. Видя, что дело его проиграно, он решил на прощанье свести счеты. Удалившись в Альгамбру, он вызвал к себе знатнейших рыцарей из тех, кого подозревал в измене. Один за другим они являлись – и попадали в руки палача. Предполагают, что это и есть избиение, давшее имя Чертогу Абенсеррахов. Довершив жестокую месть и поняв по народным кликам, что Абен Исмаила провозглашают царем на городских стогнах, он умчался с горсткой приспешников через Cerro del Sol (Солнечную Гору) и долину Дарро в горы Альпухарры. Там они стали грабить деревни и разбойничать на дорогах.

Таким вот образом в 1454 году трон занял Абен Исмаил II; он заручился дружбой короля Хуана II, изъяснив ему вассальскую преданность и поднеся ему великолепные подарки. Он щедро вознаградил своих приверженцев и позаботился о семьях погибших. Во время его царствования Абенсеррахи снова оказались во главе блестящего рыцарства гранадского двора. Впрочем, Абен Исмаил был мирным государем и оставил по себе общепользные сооружения, развалины которых и поныне можно видеть на Серро дель Соль.

В том же, 1454 году Хуан II умер, и ему наследовал Энрике IV Кастильский, по прозванию Слабосильный. Абен Исмаил не позаботился возобновить с ним дружественный союз, какой существовал с его предшественником, ибо знал, что народ Гранады относится к этому союзу неприязненно. Королю Энрике такое пренебрежение не понравилось, и под предлогом взысканья дани он несколько раз вторгнулся в пределы Гранады. Он также покровительствовал Абен Осмину и его разбойным шайкам, пытаясь превратить их в свои наемные войска, но его гордые рыцари отказались являться с грабителями-басурманами и даже вознамерились захватить Абен Осмина; тот, однако, бежал, сначала в Севилью, а оттуда в Кастилию.

В 1456 году, когда христиане вторглись крупными силами, Абен Исмаил замиренья ради согласился платить королю Кастилии ежегодную условленную дань и к тому же освободить шестьсот христианских пленников, а если их столько не наберется, то восполнить число мавританскими заложниками. Абен Исмаил выполнил суровые условия договора и в последние годы своего царствования вкушал покой, каковой редко выпадал на долю властителей этого буйного края. Гранада благоденствовала и

славилась празднествами и роскошью. Султан был женат на дочери Сиды Яхья Абрагама Альнаяра, правителя Альмерии; она родила ему двух сыновей, Абуль Гассана и Аби Абдаллу, по прозвищу Эль Загаль, – будущего отца и дядю Боабдила. Итак, мы вплотную приблизились к бурным временам, ознаменованным покорением Гранады.

Мулей Абуль Гассан вззошел на трон своего отца после его смерти в 1465 году. Первым делом он отказался платить унижительную дань кастильскому государю. Отказ его был одной из причин последовавшей гибельной войны. Я, впрочем, ограничусь фактами, связанными с судьбой Абенсеррахов и с обвинениями против Боабдила.

Читатель припомнит, что Дон Педро Венегас, прозванный Эль Торнадисо, бежав из Гранады в 1433 году, оставил здесь двух сыновей, Абуль Касима и Редуана, и дочь Сетимериен. Они занимали достойное место среди гранадской знати, будучи с материнской стороны царского происхождения и через альмерских правителей сродни как покойному, так и новому государю. Сыновья отличались даровитостью и отвагой, дочь Сетимериен была замужем за Сидом Яхья, внуком царя Юсуфа и шурином Эль Загалья. Не удивительно, что Абуль Касим Венегас стал визирем Мулей Абуль Гассана, а Редуан Венегас – одним из его главных военачальников. Их выдвижение было отнюдь не по нраву Абенсеррахам, которые помнили, сколько несчастий претерпел их род и сколько их сородичей пало во время войны, вызванной происками Дона Педро, во дни Юсуфа Абен Альгамара. С тех самых пор Абенсеррахи были во вражде с домом Венегасов. Эту вражду вскоре усугубили нешуточные раздоры в царском гареме.

Еще в юности Мулей Абуль Гассан женился на своей двоюродной сестре, царевне Айше ла Горра, дочери своего дяди, злосчастливого султана Мухаммеда Левши; от нее у него было два сына: старший из них – Боабдил, предполагаемый наследник трона. К несчастью, на склоне лет он взял себе вторую жену, Изабеллу де Солис, юную и прекрасную пленницу-христианку, более известную под своим мавританским именем Зорайя; от нее у него тоже было два сына. Раздоры во дворце породило соперничество двух цариц, каждая из которых прочила в наследники своих сыновей. Зорайю поддерживали визирь Абуль Касим Венегас, его брат Редуан Венегас и их многочисленная и влиятельная родня: отчасти потому, что она, подобно им, была из христиан, отчасти же, видя, что стареющий монарх в ней души не чает.

Абенсеррахи, напротив, стояли за царицу Айшу, отчасти по наследственной неприязни к роду Венегасов, но главным образом, конечно, потому, что она была дочерью Мухаммеда Эль Хайзари, давнего благодетеля их рода.

Дворцовые раздоры все углублялись. Как это обычно бывает при царском дворе, в ход пошли всевозможные интриги. Мулей Абуль Гассана искусно навели на подозрение, что Айша устроила заговор, желая свергнуть его и посадить на трон своего сына Боабдила. В первом приступе гнева он заточил обоих в башню Комарес, угрожая Боабдилу казнью. Глухой ночью встревоженная мать с помощью служанок спустила своего сына из окна на связанных шалах; внизу его приняли верные люди и умчали на быстрых конях в горы Альпухарры. Вероятно, это заточение султанши и породило легенду о том, как Боабдил держал свою супругу в башне, намереваясь казнить ее. Ничего иного в подобном роде не было, в этом же случае, как видим, деспотом-тюремщиком оказывается отец Боабдила, а узницей-султаншей – его мать.

Некоторые историки относят к этому времени избиение Абенсеррахов и приписывают его тому же Мулей Абуль Гассану, подозревавшему их в причастности к заговору. Говорят, будто визирь Абуль Касим Венегас предложил истребить побольше рыцарей этого рода, дабы вселить страх в остальных. Если дело и вправду было так, то это злодеяние цели не достигло. Абенсеррахи не дрогнули и, оставшись верны Айше и сыну ее Боабдилу, сражались на их стороне в новой войне за престолонаследие; Венегасы же были в первых рядах сторонников Мулей Абуль Гассана и Эль Загалья. Стоит упомянуть о том, как сложилась дальнейшая судьба этих двух соперничавших

родов. Когда разразились последние битвы за Гранаду, Венегасы были среди тех, кто покорился завоевателям: они отреклись от мусульманства, вернувшись к религии, которой когда-то изменил их предок, получили в награду имения и должности, переженились на испанках, и потомков их можно найти среди нынешней испанской знати. Абенсеррахи избрали верность своей религии, своему государю, своему обреченному знамени – и погибли при крушении последнего мусульманского царства в Испании, оставив по себе лишь гордое, овеванное преданиями имя.

Надеюсь, в этом историческом очерке сказано достаточно, чтобы нелепая басня о Боабдиле и Абенсеррахах предстала в истинном свете. Столь же безосновательны и рассказы о его заточенной супруге и жестоко униженной сестре. Он, по-видимому, был добр и заботлив к своим домашним. История свидетельствует, что у него была всего одна жена, Морайма, дочь сурового правителя Лохи, старого Алиатара, прославленного в песнях и сказаниях своими пограничными подвигами; он пал в той злосчастной вылазке на христианские земли, когда был взят в плен и сам Боабдил. Морайма вынесла с Боабдилом все превратности его судьбы. Когда кастильские государи лишили его трона, она безропотно последовала за ним в крохотный удел, оставленный ему в Альпухаррской долине. Ревнивые придирки и тонкие ухищрения Фердинанда лишили его и этого последнего клочка родной земли, с которой его словно вытолкали. И только когда Боабдил готовился отплыть в Африку, телесные и духовные силы его супруги, подорванные тревогами и горестями, истощились: она тяжело занемогла, и болезнь ее усугублялась безутешной скорбью. Боабдил нежно ухаживал за нею до ее последнего часа; отплытие кораблей отложили на несколько недель, к великому раздражению подозрительного Фердинанда. Наконец Морайма умерла – по-видимому, от разрыва сердца, и соглядатаи Фердинанда тут же сообщили ему об этом: устранилось последнее препятствие к отплытию Боабдила.

Памятники царствования Боабдила

Еще не остыв к изысканиям о судьбе несчастного Боабдила, я принялся выяснять, что напоминает о нем здесь, где он был царем и где утратил царство. В башне Комарес под Посольским Чертогом есть два сводчатых покоя, разделенных узким коридором: говорят, они и служили узилищем Боабдила и его матери, благородной Айши ла Горра; в самом деле, другого пригодного для такой цели места в башне нет. Наружные стены этих покоев неимоверной толщины, их пронизывают крохотные зарешеченные оконца. С трех сторон башни, прямо под окнами, но от земли довольно высоко, проходит узенькая каменная галерея с низким парапетом. Должно быть, с этой галереи царица и опускала своего сына на связанных шаях в ночную тьму, где его приняли верные слуги на быстрых скакунах и увезли в горы.

С тех пор минуло больше трехсот лет, но сцена этой драмы осталась почти неизменной. Я прошелся по галерее, и воображение рисовало мне взволнованную царицу, как она склонилась над парапетом и с трепетом материнского сердца прислушивается к замирающему стуку копыт лошадей, уносящих ее сына узкой долиною Дарро.

Я стал искать ворота, которыми Боабдил в последний раз выехал из Альгамбры, сдавая свою столицу и царство. То ли одержимый печальной прихотью сокрушенного духа, а может быть, из какого-то суеверного чувства он попросил у католических государей, чтобы сквозь эти ворота больше никто не прошел. Как гласит летопись, сочувственная Изабелла вняла его просьбе, и ворота были замурованы [13 - Есть в Альгамбре ворота, через которые выехал царь мавров Чико, когда сдавался в плен королю Испании Дону Фернандо, и сдал ему город и крепость. И государь этот

испросил в знак милости и Ради столь великой победы, чтобы ворота эти никогда более не открывались. И король Фернандо дал на это свое согласие, и с тех пор ворота не только не открывались, но даже были наглухо замурованы (исп.).].

Какое-то время я безуспешно разузнавал, где эти ворота; наконец мой скромный помощник Матео Химе-нес догадался, что это, наверно, те, которые завалены камнями; а он слышал от своего отца и дяди, что как раз из них царь Чико выехал из крепости. Место это странное, и, сколько помнят старожилы, прохода здесь никогда не было.

Он отвел меня к этому странному месту. Ворота когда-то находились посреди громадного строения под названием Семиярусная Башня (la Torre de los Siete Suelos). Окрест идет молва, что здесь водятся призраки и наложено мавританское заклятье. Согласно путешественнику Суинберну, изначально это были главные ворота. Знатоки Гранады, однако, утверждают, что они вели в ту часть царского обиталища, где размещались телохранители. Таким образом, они прямо вводили во дворец и выводили из него, а большие Врата Правосудия служили парадным входом в крепость. Когда Боабдил отправился этим путем вниз, к Веге, чтобы вручить там городские ключи испанским государям, он выслал своего визиря Абен Комиху ко Вратам Правосудия навстречу отряду христианских войск и должностным лицам, которые принимали крепость во владение.

От бывлой семиярусной громады теперь осталась груда развалин: ее взорвали французы, когда покидали крепость. Каменные глыбы разбросаны кругом среди пышной травы, виноградных лоз и фиговых деревьев. Арка ворот расселась от взрыва, но уцелела; однако последнее желание Боабдила было снова невольнo исполнено: проход доверху засыпало камнями.

Я сел на лошадь и поехал отсюда путем мусульманского государя. По склону горы Лос Мартирес [14 - Мучеников (исп.)], вдоль садовой стены монастыря, носящего то же имя, я спустился в каменистую ложбину, густо поросшую алоем и индийскими смоквами; по краям ее, в лачугах и землянках, ютилась масса цыган. Спуск был так крут, что мне пришлось спешиться и повести лошадь. Эта *via dolorosa* [15 - Дорога печали (исп.)] была избрана скорбным Боабдилом в обход города: отчасти, верно, затем, чтобы горожане не стали зрителями его позора, но главным образом, по всей вероятности, во избежание народных волнений. Поэтому, разумеется, и отряд, посланный занять крепость, поднимался тем же путем.

Выбравшись из этой невзрачной и унылой ложбины и проследовав через Puerta de los Molinos (Мельничные Ворота), я оказался на месте гуляний, именуемом Прадо; дорога вниз по течению Хениля привела меня к маленькой часовне святого Себастьяна, бывшей мечети. По преданию, здесь Боабдил вручил королю Фердинанду ключи Гранады. Я медленно поехал далее – через Вегу, к деревушке, где печального царя ожидали семья и домочадцы, высланные из Альгамбры накануне ночью, чтобы его жене и матери не пришлось разделить его унижения и чтобы уберечь их от взоров завоевателей. Следуя путем скорбной кавалькады царственных изгнанников, я подъехал к цепи угрюмых и голых холмов, образующих предгорья Альпухарры. С вершины одного из них злополучный Боабдил прощальным взглядом окинул Гранаду: он носит выразительное название la Cuesta de las Lagrimas (Слезный Холм). За ним песчаная дорога вьется по безотрадной каменистой пустыне; дорога вдвойне скорбная для безутешного государя, ибо она вела на чужбину.

Я пришпорил лошадь и въехал на вершину скалы, где у Боабдила вырвалось последнее горькое восклицание, когда он отвел глаза от прощального зрелища: скала и поныне называется el Ultimo Suspiro del Moro (Прощальный Вздох Мавра). Удивительно ли это горе изгнанника, лишенного такого царства и такого крова? С Альгамброй он словно терял и честь своего рода, и все радости и утехи жизни.

И стало ему еще горше от укоризны матери, Айши, которая так часто была ему

опорой в грозные дни и тщетно пыталась сообщить сыну толику своей неукротимости. «Стыдись, – сказала она, – ты плачешь, как женщина, над тем, что не сумел защитить, как мужчина». В словах этих слышна царственная горделивость и нет материнской нежности.

Когда епископ Гевара рассказал об этом Карлу V, император тоже выразил презрение к слабости и малодушию Боабдила. «Будь я на его месте, – сказал этот высокомерный властелин, – я бы скорее сделал Альгамбру своей гробницей, чем стал бы жить, утратив царство, в горном захолустье Альпухарры». Как легко с вершин славы и успеха проповедовать героизм побежденным! и как при этом невдомек, что жизнь возрастает в цене для несчастливых, которым не оставлено ничего, кроме жизни!

Медленно спустившись со Слезного Холма, я предоставил лошади брести в Гранаду своим неспешным ходом, а сам тем временем на разные лады обдумывал историю злополучного Боабдила. Взвесив в уме все частности, я пришел к выводу в его пользу. Во время своего недолгого, бурного и бедственного царствования он неизменно сохранял кротость и добродушие. Недаром он полюбился народу своим мягким и дружелюбным обычаем; он был незлобив и никогда не обрушивал жестоких кар на мятежных подданных. Он был храбр, но ему не доставало нравственной твердости: в тяжкие и смутные времена он обнаруживал сомнения и колебания. Это слабодушие ускорило события; из-за него Боабдил лишен того героического ореола, который придал бы судьбе его суровую величавость и сделал бы ее достойным завершением пышной драмы мусульманского владычества в Испании.

Гранадаские празднества

Мой бывший оборванный чичероне, а ныне преданный оруженосец Матео Хименес отличался пристрастием простолюдия к праздникам и торжествам, и, когда он расписывал гражданские и религиозные празднества в Гранаде, красноречию его не было удержу. Перед ежегодным католическим праздником Тела Христова он беспрестанно сновал между Альгамброй и городом, каждый день принося вести о том, какие идут небывалые приготовления, и тщетно пытаясь сманить меня вниз из моей прохладной и просторной обители. Наконец в самый канун торжественного дня я поддался на его уговоры и, покинув царские покои Альгамбры, спустился вместе с ним в город, как некогда искатель приключений Гарун Альрашид со своим великим визирем Джафаром. Хотя солнце только садилось, городские ворота уже запрудила толпа живописных горцев и смуглых крестьян с Беги. Гранада всегда была местом встреч уроженцев обширного горного района, усеянного городками и селеньями. Во времена мавров сюда стекались витязи гор, чтобы принять участие в блестящих и воинственных празднествах на площади Виваррамбла; и ныне, как встарь, съезжается оттуда цвет селений – для участия в пышных церковных церемониях. Кстати, многие горцы из Альпухарры и Сьерра де Ронды, поклоняющиеся кресту как ревностные католики, – явно мавританской крови, несомненные потомки переменчивых подданных Боабдила.

Следом за Матео я продвигался по улицам в предпраздничной сутолоке площади Виваррамбла, излюбленному месту состязаний и турниров, воспетому в мавританских балладах о любви и рыцарских подвигах. Площадь была обнесена галереей, или деревянными аркадами, для завтрашней большой церковной процессии. Сейчас она сверкала огнями вечернего гулянья, и на балконах со всех четырех сторон площади играли музыканты. Весь блеск и краса Гранады были выставлены напоказ: все ее обитатели обоего пола, которые могли похвастать внешностью или нарядами, заполнили галерею, снова и снова обходя Виваррамблу. Здесь были также majos и

majas, деревенские щеголи и щеголихи, изящно сложенные, быстроглазые, в ярких андалузских костюмах – иные родом из самой Ронды, этой горной твердыни, славной своими контрабандистами, тореадорами и красавицами.

Нарядная и разношерстная толпа кружила по галерее, а середину площади занимали окрестные крестьяне; не собираясь красоваться, они приехали попросту от души повеселиться. На площади места свободного не оставалось; семьи и соседи сбивались вместе, словно цыганские таборы: одни внимали заунывному напеву старинных баллад под треньканье гитары, другие шутливо беседовали, третьи танцевали под щелканье кастаньет, Матео шел за мной по пятам, а я пробирался среди этого многолюдства, то и дело минуя какую-нибудь деревенскую компанию, рассеившуюся кружком и весело вкушающую нехитрый ужин. Если я встречался с кем-нибудь глазами, меня почти всякий раз приглашали откусать что бог послал. Это гостеприимство, наследие мусульман-завоевателей, царит здесь повсеместно, и закон его блюдет самый бедный испанец.

С наступлением ночи шум гулянья на аркадах постепенно утих; музыканты перестали играть, и пестрая толпа разбрелась по домам. А посреди площади было по-прежнемулюдно, и Матео заверил меня, что большая часть крестьян, мужчины, женщины и дети, будут ночевать прямо здесь, на голой земле, под открытым небом. И то сказать: в здешнем благословенном климате летней ночью кров не обязателен, а такого излишества, как кровать, многие неприхотливые испанские крестьяне в жизни не знали; в иных оно даже возбуждает презренье. Простой испанец заворачивается в свой бурый плащ, укладывается на мантию-попону и крепко засыпает – роскошествуя сполна, если у него есть к тому же седло под голову. Вскоре все сделалось по слову Матео – крестьяне разлеглись на земле, и к полуночи площадь Виваррамбла напоминала армейский бивуак.

На следующее утро я в сопровождении Матео явился на площадь к восходу солнца. Там и сям еще спали: одни отдыхали от вечернего пляса и веселья, другие, отправившиеся сюда из дальних деревень накануне после работы и прошагавшие ночь напролет, отсыпались перед торжественным днем. Ночные путники – горцы и жители дальних деревень равнины, с женами и детьми, – все подходили и подходили. Все были радостны и приветливы: перекидывались шутками, обменивались любезностями. День разгорался, и веселый гвалт нарастал. Сквозь городские ворота парадом по улице прошли депутации разных деревень, будущие участники большой процессии. Депутации во главе со священниками несли свои кресты и хоругви, статуи Приснодевы и святых заступников, предметы соперничества и сугубой ревности. Это походило на стародавние времена, когда каждый город и деревня высылали своих старейшин, воинов и стяги – для защиты столицы или участия в столичном празднестве.

Наконец все эти людские ручейки слились в едином Шествии, которое медленно обошло Виваррамблу и главные улицы, где из каждого окна и с каждого балкона свисали полотнища. В процессии участвовали все монашеские ордена, гражданские и военные власти, старейшины приходов и деревень: всякая церковь и всякий монастырь красовались своими хоругвями, образами, реликвиями, все выставили на обозрение свои богатства. В центре процессии шел архиепископ под дамасским балдахин, окруженный младшими сановниками и их свитой. Под раскаты музыки множества оркестров продвигалось шествие, оно прорезало бесчисленную и все же безмолвную толпу и направилось к собору.

Я поневоле задумался о смене времени и обычаев, наблюдая, как эта католическая процессия обходила Виваррамблу, древнее мусульманское ристалище. Вопиющую несхожесть усугубляло убранство площади. Вдоль всей деревянной галереи длиной в несколько сот футов, воздвигнутой ради процессии, был натянут холст, на котором некий безвестный, но пылкий художник изобразил, как ему было велено, главные

сцены и подвиги времен Покорения согласно с летописями и песнями. Таким-то образом романтические предания Гранады мешаются с жизнью и постоянно освежаются в народной памяти.

По дороге назад, в Альгамбру, Матео непрестанно восторгался и неумолчно болтал. «Ах, сеньор, – восклицал он, – где еще в мире бывают такие пышные церемонии (*funciones grandes*), как в Гранаде? И ни гроша не нужно тратить, все удовольствия даром! Pero, el Día de la Toma! Ah, señor! El Día de la Toma! (Но День взятия! Ах, сеньор, День взятия!)» Уж прекраснее этого дня Матео и представить не мог. Día de la Toma, как я выяснил, – это годовщина захвата или вступления в Гранаду войска Фердинанда и Изабеллы.

В этот день, если верить Матео, весь город только и делает, что ликует. Большой призывный колокол на дозорной башне Альгамбры (*la Torre de la Vela*) раскатисто звонит с утра до вечера; звон его разносится по всей Веге и отдается в горах, сзывая ближних и дальних крестьян на столичное празднество. «Счастье той девице, – говорит Матео, – которой достанется тогда ударить в колокол: не пройдет и года, как она непременно выйдет замуж!»

Весь день Альгамбра открыта для посетителей. В ее чертогах и покоях, где когда-то властвовали мавританские государи, звучат гитары и кастаньеты, и веселые компании в затейливых андалузских нарядах исполняют свои старинные танцы, унаследованные от мавров.

Пышная процессия, изображающая вступление в город, проходит по главным улицам. Хоругвь Фердинанда и Изабеллы, эту драгоценную реликвию времен Покорения, изымают из хранилища; ее торжественно проносит *Alferez mayor*, то есть главный знаменосец. Походный алтарь, который возили за государями во всех их войнах, переносят в королевскую часовню собора и ставят перед гробницей, на которой высечены из мрамора их изображения. Затем в память Покорения совершается торжественная месса; посреди церемонии *Alferez mayor* надевает шляпу и помахивает хоругвью над гробницей завоевателей.

Более любопытным манером поминают Покорение вечером на театре, разыгрывая народную драму под названием «Аве Мария», в которой представлен знаменитый подвиг Эрнандо дель Пульгара, прозванного Доблестным (*el de las Hazanas*), отважного воина, любимого героя гранадского простонародья. Во время осады молодые мавританские и испанские рыцари щеголяли друг перед другом отчаянными выходками. И вот как-то раз Эрнандо дель Пульгар с приятелями ворвался среди ночи в Гранаду, рукояткой кинжала прибил к воротам главной мечети дощечку с текстом молитвы Приснодеве и беспрепятственно ускакал из города.

Мавританские витязи были в восторге от этого дерзновенного подвига, однако ж надлежало его превзойти. И поэтому на следующий день славный отвагой Тарфе проскакал перед христианскими войсками, волоча дощечку со священным надписаньем «Аве Мария» на хвосте коня. За Приснодеву радостно постоял Гарсиласо де ла Вега, который убил мавра в поединке и поднял на острие копья обретенную дощечку – в знак радости и торжества.

Драма об этом подвиге невероятно популярна среди простонародья. Хотя ее представляют с незапамятных времен, она по-прежнему привлекает толпы, самозабвенно упивающиеся зрелищем. Когда их возлюбленный Пульгар преспокойно расхаживает по мавританской столице, раздражаясь нескончаемыми и напыщенными речами, его поощряют восторженными кликами; а уж когда он прибавляет дощечку к дверям мечети, театр прямо-таки дрожит от громовых рукоплесканий, и, напротив, тем злополучным актерам, которые играют мавров, приходится выносить напор народного возмущения, порою донельзя сходного с поведением ламанчского рыцаря на кукольном представлении Хинеса де Пасамонте: так, когда басурман Тарфе срывает дощечку и

цепляет ее к лошадиному хвосту, зрители в ярости вскакивают и готовы кинуться на сцену и отплатить за оскорбление Приснодевы.

Есть, кстати, и прямой потомок Эрнандо дель Пульгара – маркиз де Салар. Как законный представитель этого шалого героя, в память и вознаграждение его вышеупомянутого подвига, он наследовал право въезжать в храм в иных случаях на лошади, сидеть в хоре и надевать шляпу при вознесении даров, хотя эти права священство постоянно и упорно оспаривает. Я видал его в обществе: он молод, приятной наружности и хорошо воспитан; у него яркие черные глаза с проблеском прародительского огня. Во время празднества Тела Христова некоторые из картин на площади Виваррамбла в пышных красках изображали подвиги их фамильного героя. Седовласый слуга Пульгаров прослезился, увидев их, и поспешил домой обрадовать маркиза. Восторг и ликование престарелого домочадца вызвали у его молодого хозяина легкую усмешку; тогда тот, повернувшись к брату маркиза, со свободой в обращении с господами, какую позволяют себе в Испании старые слуги, воскликнул: «Пойдите, сеньор, вы рассудительнее брата, пойдите и взгляните на своего предка во всем блеске и славе его!»

В подражание великому гранадскому Дню взятия почти во всякой деревне и городке празднуют собственную годовщину, отмечая, по-деревенски пышно и незатейливо, избавление от мавританского ига. По такому случаю, говорит Матео, на свет божий являются старинные доспехи и оружие: тяжкие двуручные мечи, увесистые аркебузы с фитильными замками и другое воинское снаряжение, сберегавшееся из рода в род со времен покорения Гранады; и благо тем, которые сберегли какое-нибудь старое оружие, положим, пушку-ломбарду вроде той, из какой стреляли завоеватели; она день-деньской бухает где-нибудь в горах, хватило бы только пороху.

На протяжении дня разыгрывается воинственное действо. Одни прохаживаются по улицам в древних доспехах, как заступники веры, другие одеваются мавританскими витязями. Посреди площади ставят шатер, внутри которого – алтарь с изображением богоматери. Христианские воины приближаются, дабы поклониться алтарю; басурманы окружают шатер, дабы им помешать: происходит шуточная битва, в которой бойцы порою забывают, что дело не всерьез, и норовят обменяться хоть несмертельными, но сокрушительными ударами. Впрочем, в битве этой добро неизменно побеждает. Мавров одолевают и забирают в плен. Торжественно воздевают вырученный из неволи образ Приснодевы, устраивается шествие, и победители выступают под приветственные клики, а пленников ведут в цепях, на радость и в поучение зрителям.

Куда как недешево обходятся эти празднества городишкам и деревушкам: иной раз их приходится и отменять за недостатком средств; но в лучшие времена или хотя бы поднакопив денег, их возобновляют с новым рвением и прежней расточительностью.

Матео сообщил мне, что не однажды бывал участником этих торжеств и сражался в подобных битвах, но всегда на стороне истинной веры; *porque Senor*, прибавил этот оборванный потомок кардинала Хименеса, не без заносчивости ударив себя в грудь, *porque Senor, soy Cristiano viejo* [16 - Ибо, сеньор, я исконный христианин (исп.)].

Здесьние предания

У испанских простолюдинов – восточное пристрастие к небылицам и особый вкус ко всему чудесному: чудеса у них в большом почете. Летними вечерами они собираются у дверей своих лачуг, а зимой – в просторных, как пещеры, очажных углах харчевен и ненасытным ухом внимают удивительным рассказам о жизни святых, об опасных приключениях странников и дерзких проделках разбойников и контрабандистов.

Особность и дикость края, затрудненное распространение познаний, нехватка общих тем для разговора и романтическая, полная риска жизнь, которую всякий ведет в стране, где путешествуют первобытным способом, – все это питает любовь к изустным преданиям и наделяет их причудливостью и невероятностью. Самые частые и самые излюбленные – легенды о мавританских кладах; их рассказывают повсеместно. На пути через дикие сьерры, по местам давних набегов и стычек, стоит лишь завидеть мавританскую аталаю, дозорную башню, торчащую среди скал или нависшую над деревушкой на каменном взлобье, и обратиться с вопросом к погонщику – он вынет изо рта сигарилью и поведаст вам историю о мусульманском золоте, зарытом под башенным основанием: ни одна разрушенная городская крепость – алькасар не обделена золотым ореолом, и таковые предания из рода в род хранят окрестные бедняки.

Как большинство народных вымыслов, этот тоже явился не на пустом месте. В здешних краях много веков бушевали войны между маврами и христианами; города и замки переходили из рук в руки, и во времена осад и нашествий обитатели обыкновенно зарывали свои деньги и драгоценности в землю или прятали их в погребах и колодцах, как и поныне делается в деспотических и воинственных государствах Востока.

Когда изгоняли мавров, многие из них схоронили самое дорогое в надежде, что изгнание их временное, что однажды они вернутся и отроют свои сокровища. И, конечно, время от времени открывались через столетия клады золотых и серебряных монет – среди руин мавританских крепостей и жилищ; а много ли надо, чтобы породить тьму рассказней такого рода?

В подобных историях обычно есть восточный оттенок, некое смешение арабского с готским, которое, по-моему, отличает все, что ни есть в Испании, особенно в ее южных областях. Зарытое сокровище всегда под заклатьем – и добывается посредством волшебства и талисмана. Иногда его стерегут глупые чудовища или огнедышащие драконы, иногда зачарованные мавры, в доспехах, с обнаженными мечами, недвижимые, подобно изваяньям, сидящие в бессонном бдении век за веком. Конечно, Альгамбра с ее историей – сущий рассадник таких народных вымыслов: то и дело что-нибудь выкапывают, а уж это их подтверждает как нельзя лучше. Однажды нашли глиняный сосуд с мавританскими монетами и скелетом петуха, который, по мнению некоторых опытных зевак, был схоронен заживо. В другой раз вырыли посудину с большим жуком-скарабеем из обожженной глины, покрытым арабскими письменами: его, конечно, сочли необычайным амулетом таинственного свойства. Таким вот образом пестрое и обтрепанное население Альгамбры и стало выдумывать, пока все чертоги, башни и подвалы старой крепости не облеклись какой-нибудь причудливой легендой. Я полагаю, что мой читатель как-то уже освоился в Альгамбре, и теперь спокойно пущусь в пересказ удивительных преданий, связанных с этим местом, которые я прилежно скроил из лохмотьев и лоскутьев, подобранных мимоходом, – подобно тому как антикварий восстанавливает подлинный исторический документ по неверным и полустертым письмам. Если что-нибудь в этих легендах оскорбит доверие читателя чересчур придирчивого, пусть он подумает, о каком странном месте идет речь, и простит мне некоторые излишества. Не должно ему ожидать, что все будет правдоподобно, как в обычной жизни; надо помнить, что ты блуждаешь по залам волшебного дворца и что всякое место здесь – заколдованное.

Замок с флюгером

На возвышенном уступе Альбайсина, самой высокой горы в Гранаде, на склоне ее, обращенном в узкую долину Дарро, прямо напротив Альгамбры находятся руины бывшего царского дворца. Все о них позабыли, и мудрено было отыскать их даже при помощи понятливого и всеведущего Матео Хименеса. Строение это носит имя «Замок с флюгером» (La casa del gallo del viento) оттого, что одну из его башен в давние времена венчала бронзовая фигура всадника, чуткая к малейшему ветерку. Этот флюгер гранадские мусульмане считали могучим талисманом. Говорят, что на нем было начертано по-арабски:

Cabet el Bedici Aben Habuz
Quidat ehahet Lindabuz.

Вот это двестише по-испански:

Dice el sabio Aben Habuz,
Que así se defiende el Andaluz.

И в переводе:

Мудрец Абен Габуз промолвил: Вот
Тот, кто нам Андалузию спасет.

Согласно древним мавританским летописям, этот Абен Габуз был военачальником у Тарика, одного из завоевателей Испании, который сделал его наместником Гранады. Предполагают, что изображение всадника должно было постоянно напоминать андалузским мусульманам о том, что они окружены врагами и что надежнейшая их охрана – всегдашняя бдительность и готовность к бою.

Другие, и среди них христианский историк Марк-моль, утверждают, что «Бадис Абен Габуз» был эмиром гранадским и что флюгер служил постоянным напоминанием о непрочности мусульманского владычества, а написано на нем было по-арабски:

«Ибн Габуз аль Бадиси предрекает, что однажды Андалузия будет повергнута в прах и канет в вечность».

Другую версию этой зловещей надписи дает мусульманский историк, ссылаясь на авторитет Сиди Гассана, знаменитого факира времен Фердинанда и Изабеллы, который присутствовал, когда флюгер снимали во время ремонта старой Кассабы.

«Я видел его, – говорит почтенный факир, – своими глазами: он был о семи углах и надписан стихами:

«Дворец в прекрасной Гранаде увенчан талисманом».

«Литой из одного куска всадник отзывается на любое дуновение».

«Что тайно, открыто мудрому. Вскорости нагрянет бедствие и повергнет дворец и его владыку».

И в самом деле, вскоре после снятия зловещего флюгера случилось нижеописанное. Старый Мулей Абуль Гассан, властелин гранадский, восседал в роскошной беседке, а перед ним парадом проходило закованное в ясную сталь и овеванное шелковыми плащами войско на быстрых скакунах, с мечами, копьями и щитами в золотых и серебряных насечках – и вдруг с юго-запада нагрянул ураган. Черные облака собрались в небе и обрушили на землю яростный ливень. Потоки низверглись с гор, с камнями и бревнами; Дарро вышла из берегов; мельницы снесло, мосты обрушило, сады опустошило; наводнение захватило город, подточило дома, затопило обитателей и захлестнуло даже Площадь Большой Мечети. Народ в ужасе кинулся к мечети молить Аллаха о милости, увидев в сем возмущении предвестие всеобщих бедствий; и правда,

согласно арабскому историку Аль Маккари, это было скорбное предсказание жестокой войны, которой закончилось мавританское царство в Гранаде.

Я сослался на эти летописные авторитеты, дабы засвидетельствовать удивительные загадки, связанные с Флюгерным Замком и его всадником-талисманом.

А теперь расскажу об Абен Габузе и его дворце еще более удивительное; если же возникнут сомнения, пусть читатель разрешит их с Матео Хименесом и ему подобными историографами Альгамбры.

Легенда об арабском звездочете

В давние времена, много сотен лет назад, в Гранаде правил мавританский царь по имени Абен Габуз. Он был, так сказать, воитель на покое: смолodu он только и делал, что разорял и грабил соседей, а состарившись и одряхлев, «возжаждал отдохновенья» и решил зажить со всеми в мире, почивать на лаврах и безмятежно услаждать душу награбленным добром.

Однако ж у этого благоразумнейшего и миролюбивейшего престарелого самодержца, откуда ни возмись, появились юные соперники, желавшие в свой черед стяжать бранную славу и расквитаться по отцовским счетам. Да и некоторые дальние области его собственных владений, утесненные и усмирненные в дни его молодости, норовили теперь, когда он жаждал лишь отдохновенья, поднять мятеж и чуть ли не осадить столицу. Враги наседали отовсюду, приступая под укрытием скалистых крутогорий, окружающих Гранаду, и несчастный Абен Габуз вечно был в тревоге и смятенъе, ибо не ведал даже, с какой стороны нагрянет неприятель.

Тщетно строил он в горах дозорные башни, тщетно преграждал заставами все перевалы с наказом при виде врага немедля подавать о том знак: ночью – огнем, а днем – дымом. Проворные супостаты все время обводили его вокруг пальца: они вдруг выбирались из какой-нибудь тайной теснины, учиняли грабеж под самым его носом и преспокойно скрывались в горах с пленниками и добычею. Слыхано ли, чтоб воителя-миролюбца на покое постигло такое злополучие?

Тем временем ко двору вконец растерянного и расстроенного Абен Габуза явился некий арабский старец-знахарь. Седая борода достигала ему до пояса, и был он самого древнего вида, однако пришел из Египта пешком, подпираясь посохом, покрытым письменами. Молва опережала путника. Имя его было Ибрагим ибн Абу Аюб; говорили, что он родился еще во дни Магомета и что отец его – тот самый Абу Аюб, последний сподвижник пророка. В Египет он попал ребенком, при победном войске Амру, и несчетное множество лет научался чернокнижию и паче всего чародейству у сведущих в нем египетских жрецов. Говорили еще, что он открыл способ продлевать жизнь, и недаром ему уже больше двухсот лет; но открылось ему это лишь в старости, оттого-то он сед и морщинист.

Царь с почетом принял этого удивительного старца: как почти всякий престарелый владыка, он стал очень милостив к лекарям. Он бы и поселил его у себя во дворце, но звездочету более по душе оказалась пещера над Гранадой, в той самой горе, на которой потом воздвиглась Альгамбра. Он велел расширить пещеру, превратив ее в просторный и высокий чертог с круглым отверстием в своде, так что оттуда, словно из колодца, даже средь бела дня видны были звезды небесные. Стены чертога украсили египетские письмена, колдовские изображения и знаки Зодиака. И много там было разных устройств, которые смастерили по указке звездочета грана́дские искусники, но что это были за устройства, ведал лишь он сам.

Немного времени спустя премудрый Ибрагим стал царским наперсником: что ни случись, к нему прибегали за советом. Однажды Абен Габуз сетовал на обиды от

соседей и сокрушался о том неусыпном бдении, которое надобно было, чтоб уберечься от их набегов; и, когда он иссяк, звездочет несколько помолчал и отвечивал:

– Узнай, о царь, что в Египте видел я некое диво, Древнее изображение, созданное одной языческой жрицей. Есть город Борса, а над ним гора, и с той горы открывается долина великого Нила, а на горе стоит баран, на нем петух, скрепленные осью. И как стране грозит вторжение, так баран обращается мордой к неприятелю, а петух кричит; и жители города узнают об угрозе, и откуда она, и успевают от нее оборониться.

– Велик Аллах! – возгласил миролюбец Абен Габуз, – о, сколь нужен мне такой баран, который надзирал бы за окрестными горами! и такой петух, который упреждал бы о нашествии! Аллах акбар! Как мирно я спал бы во дворце с такими часовыми на крыше!

Звездочет подождал, пока восторги царя утихнут, и продолжал:

– Когда победоносный Амру (упокой его Аллах!) завоевал Египет, я остался жить среди жрецов этой страны, вникая в обряды и церемонии их идолопоклонничества и стараясь овладеть тайнами их прославленного ведовства. Однажды я сидел на берегу Нила и беседовал со старым жрецом; он указал мне на мощные пирамиды, подобные горам в пустыне. «Вся наша наука, – сказал он, – ничего не стоит в сравнение с тем знанием, которое хранят вон те могучие строения. В середине главной пирамиды есть склеп, где покоится мумия верховного жреца, помощника в сем великом строительстве; и с ним погребена волшебная книга знаний, хранилище тайн волшебства и искусства. Эта книга вручена была Адаму после грехопадения, из рук в руки передавали ее, и она дошла до мудрейшего царя Соломона, который не без ее помощи построил иерусалимский храм. А как она попала к строителю пирамид, известно лишь Тому, для Кого нет никаких тайн».

Услышал я слова египетского жреца, и сердце мое разгорелось жаждой добыть эту книгу. Мне подчинены были многие из наших солдат и немало египтян; я повелел начать работы и пробился сквозь строенье пирамиды, до самого склепа, где много веков пролежала мумия верховного жреца. Я разломал саркофаг, размотал бесчисленные повязки и обмотки и наконец добрался до бесценного фолианта, схороненного на груди мертвеца. Дрожащей рукою я схватил книгу и кое-как выбрался из пирамиды, оставив мумию в черном и безмолвном склепе ждать воскресения и Страшного суда.

– Сын Абу Аюба! – воскликнул Абен Габуз, – ты великий путешественник и повидал много чудес; но какое мне дело до пирамид и до книги тайн мудрого Соломона?

– Есть тебе дело, о царь! Я изучил эту книгу, всякое волшебство мне подвластно, и джинны под рукой у меня. Таинство талисмана Борсы мне ведомо, и я могу сотворить подобное и куда больше.

– О мудрый сын Абу Аюба, – возрадовался Абен Габуз, – таковое волшебное средство вернее дозорных башен в горах и пограничных застав. Сделай мне такого стража, а за расходами я не постою, черпай из моей казны сколько потребно.

Звездочет тут же принялся за работу, дабы удовлетворить государя. Он повелел воздвигнуть башню превыше всех башен царского дворца на уступе Альбайсина. Ее составили камни, привезенные из Египта, по слухам взятые от пирамиды. Вверху башни был круглый зал с окнами на все стороны света и у каждого окна столик, подобный шахматному, с кукольной ратью, конной и пешей, во главе с владыкою той стороны, и все деревянной резьбы. У каждого столика лежало небольшое копье вроде шила, и на нем были начертаны халдейские письмена. В зал этот вели медные двери с большим стальным замком, ключ от которого хранился у царя.

Башню венчал шпиль, а на нем бронзовое изваяние: всадник-мавр со щитом на одной руке и копьем в другой, острием кверху. Лицом всадник был обращен к городу и как бы надзирал за ним; но если откуда-нибудь грозил враг, всадник обращался в ту

сторону с копьем наперевес.

Когда закончилось сооружение этого волшебного устройства, Абен Габуз сгорал от нетерпения его испытывать и мечтал теперь о вторжении так же пламенно, как раньше жаждал отдохновения. Скоро случилось по желанию его. Рано утром донес ему часовой, поставленный следить за башней, что бронзовый всадник обратился лицом к горам Эльвиры и копье его направлено прямо на перевал Лопе.

– Бить в барабаны, трубить в трубы и всю Гранаду призвать к оружию, – обрадовался Абен Габуз.

– О царь, – молвил звездочет, – да пребудет город твой в покое, и не тревожь своих воинов; ты разделаешься с врагом без их помощи. Отпусти слуг своих, и взойдем на башню, в тайный чертог.

Престарелый Абен Габуз кое-как осилил башенную лестницу, опираясь на плечо куда более старшего годами Ибрагима ибн Абу Аюба. Они отперли медные двери и вошли в чертог. Окно в сторону перевала Лопе было растворено.

– Оттуда, – сказал звездочет, – надвигается опасность; приблизься, о царь, и узришь таинство.

Царь Абен Габуз приблизился к столику вроде шахматного, на котором были расставлены деревянные фигурки, и, к изумлению своему, увидел, что все они движутся. Кони дыбились и гарцевали, воины бряцали оружием, и доносился слабый рокот барабанов и труб, брэнчала сбруя и ржали скакуны; но все это было не громче и не внятнее, нежели жужжание пчелы или летней мухи, тревожащей дремотный слух лентяя, прикорнувшего в полуденной тени.

– Ты зришь, о царь, – сказал звездочет, – живое свидетельство того, что неприятель твой ополчился на тебя. Верно, они уже в горах, идут перевалом Лопе. Хочешь посеять среди них страх и смятение, дабы они отступили без кровопролития, – рази их тупым концом волшебного копья, а ежели нужны раздоры и убийства – бей острием.

Лицо Абен Габуза потемнело; он жадно схватил копье дрожащими пальцами и, тряся седую бородой, просеменил к столику.

– О сын Абу Аюба, – возгласил он, подхихикнув, – прольем-ка, пожалуй, немного крови!

И, сказав так, он поразил волшебным копьем нескольких куколок, а других ударил древком. Те грянулись замертво, а эти обратились друг на друга и начали свалку и побоище.

Не без труда звездочет удержал руку миролюбивейшего государя, не дав ему истребить недругов всех до единого; и уговорил его покинуть башню и выслать лазутчиков к перевалу Лопе.

Те вернулись с известием, что христианское войско углубилось в сьерру и было уже почти в виду Гранады; но среди них вдруг вспыхнули раздоры, началась братоубийственная резня, и они отступили назад.

Абен Габуз возликовал, узнав, сколь надежен его талисман.

– Наконец-то, – сказал он, – я буду жить в покое и разделаюсь со всеми врагами. О мудрый сын Абу Аюба, как мне за это тебя возблагодарить?

– У старца и философа, о царь, желаний немного, и они просты: помоги мне лишь благоустроить мою отшельническую келью, и этого хватит.

– О, сколь возвышенна таковая воистину мудрая неприхотливость! – воскликнул Абен Габуз, втайне довольный, что ему это так дешево обошлось. Он призвал казначея и повелел ему не жалеть денег для Ибрагима на благоустройство кельи.

Звездочет приказал вырубить в скале другие покои напридачу к его звездному чертогу, расставить там мягкие диваны, а стены завесить несравненными шелками Дамаска.

– Я старик, – сказал он, – я уже не могу более возлежать на камне, да и эти сырые

стены надобно занавесить.

Вдобавок были выстроены купальни, снабженные всяческими ароматами и душистыми маслами.

– Ибо купание, – сказал он, – противодействует старческой окостенелости и возвращает свежесть и гибкость телу, иссушенному науками.

По его покоем развесили бесчисленные светильники, серебряные и хрустальные, заправленные благовонным маслом, которое изготовлялось по древнеегипетскому рецепту, добытому в гробницах. Оно горело негасимым огнем и разливало мягкое сияние, как бы неяркий дневной свет.

– Солнце, – сказал он, – режет и утомляет мои старые глаза, да и философские занятия требуют скорее лампадного света.

Казначей Абен Габуз охал от ежедневных и непомерных расходов на отшельническое убранство и приходил жаловаться к царю. Но царское слово было дано, и Абен Габуз только плечами пожимал.

– Потерпим, – говорил он. – Старик измыслил себе философский приют, наглядевшись на египетские пирамиды и развалины, но всему на свете приходит конец, будет покончено и с его пещерой.

Царь был прав: работы наконец завершились, и в недрах горы возник роскошный дворец. Звездочет изъявил полное довольство и, запершись, предавался ученым трудам целых трое суток. После этого он снова пожаловал к казначею.

– Нужно еще кое-что, – сказал он. – Суший пустяк, но без него не обойтись для отдыха от умственных усилий.

– О мудрый Ибрагим, мне велено не отказывать Тебе ни в чем, что может скрасить твое уединение; чего ты еще хочешь?

– Мне нужны плясуны.

– Плясуны! – эхом отозвался изумленный казначей.

– Плясуны, – важно подтвердил мудрец, – помоложе и покрасивее, ибо зрелище юности и красоты освежает. Несколько плясуний, много не надо: я ведь философ, вкусы у меня простые, угодить мне легко.

Пока философ Ибрагим ибн Абу Аюб столь разумно коротал время в своем уединенье, миролюбец Абен Габуз разыгрывал у себя в башне яростные кукольные сражения. Для старца, как он, не слишком подвижного, это было просто замечательно: такое удобство – воевать в четырех стенах и сметать целые армии, как мушиные рои!

Первое время развлечений у него было вдоволь, и он еще всячески поддевал и оскорблял соседей, чтобы те напали лишний раз. Но неудача за неудачей постепенно образумили их, и вот уже никто не смел больше вторгаться в его владения. Много месяцев бронзовый всадник пребывал в мирной позиции, с копьем сверху; и престарелый государь, соскучившись без любимой забавы, брюзжал и сетовал на однообразное затишье.

Наконец однажды волшебный всадник вдруг повернулся и бросил копье наперевес, указав острием прямехонько на кряж Кадикс. Абен Габуз поспешил в башню, но столик у нужного окна пребывал в покое: ни один воин не шевелился. Озадаченный царь выслал в горы конный разъезд. Он вернулся через три дня.

– Мы изъездили все горные тропы, – доложили разведчики, – но не видели ни шлема, ни копья. Попалась нам только девица-христианка дивной красоты: она спала среди бела дня у родника, и мы захватили ее в плен.

– Девица дивной красоты! – воскликнул Абен Габуз, и глаза его загорелись. – Так приведите же ее ко мне немедленно!

И прекрасную девицу немедленно привели к нему. Одета она была со всею той роскошью, какой отличалось платье готской знати во времена нашествия арабов. Ее иссиня-черные пряди были перевиты жемчужными нитями ярчайшей белизны; на челе

ее сияли камни, под стать сияющему взору. Через плечо на золотой цепочке висела серебряная лира.

Искристый блеск ее темных глаз словно огнем осыпал иссохшее, но тем более пылкое сердце Абен Габуза; от прелести ее плавной поступи у него помутилось в глазах.

– Красавица из красавиц, – в восторге воскликнул он, – кто ты и откуда?

– Я дочь готского короля, еще недавно правившего в здешних краях. Войско отца моего, точно по волшебству, рассеялось в этих горах; он стал изгнанником, а дочь его – пленницей.

– Берегись, о царь, – прошептал Ибрагим ибн Абу Аюб, – это, может статься, одна из тех северных чаровниц, о которых я слышал и которые принимают самый пленительный облик на горе неосмотрительным. Глаза у нее колдовские, и я чувствую чародейство в каждом ее движении. Она и есть тот неприятель, на которого указал талисман.

– Сын Абу Аюба, – отвечал царь, – я знаю, ты мудрец, а может, и волшебник, но в женщинах ты не много смыслишь. Зато со мною тут вряд ли сравнится даже сам премудрый Соломон, хоть его женам и наложницам и не было счету. В этой девице я дурного не вижу, а красота ее отрадна для моего взора.

– Послушай, о царь! – промолвил звездочет. – С помощью моего талисмана ты одержал много побед, но я никогда не просил у тебя доли в добыче. Подари же мне теперь эту случайную пленницу, пусть она тешит меня в моем уединении игрой на серебряной лире. А если она и вправду колдунья, то я сумею противостоять ее чарам.

– Как! Опять тебе женщин! – воскликнул Абен Габуз. – У тебя ведь есть уже плясуньи, разве их тебе мало?

– Плясуньи у меня есть, это правда, но певиц нету. А мне, изнуренному трудами, порою очень хочется послушать пение, дабы отдохнуть ум.

– Будет с тебя, отшельника, услад, – сказал царь, потеряв терпение. – Эту девицу я возьму себе. Она мне утешна, подобно тому как Давиду, отцу премудрого Соломона, была утешна сунамитка Абишаг.

Звездочет продолжал уговоры и увещания, но монарх отвечал еще высокомернее, и они расстались весьма неприязненно. Мудрец удалился в свое подземелье поразмыслить над полученным отказом и на прощанье еще раз призвал царя остерегаться опасной пленницы.

Но какой влюбленный старик послушает доброго совета? Абен Габуз целиком покорился своей страсти. Он думал теперь только о том, как угодить готской красавице. Он, конечно, был уже не молод, но зато богат, а старые любовники обычно не скупятся. На гранадском базаре закупались самые изысканные товары Востока: шелка, драгоценности, камни, благовония, все азиатские и африканские богатства и диковины слагались к ногам принцессы. Для развлечения ее устраивались всевозможные зрелища и празднества; песенные состязания, пляски, ристания, бои быков – Гранада веселилась без передышки. А готская царица ничему не дивилась: она явно была привычна к великолепию. Она принимала все это как подобающее ее высокородству, а вернее, ее красоте, ибо красота еще взыскательнее, чем знатность. Мало того, втайне она как будто радовалась, что побуждает царя расточать свою казну, и словно не замечала его безграничной щедрости. Все его старания, все траты пропадали впустую, и влюбленный старец даже не мог льстить себя надеждой, что хоть как-то затронул ее сердце. Она, правда, никогда не хмурилась, но зато и не улыбалась. Как только он приставал к ней со страстными мольбами, она касалась лирных струн, и в звуке их было неведомое очарование. Царь тут же начинал клевать носом; дремота одолевала его, и он постепенно погружался в глубокий сон, который его удивительно бодрит, но заодно совершенно расхолаживает. Это, конечно, было очень досадно; впрочем, дрему его, не жили приятные сновиденья, утешительные для его сонных

чувств; и так он утопал в грезах, а вся Гранада глумилась над его любострастием и вздыхала о сокровищах, идущих в уплату за пение.

Наконец на голову Абен Габуза обрушилась беда, против которой был бессилен его талисман. В самой столице поднялся мятеж, и вооруженная толпа подступила к стенам дворца, покушаясь убить царя вместе с его христианкой-наложницей. В груди монарха разгорелась искра былой бранной отваги. Он сделал вылазку с горсткой стражи, обратил мятежников в бегство и истребил смуту в зародыше.

Когда все улеглось, он затребовал из-под земли звездочета, который по-прежнему сидел взаперти и смаковал горечь обиды.

Абен Габуз обратился к нему заискивающе.

– О мудрый сын Абу Аюба, – сказал он, – ты верно предрек мне беды из-за этой прекрасной пленницы, но ведь ты умеешь не только возвещать невзгоды: скажи мне, как их отвести?

– Откажись от этой неверной: она всему виною.

– Скорее я откажусь от своего царства, – воскликнул Абен Габуз.

– Ты утратишь его и потеряешь ее, – отвечал звездочет.

– Не говори так жестоко и гневно, о проницательнейший из философов; посуди сам, сколь я вдвойне несчастен, как государь и как влюбленный, и измысли какой-нибудь способ уберечься от нависших бедствий. Мне не нужна слава, не нужна власть, я жажду лишь отдохновенья; о, как обрести мне тихую пристань, укрыться от мирских сует, забот и мишур и посвятить остаток дней безмятежной любви!

Звездочет пристально поглядел на него из-под косматых бровей.

– И чем же ты одаришь меня в награду за такую пристань?

– Сам назови себе какую хочешь награду, и, если только мне это подвластно, душой своей клянусь, ты получишь ее!

– Ты слышал, о царь, об иремских садах, одном из чудес блаженной Аравии?

– Слышал я об этих садах: о них сказано и в Коране, в главе «Утренняя заря». Помню также, рассказывали о них чудеса паломники, воротясь из Мекки, но я счел все это пустыми выдумками, на какие горазды странники, побывавшие в дальних краях.

– Не порочь, о царь, рассказы странников, – строго возразил звездочет, – ибо они содержат крохи знания, донесенные с концов земли. А про дворец и сады иремские обычно рассказывают правду: я видел их своими глазами; послушай, как это было, ибо это имеет касательство к твоей просьбе.

Будучи отроком и простым бедуином, я перегонял отцовских верблюдов. На пути через аденскую пустыню один из них отбил от стада и затерялся. Я без толку проискал его несколько дней и, наконец, утомившись и обессилев, прилег среди дня под пальмой возле почти пересохшего родника. Проснувшись, я увидел, что лежу у городских ворот. Я вошел в них и узрел прекрасные улицы, площади, рынки – безмолвные и безлюдные. Затем я набрел на роскошный дворец, где били фонтаны и плескались пруды, волновались рощи, цветники и фруктовые деревья, отягощенные плодами; но кругом не было ни души. Устрашенный этим безлюдьем, я поспешил прочь и, выйдя из городских ворот, обернулся, но не увидел ничего – лишь молчаливую пустыню.

Неподалеку я встретился со старым дервишем знатоком местных преданий и тайн, и поведал ему, что со мною случилось.

– Это, – сказал он, – прославленный сад иремский, одно из чудес пустыни. По временам он является страннику вроде тебя, радуя взор его зрелищем башен, дворцов и садовых стен, увешанных тяжкими плодами, а затем пропадает, и видна только выжженная пустыня. А случилось так. В старые времена, когда жили здесь аддиты, царь Шедад, сын Ада, праправнук Ноя, основал изумительный город. И когда его достроили и узрел он его великолепие, то возгордился в сердце и душе своей и вздумал

построить царский дворец и насадить сады прекраснее тех, какие, согласно Корану, цветут в Эдеме. И за гордыню обрушился на него гнев небесный. Он с подданными был сметен с лица земли, а на пышный город, дворец и сады было наложено заклятье, сокрывшее их от взоров; иногда лишь они делаются видны, в вечное назидание потомству.

Этот рассказ, о царь, и чудеса, виденные мною, не выходили у меня из головы; и в иные года, когда я был уж в Египте и овладел сокровенною книгой Соломона премудрого, решил я воротиться и снова побывать в садах иремских. Так я и сделал, и открылись они моему посвященному взору. Я поселился в дворце Шеддада и провел несколько дней в этом подобии рая. Джинны – хранители места сего были покорны моему волшебству и открыли мне чары, властью которых как бы возникают и исчезают сады. Такой дворец и такие сады, о царь, я могу содействовать для тебя даже и здесь, на горе над городом. Разве неведомы мне все тайные чары? Разве не я обладатель книги тайн Соломона премудрого?

– О мудрый сын Абу Аюба! – воскликнул Абен Габуз, дрожа от нетерпенья. – Подлинно ты великий путешественник, подлинно повидал и изведаль много чудесного! Сотвори мне такой рай и требуй любой награды, хоть полцарства!

– Увы! – ответствовал звездочет, – ты ведь знаешь, годы мои древние, и я философ, мне много не надо: пусть будет моею первая выючная скотина с поклажей, которая зайдет в волшебные врата дворца.

Царь охотно согласился исполнить столь скромное условие, и звездочет принялся за работу. На вершине горы, прямо над своим подземным обиталищем, он приказал возвести громадную башню с проходом-барбаканом посередине.

Наружный вход перемыкала высокая арка; внутри был портал с тяжелыми воротами. На замковом камне портала звездочет собственной рукой высек огромный ключ, а на замке возвышенного свода наружной перемычки – исполинскую руку. Это были могущественные талисманы, и он многожды заклинал их на неведомом языке.

Когда проход достроили, он провел два дня в своем звездном чертоге за тайной ворожбой; на третий вззошел на гору и весь день пробыл на вершине. В поздний час он спустился и предстал перед Абен Габузом.

– Итак, о царь, – сказал он, – труд мой закончен. На вершине горы воздвигнут дворец из самых прекрасных, какие когда-либо замыслил или пожелал человек. Пышные чертоги и галереи, роскошные сады, прохладные фонтаны, благоуханные купальни – словом, гора стала раем земным. И, подобно садам иремским, ее охраняют могучие чары, скрывающие от взоров и посягновений смертных, кроме тех, кто владеет тайною заклятий.

– Довольно! – в радости воскликнул Абен Габуз, – завтра на рассвете мы поедем наверх и примем его во владение.

Счастливым царь в ту ночь почти не спал. Едва первые солнечные лучи сверкнули на снежных вершинах Сьерры-Невады, как он взнуздая скакуна и с малой свитой верных пустился в путь узкой и крутой горною дорогой. Рядом с ним на белом коне ехала готская царевна, сияя драгоценным нарядом, с серебряною лирой у пояса. По другую руку царя шел звездочет со своим колдовским посохом: он не признавал верховой езды.

Абен Габуз ждал, что в высоте вот-вот заблещут башни дворца, а по склонам покажутся висячие сады, но пока не видно было ничего похожего.

– Такова тайна, окутывающая дворец, – заметил звездочет, – его не увидеть, пока не пройдешь зачарованные врата и не будешь посвящен во владение.

У двойного портала звездочет остановился и указал царю на волшебную руку и ключ, высеченные на замковых камнях

– Это, – сказал он, – талисманы, оберегающие райские врата. Доколе вон та рука не протянется под свод за ключом, ни людская сила, ни чародейство не одолеют владыку

этой горы.

Пока Абен Габуз, разинув рот, в молчаливом изумлении созерцал таинственные талисманы, конь пронес царевну в портал и остановился посреди прохода.

– А вот и обещанная награда, – воскликнул звездочет, – первое животное с ношей, которое вступит в волшебные врата.

Абен Габуз усмехнулся этой стариковской шуточке; но когда он понял, что тот ничуть не шутит, его седая борода гневно затряслась.

– Сын Абу Аюба, – сурово сказал он, – что это за уловки? Ты отлично знаешь, что я обещал: первую выючную скотину с поклажей, которая зайдет в этот портал. Выбери самого сильного мула из моей конюшни, нагрузи его драгоценнейшими сокровищами моей казны, и он твой; но в мыслях своих не дерзай посягать на усладу моего сердца.

– К чему мне твои богатства? – свысока спросил звездочет. – Я– ли не владелец сокровенной книги премудрого Соломона, а с нею и всех несчетных сокровищ земных? Царевна моя по уговору, по царскому слову, и я отныне объявляю ее своей.

Царевна надменно глядела с коня, и улыбка презренья тронула ее алые губы при виде двух седобородых старцев, сцепившихся из-за юной красавицы. Царский гнев одержал верх над благородием.

– Отродье пустыни, – прогремел он, – хоть ты и искусный чародей, но помни, кто твой владыка, и не вздорь со своим государем!

– Мой владыка! Мой государь! – отозвался звездочет. – Хозяин кротовой кочки притязает повелевать

властелином Соломоновой премудрости! Прощай, Абен Габуз: царствуй в своем закутке, тешься над своим дурачьем, а я, философ и отшельник, буду смеяться над тобою!

С этими словами он схватил под уздцы белого коня, ударил оземь посохом и тут же, посреди прохода, вместе с царевной провалился сквозь землю. Земля наглухо сомкнулась над ними.

Абен Габуз онемел от изумления. Опомнившись, он согнал тысячу землекопов с кирками и лопатами и приказал рыть в том месте, где скрылся звездочет. Они рыли и рыли, но понапрасну: камень не уступал их орудиям, и вдобавок всякое углубление тут же засыпало щебнем. Абен Габуз послал людей к пещере у подножия горы, ко входу в подземный дворец звездочета, но входа не оказалось. На месте его была сплошная стена первозданного камня. С исчезновением Ибрагима ибн Абу Аюба не стало пользы и от его талисманов. Бронзовый всадник застыл, обратясь к горе и указуя копьём на то место, где пропал звездочет, словно там и поныне таился злейший враг Абен Габуза.

Время от времени изнутри горы слышались музыка и женское пение; и как-то один крестьянин донес царю, что прошлой ночью он нашел расселину в скалах, пробрался вглубь и наконец увидел подземный чертог и звездочета на роскошном диване: он послушно дремал под колдовские звуки серебряной лиры.

Абен Габуз бросился искать расселину, но она снова сомкнулась. Он опять попробовал докопаться до соперника, и опять понапрасну. Видно, чародейную руку с ключом людскими силами было не одолеть. А на вершине горы, на месте обещанного дворца и сада, была голая пустошь: либо хваленый вертоград был сокрыт от глаз волшебством, либо звездочет все выдумал. Милосердная молва избрала второе, и одни называли это место «Царевой блажью», другие – «Дурьей потехой».

В довершение бед Абен Габуза соседи, которых он со своим волшебным всадником задирали, изводил и громил почем зря, обнаружили, что чары рассеялись, и кинулись на него со всех сторон, так что остаток дней государя-миролюбца прошел в кровавой суматохе.

Наконец Абен Габуз умер и был предан земле. Миновали столетия. На пресловутой горе построили Альгамбру, и в ней отчасти была явлена баснословная прелесть

иремских садов. Зачарованный портал цел и невредим – его, конечно, сберегла волшебная власть руки и ключа – и образует теперь Врата Правосудия, главный вход в крепость. Говорят, что под этими вратами звездочет по-прежнему сидит в своем подземном чертоге и дремлет на том же диване под звуки серебряной лиры царевны.

Дряхлые инвалиды часовые, несущие стражу у ворот, летними ночами иногда слышат эти напевы и под их усыпительным воздействием мирно почивают на посту. Вообще здесь разлита такая дрема, что даже и днем часовые обычно клюют носом, сидя на каменных скамьях в проходе, или же спят под соседними деревьями, так что это наверняка самый сонливый караул во всем христианском мире. И по старинному преданию, так оно все и будет еще много веков. Царевна останется пленницей звездочета, а звездочет не сбросит колдовской дремоты до скончания дней, разве что волшебная рука ухватит роковой ключ и расколдует зачарованную гору.

Примечания к легенде об арабском звездочете

Аль Маккари в своей истории магометанских династий в Испании приводит рассказ другого арабского автора о магическом изображении, подобном описанному в легенде.

В Кадисе, говорит он, прежде была квадратная башня высотой более ста локтей, сложенная из громадных каменных глыб, скрепленных медными скобами. На вершине лицом к Атлантике стояла статуя с посохом в правой руке и указательным пальцем левой показывала на Гибралтарский пролив. По рассказам, ее когда-то поставили готские владыки Андалузии и она служила маяком и указанием мореходам. Мусульмане – берберы и андалузцы – считали, что она имеет волшебную власть над морем. Правя на нее, шайки пиратов из народа по имени Майюс приставали к берегу на больших судах с двумя квадратными парусами, один на носу, один на корме. Они являлись каждые шесть или семь лет; истребляли всех встречных на море; по указанию статуи проплывали через пролив в Средиземноморье, высаживались в Андалузии, предавая все огню и мечу; и область набегов их простиралась до самой Сирии.

Наконец, уже во времена гражданских войн, мусульманский флотоводец захватил Кадис, прослышал, что статуя на вершине башни – из чистого золота, и велел ее снять и расколоть: она оказалась из золоченой меди. С разрушением истукана рассеялось и заветное над морем. Пираты из океана больше не появлялись, только два их корабля разбились у берега, один возле Марсуль-Майюса (порта Майюсов), другой неподалеку от мыса Аль-Аган.

Вероятно, эти морские разбойники, упоминаемые Аль Маккари, были норманны.

Гости Альгамбры

Почти три месяца никто не мешал мне воображать себя властителем Альгамбры, а многие ли из моих предшественников бывали безмятежны столь долго? Тем временем в природе свершались обычные перемены. Когда я приехал, все дышало майской свежестью: нежная листва деревьев еще сквозила; пунцовыми цветами был усыпан гранат, и в цвету стояли сады по берегам Хениля и Дарро, скалы были в цветущем диком убранстве, а Гранада потонула в розах; и бесчисленные соловьи заливались ночью и не смолкали днем.

Надвинулось лето, розы опали, соловьи утомонились; кругом, куда ни глянь, сушь и зной; правда, город обступает вечная зелень, и она же царит в узких низинах у подножия гор.

В Альгамбре есть где укрыться в любой зной, и любопытнейшее из укрытий –

купальни, едва ли не подземные. В них словно затаилась восточная старина, трогательно потускнелая, но не изглаженная временем. Из дворика, который прежде был весь в цветах, попадаешь в небольшой и прелестно отделанный зал. Поверху, над мраморными колоннами и резными аркадами, идет галерейка. Алебастровый фонтан посреди зала, как встарь, мечет прохладительную струю. По обе стороны – глубокие альковы с возвышениями, где купальщики после омовений нежились на подушках, вдыхая сладостные ароматы и внимая тихой музыке с галереи. К залу примыкают запретные внутренние покои, *sanctum sanctorum* [17 - Святая святых (лат.).] женского уединения: здесь купались в роскоши гаремные красавицы. Повсюду разлит таинственный мягкий свет, проникающий сквозь прорези (*lumbregas*) сводчатого потолка. Следы былого изящества ласкают глаз, и сохранились в целости алебастровые ванны, в которых когда-то возлежали султанши. Здешняя тишь и полусвет полюбились летучим мышам: днем они висят по темным углам и закоулкам, а потревоженные, бесшумно мечутся по сумрачным палатам, и те кажутся оттого еще несравненно заброшенной и запущенной.

В этом прохладном и прелестном, хоть и обветшалом убежище, свежестью своей и потаенностью напоминавшем грот, я переживал в летние месяцы самый нестерпимый зной, выбираясь отсюда лишь к закату; а ночами купался или даже плавал в большом водоеме главного двора. Так мне удавалось немного противостоять лени и разнеженности, к которым склоняет климат.

И вот мое воображаемое владычество все-таки подошло к концу. Однажды утром меня пробудили раскаты пальбы, гремевшей меж башен, словно замок взяли внезапным приступом. Бросившись на вылазку, я обнаружил, что Посольским Чертогом завладел пожилой идалго с челядью. Это был граф древнего рода, новоприбывший в Альгамбру из своего гранадского дворца, дабы подышать воздухом горных высот; и он, будучи старым воякой и застарелым охотником, нагуливал аппетит к завтраку, стреляя с балконов по ласточкам. Развлечение это было безобиднейшее, ибо, хотя его проворные слуги непрерывно подавали ему перезаряженные ружья, ни одной ласточке погибели он не принес. Мало того, даже и самим птицам эта охота была как будто по нраву, и, словно насмехаясь над неловким стрелком, они кружили у самых балконов и весело щебетали, пропархивая мимо.

Прибытие пожилого идалго существенно изменило положение вещей, но не вызвало ни ревности, ни стычек. Мы негласно поделили царство между собой, подобно последним гранадским властителям – и в отличие от них состояли в полной дружбе. Он был самодержцем в Львином Дворике и прилегающих чертогах, а я мирно владычествовал над купальнями и садиком Линдарахи. Трапезовали мы вместе под дворовыми аркадами, где фонтаны освежали воздух и журчащие струи бежали по мраморным желобам.

Вечерами вокруг почтенного старого идалго собирались его домашние. Графиня, его жена по второму браку, приходила из города вместе со своею падчерицей Кармен, единственным ребенком в семье, очаровательной, совсем юной девчушкой. Всегда присутствовал также кто-нибудь из домочадцев: духовник, поверенный, дворецкий, секретарь или другие служители, являвшиеся к нему с городскими новостями и составлявшие его вечернюю партию в тресилью или омбре. Так он держал дома придворный штат, где все преклонялись перед ним и всякий старался его развлечь, правда без всякого подбострастия или ущерба для собственного достоинства. Да ничего подобного поведение графа и не требовало: что ни говори об испанской гордости, но она не мешает ни дома, ни на людях. В редком народе отношения между родственниками столь раскованны и столь сердечны и высший относится к низшему без высокомерия, а тот, снизу вверх, – без подбострастия. В этом смысле в испанской жизни, особенно провинциальной, много еще остается от хваленой старинной

простоты.

Из этой домашней свиты для меня всех интереснее была дочь графа, прелестная малютка Кармен. Ей и всего-то шестнадцать, и с виду она сущее дитя, но уже успела стать семейным кумиром и носит ласковое прозвище *la Nina* [18 - Девочка (исп.)]. Она еще не созрела и не сформировалась, но в фигуре ее уже есть изумительная соразмерность и гибкая грация, отличающие женщин ее края. Белолицая, светловолосая, с голубыми глазами, она была не похожа на андалузянку: кроткий и тихий нрав ее совсем не шел бы к огневой испанской красоте, однако был под стать ее простодушию и невинной доверчивости. Вместе с тем она, как большинство испанок, была многосторонне одарена от природы. Все у нее получалось хорошо и давалось ей без усилия. Она пела, играла на гитаре и других инструментах и восхитительно исполняла живописные народные танцы, но восхищенья никогда не искала. Она просто резвилась – весело и беспечно.

Эта юная сильфида была словно создана для здешних мест, прибавляя к живому очарованию Альгамбры. Пока граф и графиня с духовником или секретарем заняты были под аркадами Львиного Дворика игрою в тресильо, она и Долорес, как бы ее фрейлина, сиживали у фонтана и напевали под гитару какой-нибудь из бесчисленных испанских народных романсов или, что мне еще больше нравилось, старинные баллады о маврах.

Когда я буду вспоминать Альгамбру, мне тотчас припомнится и прелестная девочка, светлая, невинная и беззаботная, – как она резвится в мраморных чертогах, танцует под шелканье мавританских кастаньет, и серебристый ее голосок сливается с журчанием фонтанов.

Реликвии и родословные

Мне было лестно познакомиться с графской семьей и любопытно наблюдать вблизи картины испанского домашнего быта, но сколь же возросло мое любопытство, когда я узнал о фамильной причастности графа к героическим временам покорения Гранады. В самом деле, этот почтенный старый идалго, вида отнюдь не воинственного, хоть он и ополчился на ласточек и стрижей, оказался прямым потомком и наследником титула Гонсальво из Кордовы, того самого «Великого Полководца», который стяжал вящую славу у стен Гранады и был в числе рыцарей, отправленных Фердинандом и Изабеллой для переговоров об условиях сдачи города; мало того, граф при желании мог бы претендовать на отдаленное родство с мавританскими царями, ибо Дон Педро Венегас, прозванный Торнадисо, был отпрыском его рода; а стало быть, и дочь его, очаровательная малютка Кармен, по праву может считаться преемницей царевны Сетимериен или прекрасной Линдарахи [19 - Чтобы не казалось, что я лишь фантазирую, на суд читателя предлагается нижеследующая родословная, составленная историком Алькантарой по арабским манускриптам, на пергаменте, хранящемся в архиве маркиза де Корверы. Это любопытный пример мусульмано-христианского родства в результате пленений и смешанных браков во времена войн с маврами. От мавританского царя Абен Гуда, покорителя Альмогадеса, по прямой линии происходит Сид Яхья Абрагам Альнаяр, властелин альмерийский, женатый на дочери царя Бермехо. У них было трое детей, обычно называемых наследниками сетимерийскими. Первый из них – Юсуф бен Альгамар, захвативший на время гранадский престол. Второй – царевич Насар, муж прославленной Линдарахи. Третья же – царевна Сетимериен, супруга Дона Педро Венегаса, ребенком плененного маврами, – отпрыска рода Луке, нынешним главою которого является старый граф (примеч. авт.)].

Услышав от графа, что в его фамильном музее хранятся любопытные реликвии

времен покорения Гранады, я однажды утром напросился к нему во дворец, расположенный внизу, в Гранаде, дабы осмотреть эти реликвии. Важнейшей из них был меч Великого Полководца, характерное оружие подлинного воина, лишенное всяких избыточных украшений, с простой рукоятью слоновой кости и широким тонким клинком. При виде меча полководца в слабых руках его дальнего потомка и законного наследника его славы поневоле задумываешься о судьбине славного рода.

Со времен Покорения здесь хранились и громадные, неподъемные пищади-эспингарды, под стать тем старинным исполинским двуручным мечам, про которые кажется, что ими рубились какие-то вымершие великаны.

Кроме всего прочего я узнал, что старый граф – *Alferez mayor*, главный знаменосец; в этом качестве он обязан в особо торжественных случаях шествовать с древней хоругвью Фердинанда и Изабеллы и помавать ею над их гробницами. Мне были показаны также бархатные чепраки, пышно расшитые золотом и серебром, на шестерых лошадей, для выездов в Гранаду и Севилью по случаю присяги новопровозглашенному государю: граф едет на одной из них, а прочих ведут следом служители в богатых ливреях.

Я надеялся обнаружить среди реликвий и древностей графского дворца образчики доспехов и оружия гранадских мавров: я слышал, что такие трофеи хранятся у потомков покорителей Гранады, но тут мне не повезло. Любопытство мое на этот счет было вызвано тем, что многие имеют самое ложное представление об одежде испанских мавров, воображая их одетыми по-восточному. Напротив того, их же собственные летописцы свидетельствуют, что они многое переняли у христиан. Так, например, тюрбаны, без которых мусульман прямо-таки не мыслят, они носить перестали; только в западных провинциях этот убор еще украшал головы знати, богачей и правительственных чиновников. Вместо них в обычай вошла шерстяная шапка, красная или зеленая – вероятно, такая же, как у берберов, известная под названием туниски, или фески; ее и посейчас всюду носят на Востоке, правда, чаще всего под тюрбаном. Евреям были предписаны желтые фески.

В Мурсии, Валенсии и других восточных провинциях лица высшего сословия появлялись на люди и с непокрытой головой. Царь-воитель Абен Гуд никогда не носил тюрбана, равно как и его соперник Альгамар, основатель Альгамбры. Короткий плащ, именуемый тайласан, подобный принятому в Испании в шестнадцатом-семнадцатом столетиях, носили во всех сословиях. У него имелся капюшон или клобук, который люди знатные иногда накидывали на голову; простолюдинам так делать не полагалось.

Военный доспех мавританского витязя тринадцатого столетия, описанный Ибн Сайдом, был почти такой же, как у христиан. Поверх кольчуги и лат надевалась короткая алая туника. Шлем был из полированной стали, щит висел за спиной, в руке – огромное копье с широким наконечником, нередко двойным. Седло громоздкое, с высокой лукой спереди и сзади; за всадником трепетал длинный стяг.

Ко времени Аль Хаттиба Гранадского, который писал в четырнадцатом веке, андалузские мусульмане вернулись к восточным обычаям и стали снова облачаться и вооружаться на арабский манер: легкий шлем, тонкий панцирь из стали отличной закалки, длинная пика, обычно тростниковая, арабское седло и щит из сложенной вдвое шкуры антилопы. Любопытно, что у гранадских рыцарей тогда был в обычае особенно пышный доспех и наряд. Оружие их было изукрашено серебром и золотом. Клинки сабель были из лучшей дамасской стали, в финифтяных ножнах богатой отделки, пояса золотой филигрании усыпаны камнями, в камнях и рукояти их фесских кинжалов, а на пиках – пестрые вымпелы. Под стать вооружению были и кони в расшитых бархатных чепраках.

Это подробное описание, данное видным летописцем-современником, удостоверяет пышные образы старинных мавритано-испанских баллад, в подлинности которых

порою сомневаются, и дает живое представление о блестящем убранстве гранадских рыцарей, собравшихся в поход или состязающихся на ристалищах Виваррамблы.

Хенералифе

Высоко над Альгамброй, на взлобье горы, среди висячих садов и великолепных террас, видны горделивые башни и белые стены Хенералифе, прекрасного дворца, памятного по многим сказаниям. Здесь до сих пор стоят знаменитые гиганты кипарисы, восхищавшие еще мавров, – преданье связывает их с рассказами о Боабдилье и его супруге.

Здесь сохранились портреты многих участников романтической драмы покорения Гранады. Фердинанд и Изабелла, Понсе де Леон, доблестный маркиз да Кадис – и Гарсиласо де ла Вега, в яростном поединке одолевший мавра Тарфе, могучего исполина. Здесь висит и портрет, который долгое время считали изображением Боабдилы, но говорят теперь, что это мавританский царь Абен Гуд, предок царевичей альмерийских. От одного из этих царевичей, перешедшего к концу войны под знамена Фердинанда и принявшего при крещении имя Дон Педро де Гранада Венегас, произошел нынешний владелец дворца, маркиз да Кампотехар. Однако владелец этот живет в чужих краях, и дворец перестал быть обиталищем царских потомков.

Между тем здесь есть все в угоду прихотливому вкусу сибарита южанина: изобилие плодов и цветов, тонкие ароматы, зеленые беседки и миртовые ограды, чистейший воздух и плеск струй. Я имел здесь возможность созерцать сцены, любезные художникам, изображающим дворцы и сады Юга. У дочери графа были именины, и к ней прибыли из Гранады подружки-сверстницы, чтоб весь долгий летний день играть и веселиться в прохладных чертогах и беседках мавританских дворцов. В Хенералифе поехали с утра. Одни разбежались по зеленым аллеям, итальянским лестницам, величавым террасам и мраморным балюстрадам. Другие, и я в их числе, уселись в открытой галерее или колоннаде, откуда открывался изумительный вид на Альгамбру, город и Вегу в глубокой низине – и на дальние горы у горизонта: все это волшебное зрелище мерцало и переливалось в струистом зное. Вскоре мы слышали из долины Дарро вездесущие гитарные переборы и треск кастаньет: посреди горного склона, под деревьями расположилась веселая компания, и развлекалась она в истинно андалузском духе: одни лежали на траве, другие танцевали под музыку.

Эти виды и звуки, а также царственное уединение дворца, мягкая тишь и восхитительно ясная погода завораживали ум, и кто-то из нас, знаток здешних мест, припомнил поверья и сказанья, связанные с этим старым мавританским дворцом; они были «из тех, что навевают грезы», и они сложились у меня в нижеследующую легенду, которая, может статься, придется по вкусу читателю.

Легенда о царевиче Ахмеди аль Камеле, или Влюбленный скиталец

Жил-был в Гранаде один мавританский царь, и был у него единственный сын по имени Ахмед, прозванный придворными Аль Камель, то есть несравненный, ибо они безошибочным глазом углядели в младенце признаки достоинств еще небывалых. Такое их прозрение подтвердили и звездочеты: благосклонные светила предвещали, что из него выйдет достойнейший царевич и превосходный государь. Одно только облачко набегало на его судьбу, и то розоватое: царевич будет влюбчив, а нежная страсть добра ему не сулит. Если его, однако, до поры уберегут от любовных соблазнов, то никакой беды не случится и дальнейшая жизнь его потечет как нельзя более счастливо.

Чтоб избежать подобных злоключений, царь мудро порешил взрастить сына затворником, оберегая его взор от женских лиц, а слух – от самого имени любви. С этой целью он построил прекрасный дворец на горном уступе над Альгамброй, окружил его пышными садами и оградил высокими стенами: тот самый дворец, который нынче называется Хенералифе. Юного царевича поселили в этом дворце, а его надзирателем и наставником был назначен Эбен Бонаббен, один из самых сухих и рассудительных арабских мудрецов; большую часть жизни он провел в Египте, изучая иероглифы и рыская по гробницам и пирамидам, и взору его куда милее была египетская мумия, чем пленительная красotka. Мудрецу велено было наставить царевича во всех науках, но ни под каким видом не сообщать ему ничего о любви.

– Береги его как знаешь и действуй по усмотрению, – сказал царь, – и запомни, о Эбен Бонаббен, что, если мой сын, будучи под твоею опекой, проводит об этом хоть что-нибудь, ты ответишь головою.

При этой угрозе сухая усмешка покорежила иссохшее лицо Эбен Бонаббена.

– Будьте, ваше величество, так же спокойны за своего сына, как я за свою голову: я ли стану давать ему уроки этой нелепой страсти?

Так, под недреманным оком философа, царевич рос в уединении дворца и тишине садов. Прислуживали ему черные рабы – немые исполины, которые ничего не знали о любви, а если и знали, то помалкивали за неимением языка. Особенно заботился Эбен Бонаббен о его умственном воспитании, желая приобщить его к тайнам египетского чернокнижия; но царевич не радовал наставника успехами, и скоро стало ясно, что философа из него не выйдет.

Для царского сына он, однако, был удивительно послушлив и готов следовать любому совету – последнему из полученных. Он подавлял зевоту и терпеливо внимал длинным ученым речам Эбен Бонаббена, из которых узнал кое-что почти обо всем. Безмятежно дожив до двадцати лет, он знал больше всякого другого царевича – но о любви не ведал ничего.

И тут на царевича вдруг что-то нашло. Он совсем забросил занятия, стал разгуливать по садам и мечтать возле фонтанов. Он был немного научен музыке и теперь прямо-таки пристрастился к ней и даже начал склоняться к поэзии. Мудрый Эбен Бонаббен обеспокоился и попробовал было отвлечь его от этих пустых капризов, усадив за трезвую алгебру, но царевич наотрез отказался вникать в нее.

– Терпеть не могу алгебры, – сказал он, – по-моему, это гадость. Она ничего не говорит моему сердцу.

На это мудрый Эбен Бонаббен покачал иссохшею головой. «Конец всякой философии, – подумал он. – Царевич обнаружил, что у него есть сердце!» С опаской следил он за своим учеником, видя, как в нем зыграли нежные чувства, пока беспредметные. Он бродил по садам Хенералифе в каком-то опьянении и сам не понимал отчего. Иногда он сидел, погруженный в сладостные грезы, потом хватал лютню и извлекал из нее умильные звуки; потом отбрасывал ее, раздражаясь вздохами и возгласами. Постепенно эта неясная влюбленность распространилась на предметы неодушевленные: у него появились любимые цветы, за которыми он ухаживал с нежной заботой, потом – деревья, и особенно одно, стройное и густолиственное. Царевич предался ему всей душою: вырезал на коре свое имя, увешал ветви гирляндами, сочинял и пел куплеты под лютню в его честь.

Глядя на то, что творится с воспитанником, Эбен Бонаббен вконец растревожился. Царевич вплотную приблизился к запретному, и малейший намек мог поведать ему роковую тайну. Чтоб не погубить юношу и не расстаться с головой, Эбен Бонаббен поспешно отдалил его от соблазнов сада и упрятал в самую высокую башню Хенералифе. Там были прекрасные покои, оттуда открывалась безбрежная даль, а душистые зефиры и чарующие беседки, столь опасные для неокрепших чувств Ахмеда,

остались далеко внизу.

Но как было примирить его с заточением, чем скрасить часы скуки? Почти все занимательное мудрец уже преподавал ему, а об алгебре царевич и слышать не хотел. По счастью, в Египте Эбен Бонаббена обучил языку птиц один еврейский раввин, до которого знание это передавалось из уст в уста от Соломона премудрого, а тот перенял его у царицы Савской. Когда царевичу было предложено изучить этот язык, глаза его вспыхнули, и он взялся за дело так усердно, что скоро сравнялся в познаниях со своим учителем.

Он больше не чувствовал себя в заточении: кругом были собеседники. Сначала он познакомился с ястребом, который угнездился в бойнице наверху башни и парил над всею долиной в поисках добычи. Царевичу он не слишком понравился. Это был обыкновенный воздушный разбойник, наглый и хвастливый, и толковал он лишь о грабеже и кровопролитии.

Другим его знакомцем стал сыч весьма высокоумного вида, с большущей головой и вытаращенными глазами; днем он сидел в бойнице, пялился и хлопал глазами, а ночью где-то пропадал. Он считал себя кладезем премудрости, поговаривал о звездах и луне, намекал на свою причастность черной магии и был большим любителем умозрений; царевич находил, что он разглагольствует даже докучнее, чем мудрый Эбен Бонаббен.

Был еще нетопырь, который весь день висел вверх ногами в темном углу под сводом, однако в сумерках тоже улетал, тяжело и неуклюже. Представление обо всем у него было сумрачное, он издевался не приглядываясь и не радовался ничему.

И, наконец, был стриж, в котором сперва царевич души не чаял. Он был остер на язык, но до крайности непоседлив, суетлив и вечно куда-нибудь торопился; поговорить с ним как следует почти никогда не удавалось. Наконец стало ясно, что он просто нахватавшийся пустозвон, всезнайка, который не знает ничего толком.

Только с этими крылатыми соседями царевич и мог поговорить на новоизученном языке: башня была высокая, и другие птицы туда не залетали. Скоро он устал от своих новых знакомых, беседы с которыми так мало давали уму и совсем ничего – сердцу, и постепенно погрузился в прежнее уныние. Зима миновала, настала весна, зеленая, цветущая, напоенная свежестью, а с нею и радостная птичья пора браков и гнезд. Рощи и сады Хенералифе как бы внезапно огласились песнями и щебетом, которые достигли ушей одинокого царевича. И со всех сторон несло и звучало одно и то же: любовь, любовь, любовь – несло и отзывалось эхом, на все лады, на все голоса. Царевич внимал с молчаливым недоумением. «Что такое любовь, – думал он, – которою все полно вокруг и о которой я ничего не знаю?» Он обратился с этим вопросом к своему приятелю ястребу. Пернатый головорез отвечал брезгливо.

– Это уж ты спрашивай, – сказал он, – у жалких и мирных земных пташек, созданных на прокорм нам, владыкам воздуха. Мое дело – война, моя услада – битва. Я – воитель и знать не знаю, что такое любовь.

Царевич с отвращением ушел от него и направился к сычу. «Это, – сказал он себе, – птица мирная, наверно, он-то мне и ответит». И он попросил сыча рассказать ему, что такое эта любовь, о которой поют все птицы рощ земных.

Сыч принял вид оскорбленного достоинства.

– По ночам, – сказал он, – я занимаюсь изысканиями и исследованиями, а днем размышляю в своей келье над их результатами. И твоих певчих птиц я никогда не слушаю – я презираю их вместе с их песнями. Я, по милости Аллаха, петь не умею; я – философ и знать не знаю, что такое любовь.

Царевич пошел туда, где под сводом висел вниз головою его приятель нетопырь, и задал ему тот же вопрос. Нетопырь сердито сморщил нос.

– Ты зачем с утра перебиваешь мне сон такими дурацкими вопросами? – сварливо отозвался он. – Я летаю только в сумерках, когда все птицы спят, и дела их меня ничуть

не заботят. Я не зверь и не птица, спасибо и на том. Все звери и все птицы – мерзавцы, и я ненавижу их всех и каждого. Короче, я – мизантроп и знать не знаю, что такое любовь.

Последняя надежда была на стрижа, и царевич перехватил его на лету у вершины башни. Стриж, как всегда, ужасно спешил и насилу удосужился ответить.

– Честное слово, – сказал он, – у меня столько чужих забот и всяческих занятий, что мне такой вопрос и в голову не приходил. Каждый день – тысяча визитов, тысяча неотложных дел, и совершенно некогда разбираться, кто там о чем поет. Словом, я – всеобщий попечитель и знать не знаю, что такое любовь.

С этими словами он порхнул вниз и мгновенно скрылся из виду.

Царевичу осталось досадовать и недоумевать, но его неутоленное любопытство разыгралось еще сильнее. И как раз в это время послышались шаги его престарелого надзирателя. Царевич бросился к нему навстречу.

– О Эбен Бонаббен, – воскликнул он, – ты открыл мне столько земных премудростей, но есть одно такое, о чем я ничего не знаю и хотел бы узнать.

– Царевичу стоит лишь спросить, и все то небольшое, что ведомо его слуге, будет ему открыто.

– Тогда скажи мне, о мудрейший из мудрых, как надо понимать, что такое любовь?

Эбен Бонаббена точно громом поразило. Он задрожал, побледнел, и ему показалось, что голова его еле держится на плечах.

– Кто навел царевича на такие мысли, где он услышал такое нелепое слово?

Царевич подвел его к окну башни.

– Послушай, Эбен Бонаббен, – сказал он. Мудрец прислушался. В чаще у подножия башни соловей пел о своей ненаглядной розе; на всех цветущих ветках, во всех пышных зарослях звенели песни – и все они были о любви, любви, любви.

– Аллах акбар! Велик Аллах! – воскликнул мудрый Бонаббен. – Кто сумеет сокрыть эту тайну от сердец людских, когда и птицы небесные кричат о ней во весь голос?

Затем он обратился к Ахмеду.

– О мой царевич, – вскричал он, – замкни свой слух от этого певучего соблазна! Замкни ум свой перед этой пагубой! Знай, что половина всех бедствий страждущих смертных – из-за любви! Ибо любовь порождает озлобление и раздоры между родными и близкими; ее наущеньем вершатся подлые убийства и смертоносные войны. Заботы и горе, тяжкие дни и бессонные ночи ведет она за собою. Она сушит и губит юные силы, она старит до времени и несет болезни и хвори. Сохрани тебя Аллах, о мой царевич, в полном неведении о том, что такое любовь!

И мудрец Эбен Бонаббен поспешно удалился, повергнув царевича в полное недоумение. Напрасно он старался больше об этом не думать: неясный вопрос притягивал все его мысли, дразнил и томил тщетными догадками. «Как же, – вопрошал он сам себя, слушая, как заливаются птицы, – как же в их пении нет никакой печали, а только радость и нега? Если из-за любви столько несчастий и раздоров, то почему же эти птицы не горюют в одиночестве и не рвут друг друга на части, а весело порхают из рощи в рощу или вместе резвятся среди цветов?»

Пробудившись однажды утром, он лежал и размышлял об этой неразрешимой загадке. Окно его покоя было отворено мягкому утреннему ветерку, напоенному ароматом цветущих апельсинов из долины Дарро. Вдалеке пел соловей – пел все о том же. Царевич слушал и вздыхал, и вдруг у окна плеснули крылья: в покой, спасаясь от ястреба, метнулся и без сил упал на пол красавец голубь, а упустивший добычу хищник взмыл ввысь и понесся к горам.

Царевич поднял еле живого голубка, разгладил ему перья, пригрел на груди. Обласкав и успокоив, он посадил его в золотую клетку, поднес ему золотистых зерен и прозрачайшей воды. Но голубь ни есть, ни пить не стал; он поник, приуныл и жалобно

ворковал.

– Что с тобой? – спросил Ахмед. – Разве тебе еще что-нибудь нужно?

– Увы! – отвечал голубь. – Легко ли быть в разлуке с подругою сердца счастливой весенней порою, порою любви?

– Любви? – переспросил Ахмед. – Прости, милый голубь, а ты не можешь рассказать мне, что такое любовь?

– Как не мочь, о мой царевич. Если любит один – это мука, если двое – счастье, если трое – раздор и вражда. Это волшебство, которое влечет друг к другу и сливает в сладостном единении, так что вместе это блаженство, а врозь – горе. А разве ты ни с кем не связан узами нежной приязни?

– Из тех, кого я знаю, мне приятней всех мой старый учитель Эбен Бонаббен, но часто он бывает так докучлив, что мне даже лучше без него.

– Нет, я не о такой приязни. Я говорю о любви, великом таинстве и основе самой жизни: в юности это пьянящий восторг, в зрелости – трезвая отрада. Выгляни в окно, о мой царевич, и посмотри, как в эту благодатную пору все исполнено любви. У всякого свой друг или подруга; последняя пташка не осталась без пары; какой-нибудь жук – и тот ползет к своей жучихе, и те вон бабочки, которые порхают высоко над башней и танцуют в воздухе, счастливы любовью друг друга. Ах, мой царевич! Неужели ты растратил столько светлых дней юности, ничего не ведая о любви? Неужели у тебя нет милой избранницы – прекрасной царевны или прелестной девушки, которая покорила бы твоё сердце и наполнила грудь чудным смятением сладостных мук и нежных желаний?

– Я начинаю понимать, – со вздохом отозвался Царевич, – такое смятение я не однажды испытывал, не ведая отчего; но откуда же возьмутся тобой описанные избранницы в моем унылом заточении?

Они еще немного поговорили: так царевичу был преподан первый урок любви.

– Увы, – сказал он, – если любовь и вправду такая Радость, а разлука – такое горе, то упаси меня Аллах мешать счастьем любящих.

Он открыл клетку, принял в руки голубя и, нежно поцеловав его, поднес к окну.

– Лети, счастливая птаха, – сказал он, – празднуй вместе с избранницей сердца юность и весну. Зачем тебе томиться со мною в этой мрачной башне, куда любовь никогда не проникнет?

Голубь радостно затрепетал крылами, взлетел, описал круг – и ринулся вниз, в цветущую долину Дарро.

Царевич проводил его взглядом и дал волю горьким слезам. От пения птиц, недавно столь отрадного, становилось еще горше. Любовь, любовь, любовь! Ах, бедный юноша! Теперь ему был внят этот напев.

Мудрого Бонаббена он встретил с огнем в глазах.

– Ты почему держал меня в подлом невежестве? – крикнул он. – Почему ты скрывал от меня великое таинство и основу самой жизни, то, что понятно последнему насекомому? Смотри, как ликует вся природа. Все живое справляет праздник жизни с другом или подругою. Вот об этой любви я тебя и спрашивал. Почему же мне одному закрыты ее радости? Зачем столько дней моей юности растрачено в неведении об этих восторгах?

Мудрый Бонаббен понял, что таить больше нечего: царевичу открылось опасное и запретное. И он рассказал ему о предсказании звездочетов и о том, как было решено его воспитывать, чтоб уберечь от грядущих бед.

– А теперь, мой царевич, – заключил он, – жизнь моя в твоих руках. Если твой отец узнает, что ты, будучи под моей опекою, проведал о любовной страсти, то я отвечу за это головой.

Царевич отличался благоразумием, свойственным его летам, и легко поддавался на

увещания своего наставника, поскольку ничего другого ему не оставалось. Да он и в самом деле был привязан к Эбен Бонаббену, а с любовной страстью знаком лишь на словах; вот он и согласился похоронить это знание в своей груди, чтоб уцелела голова философа.

Однако его благоразумию предстояли дальнейшие испытания. Через несколько дней, поутру, когда он стоял и грустил у башенных зубцов, давешний голубь окружил над его головою и бесстрашно опустился к нему на плечо.

Царевич бережно прижал его к сердцу.

– Счастливцев! – сказал он. – Ты летаешь, словно на крыльях зари, для тебя открыты все дали. Где ты побывал с тех пор, как мы расстались?

– В дальних краях, о мой царевич; и в благодарность за мою свободу я принес тебе оттуда добрую весть. Я летел куда глаза глядят, парил над горами и долами – и вдруг увидел внизу сказочный сад, изобильный цветами и плодами. Он раскинулся на зеленом лугу, в излучине реки, а посреди сада был пышный дворец. Я опустился на крышу беседки отдохнуть после долгого полета. В беседке на скамье сидела царевна, юная и нежная, как утренняя заря. Такие же юные служанки обвивали ее гирляндами и примеряли ей венки, но она была прелестнее всех полевых и садовых цветов. И расцвела она вдали от людских взоров, ибо сад обнесен высокой стеною и входа в него нет никому. Когда я увидел это прелестное создание, юное, невинное, не затронутое мирскими соблазнами, я подумал: вот кому суждено небом стать избранницей моего царевича.

Пылкому сердцу Ахмеда не хватало только этой искры; вся его потаенная влюбчивость сразу обрела устремление, и он без памяти влюбился в далекую царевну. Он написал ей восторженное письмо, исполненное пламенного обожания и глубокой скорби о своем злосчастном заточении: будь он свободен, он непременно отыскал бы ее и пал к ее ногам. Послание кончалось стихами, нежными и трогательно-красноречивыми: он ведь был поэт по натуре, и к тому же его вдохновляла любовь. Он надписал письмо: «Прекрасной Незнакомке от узника – царевича Ахмеда», потом надушил его мускусом и розовым маслом – и отдал голубю.

– Лети, о надежнейший из посланцев! – сказал он. – Лети над горами и долами, над реками и низинами; не отдыхай в кущах и не касайся земли, пока не отдашь это письмо владычице моего сердца.

Голубь взлетел высоко-высоко и помчался стрелой. Царевич провожал его глазами, пока он не стал пятнышком на облаке и не исчез за горою.

День за днем ожидал он возвращения вестника любви, но понапрасну. Он уж начал было пенять на его ветренность, как вдруг однажды вечером, перед самой зарею, верный голубь впорхнул в покой и, бездыханный, грянулся у его ног. Чья-то шальная стрела пронзила ему грудь, и он долетел из последних сил. Царевич в горе склонился над этой кроткой жертвою преданности и заметил вокруг шеи голубка жемчужную нить, а на ней зажатый под крылом эмалевый медальон с портретом царевны в расцвете юной красоты. То была, конечно, прекрасная знакомка из сказочного сада, но кто она такая? где ее искать? в радость ли ей было его письмо? и послан ли этот портрет в знак взаимности? Верный голубь был мертв – и осталось лишь гадать и сомневаться.

Царевич вглядывался в портрет, пока слезы не застлали ему глаза. Он прижимал его к губам и к сердцу; он замер над ним на долгие часы, изнемогая от нежности. «Чудное подобие! – говорил он, – увы, лишь подобие! Но как томно светятся ее очи! И алый рот будто сейчас вымолвит: да! Ах, тщетные грезы! Может статься, этот взгляд и улыбка предназначены моему счастливому сопернику? И где, в каких краях искать мне ту, на чьи черты я взираю? Кто знает, какие горы, какие царства разделяют нас? какие преграды встанут между нами? Может быть, сейчас, в этот самый миг, она окружена воздыхателями, а я заперт в этой башне и попусту томлюсь, обожая живописный

призрак».

И царевич Ахмед решился. «Бежать, – сказал он, – бежать из этого дворца, который стал для меня постылым узилищем; я пойду по свету влюбленным странником на поиски неведомой царевны». Бежать из башни днем, когда все настороже, было бы затруднительно, однако ночами дворец почти не охранялся, ибо никто не ждал подобной прыти от царевича, столь послушливо сносившего заточение. Но как ему выбраться отсюда темной ночью и нехоженым путем? Он вспомнил про сыча, ночного рыскуна: он-то наверняка знает тут все ходы и выходы. Царевич отыскал его в укрытии и спросил, хорошо ли он знаком со здешними местами. В ответ сыч необычайно напыжился.

– Да будет ведомо тебе, о царевич, – сказал он, – что наша совиная порода – очень древняя и могущественная, хоть нынче слегка и зачахла: мы владеем развалинами дворцов и замков по всей Испании. Нет такой башни в горах, крепости на равнине или старой городской цитадели, где бы не обитал мой брат, дядя или иной родич; и, навещая свою несметную родню, я изучил все углы и закоулки и знаю эти края вдоль и поперек.

Царевич очень обрадовался, что сыч такой замечательный топограф, и по секрету рассказал ему о своей нежной страсти и о намерении бежать и пригласил его в спутники и советчики.

– Как это? – недовольно сказал сыч. – Мне – мешаться в любовные дела? Мне, мыслителю и созерцателю луны?

– Не обижайся, о высокоумнейший сыч, – отвечал царевич. – Если ты на время отвлечешься от размышлений и луны и поможешь мне бежать, то потом ты получишь все что душе угодно.

– У меня и так все есть, – сказал сыч. – Мышей мне хватает, ибо ем я немного, и этой выбоины в стене достаточно для моих ученых занятий, а что еще нужно такому философу, как я?

– Подумай, мудрейший сыч: ты угрюмо сидишь в своей келье и созерцаешь луну, а твои дарования пропадают для мира. Когда-нибудь я стану государем и подыщу тебе почетную и достойную должность.

Сыч-философ был выше житейских соблазнов, но честолюбия не лишен; в конце концов он дал себя уговорить и согласился сопровождать царевича и помогать ему советом и руководством.

Влюбленные не терпят проволок. Царевич собрал все свои драгоценности и прихватил их с собой на дорожные расходы. В ту же ночь он спустился с башенного балкона на своем кушаке, перелез через наружную стену Хенералифе и следом за сычом затемно углубился в горы.

Там он держал совет с проводником, куда им лучше направиться.

– По моему разумению, – сказал сыч, – нам надо сперва добраться до Севильи. Да будет тебе ведомо, что много лет назад я гостил там у дяди, знатного и властного филина, который проживал в развалинах городской крепости. Летая ночами над городом, я часто замечал свет в уединенной башне. Наконец я однажды присел на парапет и увидел, что внутри, возле горящего светильника, сидит, обложившись колдовскими свитками, арабский звездочет, а на плече у него – старинный его наперсник, древний ворон, вывезенный из Египта. Я знаком с этим вороном и обязан ему немалой толикой своих познаний. Звездочет давно в могиле, но ворон обитает все там же; долголетие этих птиц поистине изумительно. И не мешало бы тебе, о царевич, пойти к этому ворону, ибо он – вещун, чародей и сведущ в чернокнижии, как и все вороны, а особенно египетские.

Беглецу этот мудрый совет пришелся очень по душе, и решено было идти в Севилью. Уважая обычай спутника, царевич шел только ночью, а днем отдыхал в какой-нибудь

темной пещере или полуразрушенной дозорной башне: сыч знал наперечет все укромные места, ценил всякую древность и обожал развалины.

Однажды утром, на рассвете, они завидели стены Севильи, и сыч, не выносивший коловращения и сутолоки людных улиц, остался за городом и присмотрел себе удобное дупло.

Царевич вошел в ворота и вскоре был у волшебной башни, которая высилась над городскими домами, как пальма над кустарником пустыни; эта башня стоит и сейчас и называется Хиральда, знаменитая севильская мавританская башня.

Царевич взшел на башню длинной-длинной винтовой лестницей и увидел ворона-чернокнижника, древнего, загадочного, поседелого, в облезлом оперенье и с бельмом на глазу – словом, сущий призрак. Он стоял, поджав негу и склонив голову набок, вперившись зрячим глазом в чертеж на каменном полу.

Царевич приблизился к нему с робостью и почтением, подобающими древним летам и нездешней мудрости.

– Позволь, о старейший и многоумный ворон, – промолвил он, – на миг прервать твои ученые занятия, которым дивится весь мир. Пред тобою зарочник любви, и мне нужен твой совет, как отыскать ту, кому я принес свои зарок.

– Иными словами, – сказал ворон с важным видом, – ты ищешь искусного хироманта. Протяни ладонь, и я разгадаю таинственные начертанья твоего жребия.

– Прости меня, – сказал царевич, – но я пришел не затем, чтобы проникать взором судьбу, которая, по милости Аллаха, сокрыта от глаз смертных; меня выслала в путь любовь, и я ищу ту, которая положит конец моими скитаньям.

– Неужели ее так трудно найти в любвеобильной Андалузии? – спросил старый ворон, хитро сощурив единственный глаз. – А уж здесь-то, в развеселой Севилье, где черноглазые красотки отплясывают самбру в каждой апельсиновой роще?

Царевич зарделся: его слегка покорило, что дряхлая птица, стоя одной ногою в могиле, выказывает такое легкомыслие.

– Поверь, – строго сказал он, – я вовсе не какой-нибудь беспутный бродяга. До черноглазых андалузянок, что пляшут в апельсиновых рощах у Гвадалквивира, мне нет никакого дела. Я разыскиваю неведомую и непорочную красу, ту, которая изображена вот на этом портрете; и заклинаю тебя, о могущественный ворон, помоги мне, если можешь, наукою или ведовством, скажи мне, как ее найти?

Почувяв в словах царевича укоризну, седоголовый ворон насупился.

– Юные красавицы, – сухо отвечал он, – ко мне касательства не имеют. Я прилетаю к согбенным летам старцам, а не к прелестным девицам; я – провозвестник судьбы; я каркаю с кровли о близкой смерти и хлопаю крыльями у одра болезни. Спрашивай у других про свою неведомую красу.

– У кого же и спрашивать, как не у мудрецов, углубленных в Книгу судеб? Знай еще, что я – царевич, что жребий мой возвестили звезды и что от успеха моих сокровенных поисков зависит, может статься, судьба царств.

Услышав, что дело это немаловажное и предначертанное звездами, ворон повел себя иначе и с глубоким вниманием выслушал всю повесть царевича. Когда тот закончил, он произнес:

– Сам я не могу помочь тебе дознаться, что это за царевна, ибо я не летаю по садам и не заглядываю в беседки, а отправляйся-ка ты в Кордову, к пальме великого Абдаррахмана возле главной мечети; под пальмой увидишь знаменитого путешественника, который побывал во всех странах и при всех дворах, баловня цариц и царевен. Он тебе скажет, где найти твою.

– Спасибо тебе за эти бесценные сведения, – сказал царевич. – Прощай, о почтеннейший чародей.

– Прощай, влюбленный скиталец, – сухо отозвался ворон и снова углубился в

нескончаемые размышления над чертежом.

Царевич покинул Севилью, разыскал спутника-сыча, который по-прежнему дремал в своем дупле, и пошел в Кордову.

Он шел висячими садами, апельсиновыми и лимонными рощами над прекрасной долиною Гвадалквивира. У ворот Кордовы сыч забрался в расселину стены, а царевич побрел на поиски пальмы, посаженной в незапамятные дни великого Абдаррахмана. Она росла посреди главного двора мечети, возвышаясь над апельсинами и кипарисами.

По аркадам кучками сидели дервиши и факиры, и правоверные цепочкой шли в мечеть, совершив пред тем омовение у фонтанов.

Возле пальмы стояла толпа и слушала чьи-то бойкие речи. «Это, наверно, и есть великий путешественник, который откроет мне, где найти неведомую царевну», – сказал себе царевич. Он замешался в толпу и с изумлением обнаружил, что слушают они самодовольного попугая в зеленом полукафтанье, с дерзким взглядом и горделивым хохолком.

– Как это так? – спросил царевич у соседа. – Что за удовольствие почтенным людям слушать, как тараторит болтливая птица?

– Слова твои обличают неведение, – отозвался тот. – Это же потомок знаменитого персидского попугая, прославленного рассказчика. С языка его льется вся мудрость Востока, стихами он так и сыплет. Он побывал при дворах многих чужеземных государей и всюду прославился ученостью. А женский пол в нем просто души не чает, да оно и понятно: такой ученый попугай и вдобавок знаток поэзии!

– Превосходно, – сказал царевич. – Мне нужно переговорить с глазу на глаз с этим знаменитым путешественником.

Он отозвал попугая в сторону и поведал ему о цели своего странствия. Едва он начал, как попугай разразился сухим, трескучим смехом и хохотал до слез и чуть не до колик.

– Прошу прощенья, – еле выговорил он, – но при слове «любовь» меня всегда разбирает хохот.

Царевича покорила эта неуместная веселость.

– Разве не любовь, – сказал он, – есть великое таинство природы, сокровенная основа жизни, скрепа мирозданья?

– Что за вздор! – прервал его попугай. – С чьих это слов ты порешь такую чувствительную чушь? Помилуй, любовь совершенно вышла из моды, остроумные и благовоспитанные люди о ней и говорить-то стыдятся!

Царевич вздохнул, вспомнив, как говорил о любви друг его голубь. Ну что же, подумал он, этот попугай привык жить при дворе, он ставит превыше всего острословие и тонкое воспитание – и знать не знает, что такое любовь. Чтoб не слышать больше насмешек над чувством, переполнявшим его сердце, он перешел прямо к делу.

– О утонченнейший попугай, – сказал он, – ты, допущенный в тайная тайных, лицезрел в своих странствиях столько неведомых миру красавиц; скажи мне, знакома ли тебе та, с которой писан этот портрет?

Попугай взял медальон коготками, склонил голову на один бок, потом на другой, поднес портрет к одному, потом к другому глазу.

– Клянусь честью, – сказал он, – прелестное личико, просто прелестное; но, перевидав на своем веку столько прелестных женщин, трудно припомнить... хотя погоди – бог ты мой! дай-ка еще погляжу – ну, конечно, это королева Альдегонда: могу ли я забыть свою любимицу!

– Королева Альдегонда! – повторил за ним царевич, – а как же ее отыскать?

– Тихо, тихо, – сказал попугай. – Отыскать можно, заполучить труднее. Она – единственная дочь христианского короля, чей престол в Толедо, и до семнадцати лет ее держат затворницей – что-то там напредсказывали болваны звездочеты. Увидать ты ее

не увидишь: к ней никому нет доступа. Меня, правда, пригласили поразвлечь ее – и ручаюсь тебе словом видавшего виды попугая: знал я королевен куда глупей, чем она.

– Теперь вот что, мой дорогой попугай, – сказал Царевич. – Я наследник престола и в один прекрасный День взойду на него. Я вижу, какая ты даровитая птица, вижу, как ты знаешь свет. Помоги мне добиться Руки этой королевны, и я дам тебе видное место при Дворе.

– Идет, – сказал попугай, – только, пожалуйста, чтоб ничего не надо было делать, а то наш брат умник работы не любит.

Сборы были недолгие: царевич вышел из Кордовы теми же воротами, призвал сыча из расселины, представил его их новому спутнику как ученого собрата, и они пустились в путь.

Продвигались они куда медленнее, чем хотелось нетерпеливому царевичу; но попугай привык к светской жизни и не любил, чтоб его рано будили. А сыч, напротив, засыпал в полдень и спал до вечера. Его вкус к древности тоже был помехой, ибо он не пропускал без привала и осмотра ни одной развалины и рассказывал о каждой старой башне и замке длинные, невероятные истории.

Царевич ожидал, что ученые птицы быстро сдружатся, но тут он ошибся, как никогда в жизни. Они вздорили беспрерывно. Один был острослов, другой – философ. Попугай читал стихи, бранил нынешние вкусы и был сугубо щепетилен в ученых тонкостях; сыч в грош не ставил все его познания и признавал из наук одну метафизику. На это попугай отвечал песенками, остротами и насмешками над чинным собратом и сам же до упаду смеялся своим шуточкам; сыч почитал это все крайне оскорбительным, сердился, дулся, мрачнел и замолкал на целый день.

Царевича эти ссоры не задевали: он был погружен в мечтания и любовался портретом прекрасной королевны. Так они миновали угрюмые перевалы Сьерры-Морены, пересекли выжженные равнины Ла Манчи и Кастилии и пошли берегом «Золотого Тахо», расчертившего своими колдовскими изгибами пол-Испании и Португалию. Наконец вдали показались неприступные стены и башни, выстроенные на скалистом отроге, подошву которого огибает, ярясь и буйствуя, Тахо.

– Взгляни, – воскликнул сыч, – вот древний достославный град Толедо: он весь овеян стариной. Взгляни на эти обомшелые купола и башни, сказочно-величавые; многие и многие мои предки провели там жизнь в размышлениях.

– Тьфу, пропасть! – крикнул попугай, прерывая степенные восторги приверженца старины, – да что нам за дело до твоих древностей, сказаний и предков? Взгляни лучше вон туда, на обитель юности и красоты, – там, о царевич, обитает твоя ненаглядная королевна.

Царевич поглядел – и увидел зеленый луг в излучине Тахо и пышный дворец среди куш сказочного сада. Так и описывал ему голубь то место, где он впервые видел королевну с портрета. Царевич смотрел как замороженный, не пытаясь унять сердце: «Может быть, сейчас, – думал он, – прекрасная королевна резвится в тех вон тенистых кушах, или легкою стопой проходит по той террасе, или отдыхает под теми высокими сводами!» Приглядевшись, он заметил, что стены вокруг сада очень высокие, перебраться через них будет нелегко; а вдоль стен прогуливается вооруженная стража.

Царевич повернулся к попугаю.

– О благовоспитаннейший из пернатых, – сказал он, – ты владеешь человеческой речью. Лети же в сад; отыщи мою обожаемую и скажи ей, что царевич Ахмед, влюбленный скиталец, ведомый звездами, пришел за нею на цветущие берега Тахо.

Гордый таким порученьем, попугай полетел к саду, шутя миновал высокую стену и, покружив над лугами и рощами, уселся на перила балкончика над рекой, заглянул в окно просторной беседки и увидел королевну. Облокотившись на ложе, она не

отрывала глаз от листа бумаги, и слезы одна за другой струились по ее бледным щекам.

Пригладив перья, одернув ярко-зеленый полукафтан и взбив хохолок, попугай перепорхнул внутрь, уселся, как велит этикет, и сказал умильным голосом:

– Осуши слезы, о прекраснейшая королевна, сейчас я утешу твое сердце.

Услышав чей-то голос, королевна изумленно обернулась и увидела всего-навсего птичку в зеленом: она подпрыгивала и кланялась.

– Увы, – сказала она, – какого утешенья ждать от тебя, от попугая?

Попугай был слегка уязвлен.

– Я утешил в свое время немало прелестных дам, – заметил он, – но не о том речь. Нынче я – царский посол. Знай, что гранадский царевич Ахмед явился за тобой на цветущие берега Тахо.

Глаза прекрасной королевны заблистали ярче брильянтов ее диадемы.

О чудеснейший попугай, – сказала она, – поистине утешны мне твои вести, ибо я слабела, чахла и была едва не при смерти от сомнений в постоянстве Ахмеда. Лети же назад и скажи ему, что его письмо до последнего слова запечатлено в моем сердце, а стихи его напитали мою душу. И еще скажи, пусть он готовится отстоять свою любовь. Завтра, в день моего семнадцатилетия, отец мой устраивает большое состязанье королевичей, и моя рука будет наградой победителю.

Попугай полетел обратно напрямик через густые рощи и вскоре достиг того места, где с нетерпением ждал его царевич. Восторг Ахмеда, который обрел въяве обожаемую незнакомку с портрета и она оказалась нежной и преданной ему, понятен будет лишь тем счастливым, у кого воочию сбывались мечтанья, кто осязал возлюбленную тень. Однако радость его была омрачена вестью о близком турнире. В самом деле, на берегах Тахо уже сверкало оружие и пели трубы множества рыцарей, которые с пышной свитой спешили в Толедо на объявленное состязанье. Та же звезда, что правила судьбою Ахмеда, оберегала королевну: семнадцать лет она прожила взаперти, хранимая от нежной страсти. Но молва о ее прелести от того лишь разрасталась. Сыновья могущественных королей спорили о ее руке, и отец ее, государь на редкость прозорливый, чтоб не заводить себе врагов, предложил им самим решить спор оружием. Некоторые из соперников славились силой и доблестью. Что было делать злополучному Ахмеду без воинского снаряжения и без рыцарской сноровки?

– Несчастный я царевич! – сказал он. – Ведь я вырос в одиночестве на попеченье философа. А какой прок от алгебры и философии в делах любви? Ах, Эбен Бонаббен! Как же ты пренебрег моей ратной выучкой?

На это откликнулся сын, начав речь благочестивым возгласом, ибо он был ревностный мусульманин.

– Аллах акбар! Велик Аллах! – провозгласил он. – Ему подвластны все тайны мира – один он вершит судьбу государей! Знай, о царевич, что край этот полон сокрытых чудес, ведомых лишь тем, кто, подобно мне, стяжает познания во тьме. Знай же, что в окрестных горах есть пещера, в пещере – железный стол, на столе – волшебный доспех, а возле стола – околдованный конь, спрятанный там давным-давно.

Царевич так и замер в изумлении, а сын, хлопая круглыми глазами и топорща совы рожки, продолжал:

– Много лет назад я был в этих краях с отцом, который облетал свои владения, и мы остановились там в пещере; тогда-то я и был посвящен в ее тайну. Семья наша хранит предание, в малолетстве слышанное мною от деда, будто доспех этот принадлежал мавританскому чародею, который укрылся в пещере после захвата Толедо христианами и умер в ней, оставив коня и доспех под особым заклатьем: они доступны лишь мусульманину, и только от восхода солнца до полудня. И кто облачится в доспех и сядет на коня, тот одолеет любого противника.

– Довольно, пойдем искать эту пещеру! – вскричал Ахмед.

Вход в пещеру отыскался на дикой каменистой круче, каких много в окрестностях Толедо: он был далеко в стороне от всех троп, и различить его мог разве что глаз мышелова – или археолога. Могильная лампада, заправленная вечным маслом, разливала бледный свет. На железном столе посреди пещеры был разложен волшебный доспех, к столу прислонено копьё, а рядом стоял арабский скакун, снаряженный в бой и недвижимый, как статуя. Чистый стальной блеск доспеха не потускнел от времени; конь был словно только что с пастбища, и, когда Ахмед потрепал его по шее, он ударил копытом и заржал так, что содрогнулись стены пещеры. Теперь царевич мог явиться на завтрашний турнир «в броне, при оружьи, на добром коне».

И вот настало роковое утро. Ристалище разбили на равнине прямо у подножия скал под стенами Толедо, возле которых сооружены были подмостки и галереи для зрителей, усталые богатыми коврами и защищенные от солнца шелковыми навесами. На этих галереях восседали все красавицы здешнего края, а внизу гарцевали рыцари в пернатых шлемах со своими пажами и оруженосцами; и надменной других были королевичи, приехавшие сразиться за бесценную награду. Но все красавицы здешнего края померкли, когда рядом с отцом появилась королева Альдегонда, впервые представшая взорам людским. При виде ее несказанной прелести толпу охватил ропот восхищения, а у королевичей, привлеченных на турнир одной молвой о ее красоте, вдесятеро прибыло решимости биться.

Королева, однако, была беспокойна. Щеки ее вспыхивали и бледнели, тревожный взгляд пробегал по пернатому сборищу рыцарей и устремлялся вдаль. Трубы вот-вот должны были призвать к первому поединку, когда герольд возвестил прибытие неизвестного витязя; и Ахмед проехал по ристалищу. Его стальной шлем в самоцветах был понизу обмотан тюрбаном, на панцире – золотая насечка; сабля и кинжал фесской работы горели драгоценными камнями. У плеча его висел круглый щит, в руке он сжимал заколдованное копьё. Расшитый чепрак его арабского скакуна достигал земли, а гордый конь дыбился, фыркал и ликующе ржал в предвкушении битвы. Изящная и горделивая осанка царевича радовала глаз, а когда было объявлено, что прозвание его – Влюбленный Скиталец, легкий гомон пробежал по галереям.

Но к состязаниям его допускать не хотели: они для одних королевичей, сказали ему. Он назвался. Еще того хуже: не мусульманам тягаться о руке христианской королевы.

Его окружили надменные и враждебные королевичи-соперники, и один из них, дерзкого вида и могучего сложения, стал глумиться над его юношеской хрупкостью и вышучивать его амурное прозвание. Царевич вскипел и вызвал его на поединок. Они разъехались, помчались и сшиблись; и задетый острием волшебного копья дюжий насмешник вмиг вылетел из седла. Этого бы и достаточно, но не тут-то было: бешеный конь и неумное копьё, раз оказавшись в деле, продыху не давали. Арабский скакун врезался в гущу всадников, копьё разило направо и налево, кроткий царевич как вихрь носился по полю, сокрушая встречных и поперечных, рыцарей и свиту, ошеломленный своими невольными подвигами. Король возгорелся гневом, видя, как обижают его гостей и подданных. Он бросил в бой всю свою стражу – она тут же была сбита с коней. Тогда король скинул мантию, схватил щит и копьё и поскакал навстречу чужестранцу: да усташится он разгневанного государя! Увы! Его величество разделил участь подданных: ведь конь и копьё крушили вслепую. К ужасу Ахмеда, он на полном скаку сшибся с королем – и тот полетел вверх тормашками, а корона покатилась в пыли.

В это время солнце достигло зенита, и заветье вступило в силу: арабский конь пронесся по полю, перемахнул ограду, кинулся в Тахо, одолел бешеный поток, примчал оторопелого и еле живого царевича в пещеру и встал как вкопанный возле стола. Царевич с немалым облегчением спешил и сложил ратное снаряжение на прежнем месте: судьба решит, кому оно еще понадобится. Царевич сел и задумался: конь и копьё

сослужили ему такую бесовскую службу, что оставалось только горевать. Опозорив рыцарей и оскорбив самого короля, он больше не мог появиться в Толедо. И простит ли ему королева это буйство и свирепость? Он вконец извелся и выслал на разведку своих крылатых помощников. Попугай облетел все площади, все людные места и вскоре вернулся с ворохом новостей. В Толедо невероятный переполох. Королеву унесли во дворец без чувств; турнир отменили; все наперебой толкуют о внезапном появлении, невероятных подвигах и странном исчезновении мусульманского витязя. Одни говорят, что это мавританский колдун, другие называют его дьяволом в личине человека, третьи вспоминают преданья о зачарованных воинах в горных пещерах, один, мол, из них сделал вылазку. Но все согласны, что простому смертному не под силу одолеть разом столько испытанных и доблестных христианских воителей.

Сыч полетел ночью и парил над темным городом, присаживаясь на крыши и трубы. Потом он взмыл к королевскому дворцу на скалистой вершине толедской горы и пролетелся по террасам и парапетам, подслушивая у каждой щели и уставляя в каждое освещенное окно свои вытарашенные глазищи, так что несколько фрейлин попадали в обморок. Над горами уже серел рассвет, когда он воротился и рассказал царевичу обо всем виденном.

– Обследова одну из самых высоких дворцовых башен, – сказал он, – я увидел за окном прекрасную королеву. Она возлежала, а кругом толпились служанки и лекари, но она отвергала все утешения и снадобья. А когда ее оставили одну, она достала укрытое на груди письмо, читала его, целовала и горько сетовала; даже я, философ, поневоле был весьма растроган.

Эта весть поразила Ахмеда в самое сердце.

– Как ты был прав, о мудрый Эбен Бонаббен! – воскликнул он, – да, горе, тяготы и бессонные ночи – вот удел влюбленных. Упаси Аллах королеву от этого страшного несчастья по имени любовь!

Новые известия из Толедо были в том же духе. Город охвачен смятением и тревогой. Королева пребывает в главной дворцовой башне, и все подходы к ней усиленно охраняются. Ее неведомо отчего снедает тяжкая печаль – она отказывается от пищи и не внемлет увещаниям. Искуснейшие врачи ничего не могут поделать; в народе полагают, что ее околдовали, а король объявил, что исцелитель ее получит в награду любое сокровище из королевской казны.

Когда об этом услышал сыч, дремавший в углу, он стал вращать глазищами и напустил на себя самый загадочный вид.

– Аллах акбар! – возгласил он. – Счастлив же тот, кто ее исцелит, если он знает, что просить в награду!

– В чем смысл твоих слов, почтеннейший сыч? – спросил Ахмед.

– Внемли же мне, о царевич. Да будет тебе ведомо, что наша совиная порода славится ученостью и привержена темным и кропотливым изысканиям. Летаючи меж толедскими куполами и башнями, я ненароком попал на совье археологическое собрание, проходившее, как у них заведено, в большой сводчатой башне, где хранится королевская казна. Обсуждались виды старинных драгоценностей, надписи и узоры на них, а также на золотых и серебряных сосудах, ибо казна изобилует сокровищами разных веков и стран. В особенности же речь шла о реликвиях и талисманах, пребывающих в сокровищнице со времен Родериха Готского. Среди таковых находится сандаловый ларец со стальной оковкой восточной работы, покрытый тайнописью, ведомой лишь избранным. Ларец и надпись на нем не впервые занимали ученое собрание: вокруг них давно велись долгие и веские диспуты. Но как раз при мне докладывал, сидя на крышке ларца, древний филин, недавно прилетевший из Египта. Он прочел и истолковал надпись, доказав, что ларец содержит шелковый покров с престола Соломона премудрого; привезли же его в Толедо, разумеется, евреи,

рассеявшиеся по свету после падения Иерусалима.

Когда сын закончил свой диковинный рассказ, царевич погрузился в задумчивость.

– Мудрый Эбен Бонаббен, – сказал он затем, – говорил мне о чудесных свойствах этого покрыва, который бесследно исчез после падения Иерусалима, и считалось, что он пропал навеки. Толедские христиане о нем, конечно, ничего не знают. Если я раздобуду этот покров, то счастье мое обеспечено.

На другой день царевич снял дорогое платье и переоделся простым бедуином. Он осмуглил лицо ореховым маслом, и никто не признал бы в нем блестящего витязя, который учинил такой разгром своими потрясающими подвигами. С посохом в руке, котомкой на боку и с маленькой пастушеской свирелью он отправился в Толедо, подошел к воротам королевского дворца и объявил, что хочет попытаться исцелить королевну и получить награду. Стража чуть его не побила. «Куда ты лезешь, нищий бродяга, – сказали ему, – ежели самые ученые люди и те бьются без толку?» Однако шум услышал король и велел привести араба к нему.

– Достославный король, – сказал Ахмед, – пред тобою бедуин, который почти всю жизнь провел в глуши пустыни. В этой глуши, как известно, кишат демоны и злые духи: они осаждают нас, бедных, одиноких пастухов, портят наши табуны и стада и подчас беснуют даже мирного верблюда. Мы отгоняем их музыкой, и есть у нас старинные, от века хранимые напевы, ненавистные злым духам: они бегут от голоса и музыки. Наш род славен пением, и я вполне владею семейным искусством. Если на твою дочь колдовством навели порчу, то я ручаюсь головой, что избавлю ее от наваждения.

Король был человек умный и знал о тайных искусствах арабов, к тому же его обнадежила уверенная речь царевича. Он тотчас провел его к высокой башне, где за семью запорами, на самом верху, были покои королевны. Распахнутые окна выходили на террасу, откуда виден был весь город Толедо с окрестностями. На окнах были темные занавеси: ведь в покое лежала королевна, больная неисцелимой тоской.

Царевич уселся на террасе, поднес свирель к губам и сыграл несколько однозвучных арабских напевов, которым научился у своих слуг во дворце Хенералифе. Королевна лежала по-прежнему безучастно, и врачи вокруг нее покачивали головами с недоверчивой и презрительной усмешкой; наконец царевич отложил свирель и пропел стихи из своего любовного письма.

Королевна узнала слова, и сердце ее восторженно затрепетало, она подняла голову и прислушалась; слезы подступили к глазам и хлынули по щекам; грудь бурно вздымалась от волненья. Ей хотелось попросить, чтобы певца пустили к ней, но девическая робость удерживала ее. Король угадал ее желание, по его знаку Ахмеда провели в покой. Влюбленные были осторожны: они лишь обменялись взглядами, но глаза их сказали друг другу все. Целебная сила музыки была доказана. Нежные щеки королевны озарил румянец, губы заалели, угасшие глаза вспыхнули томным сиянием.

Медики недоуменно переглянулись. Король взирал на арабского менестреля с почтительным изумленьем.

– О дивный юноша! – воскликнул он, – отныне ты станешь главным моим придворным врачом, ибо твое пение исцеляет лучше всяких лекарств. Получи же свою награду – драгоценнейшее сокровище моей казны.

– О король, – отвечал Ахмед, – не нужно мне ни серебра, ни золота, ни дорогих камней. Но со времен мусульман, бывших властителей Толедо, в сокровищнице твоей хранится сандаловый ларец, а в нем – шелковый покров, дай мне этот ларец, и больше ничего не надо.

Просьба араба показалась всем на удивленье скромной, и удивленье еще возросло, когда был принесен сандаловый ларец и из него извлекли покров – полотнище тонкого зеленого шелка в еврейских и халдейских письменах. Лейб-медики снова

переглянулись и пожали плечами, ухмыляясь простоте новоявленного собрата, который так мало берет за лечение.

– Этот покров, – сказал царевич, – когда-то устилал престол Соломона премудрого, и не зазорно расстелить его под ногами красавицы.

Сказав так, он расстелил покров на террасе, под сиденьем королевны. Царевич сел у ее ног.

– Кто, – молвил он, – противостоянет начертанному в Книге судеб? Воочию сбываются предсказания звездочетов. Знай, о король, что мы с твоей дочерью давно уж втайне любим друг друга. Ты лицезрел Влюбленного Скитальца!

Едва он проговорил это, как покров взлетел в воздух, унося на себе царевича и королевну. Разинув рты, оцепенев, король и медики глядели ему вслед, пока он не стал пятнышком на белом облаке, а потом растаял в синеве небосвода.

Разгневанный король призвал казначея.

– Как ты допустил, – закричал он, – чтоб какой-то сарацин завладел нашим талисманом?

– Увы, государь, мы не знали, что это такое: ведь надпись на ларце никто не мог прочесть. Если это и вправду покров с престола Соломона, то он наделен волшебною силой и переносит владельца по воздуху.

Король собрал большое войско и двинулся за беглецами в Гранаду. Путь был долгий и нелегкий. Став лагерем в Веге, он отправил герольда с требованием возвратить дочь. В ответ навстречу ему вышел сам царь, и с ним весь его двор. Царь оказался давешним менестрелем, ибо Ахмед по смерти отца наследовал трон, а прекрасная Альдегонда стала его супругою.

Христианский король был убогаторен уже тем, что дочь его осталась в прежней вере: он не отличался особым благочестием, но, как всякий государь, требовал достодолжного уважения к своей религии во имя этикета. Вместо кровавых битв пошли празднества и увеселения, и довольный король возвратился в Толедо, а молодая чета жила себе в Альгамбре, и царствие их было праведное и благополучное.

Остается добавить, что сыч и попугай порознь и без спешки последовали за царевичем в Гранаду: один летел ночами, а днем отдыхал в наследственных поместьях, другой развлекал по дороге все грады и веси.

Ахмед по-царски отблагодарил их за оказанные услуги. Он сделал сыча своим визирем, а попугая – главноуправляющим благочиния. И само собой понятно, что ни одно царство не управлялось так мудро и ни при одном дворе не было такого строгого порядка.

Прогулка в горах

На склоне дня, когда жара спадала, я часто подолгу прогуливался по окрестным горам и глубоким тенистым лощинам в сопровождении своего оруженосца-историографа Матео, которому давал вволю поболтать, и о каждой скале, развалине, заросшем фонтане и одиноком овражке у него была наготове какая-нибудь удивительная история – чаще всего легенда с золотой начинкой: от щедрого сердца раздавал он клады направо и налево.

Однажды во время такой прогулки Матео был еще общительнее обычного. Перед закатом мы вышли из больших Врат Правосудия и спустились темною аллейкой к смоквам и гранатам у подножия Семиярусной Башни, той самой, откуда, говорят, выехал Боабдил, когда сдавал свою столицу. Здесь, указав на низкий сводчатый проход в подстенке, Матео поведал мне об ужасном привидении не то нежити, которая, по слухам, водится в этой башне еще со времен мавров и стережет сокровища

мусульманского царя. Иногда, в самую глухую ночную пору, она вылезает и рыщет по аллеям Альгамбры в облике безголовой лошади, за которой со злобным лаем и визгом гонятся шесть яростных псов.

– А ты сам часом не натыкался на это привидение, Матео, как-нибудь эдак гуляючи? – спросил я.

– Нет, сеньор, благодаренье Создателю! А вот мой дед-портной, тот знал даже нескольких, которые его видали, тогда ведь оно вылезало куда чаще, чем нынче, – то в одном облике, то в другом. В Гранаде все слыхали про Бельюдо: бабки и няньки пугают им плаксивых детей. Говорят, будто это призрак злого мавританского царя, который убил и схоронил здесь в подвалах шесть своих сыновей – вот они в отместку и гоняются за ним по ночам.

Я уж не стану приводить во всех подробностях бесхитростные рассказы Матео об этом мрачном призраке он и в самом деле давным-давно пробрался в детские сказки и народные предания Гранады, и о нем почтительно упоминает в своей книге один престарелый летописец и топограф здешних мест.

Миновав зловещую башню, мы обошли краем плодоносные сады Хенералифе, где в переливных трелях заходились два или три соловья. За садами были мавританские водоемы: в глубине одного из них виднелся закрытый люк, прорубленный в скале. На эти водоемы, сообщил Матео, он мальчишкой бегал купаться с приятелями, но потом их напугал рассказ про страшного мавра, который выглядывает из люка и затягивает в глубь горы неосторожных купальщиков.

Наводненные призраками бассейны тоже остались позади, мы поднимались извилистой вьючной тропой, и вскоре нас обступили дикие и унылые горы в редких пучках тощей травы. Кругом все было сурово и убого, и с трудом верилось, что мы едва отошли от фруктовых садов и садовых террас Хенералифе и что поблизости лежит чудная Гранада, город рощ и фонтанов. Но такова уж природа Испании: чуть не возделанная, она дичает и скудеет; пустыня и сад соседствуют здесь от века.

Теснина, из которой мы выбирались, называется, по словам Матео, el Barranco de la Tinaja – Кубышкино ущелье, потому что здесь в давние времена нашли кубышку с мавританским золотом. В голове у бедняги Матео всегда вертелись золотиносные рассказы.

– А что за крест в глубине ущелья, вон на той куче камней?

– Это так, это здесь несколько лет назад убили погонщика.

– Что ж, Матео, значит, разбойники и убийцы хозяйничают у самых ворот Альгамбры?

– Сейчас нет, сеньор, это раньше, когда в крепости было полно всяких бродяг; но их всех повыгнали. Правда, что и цыгане, которые живут по землянкам на горе за крепостью, тоже народ бедовый, но убийств у нас давно уже не бывало. А того, кто убил погонщика, вздернули в крепости.

Мы все поднимались ущельем, и слева торчала крутоверхая скала по имени Silla del Mago – Сиденье Мавра, – я уже писал, что, по преданию, злосчастный Боабдил бежал сюда во время народного возмущения и целый день просидел на этом утесе, печально глядя вниз на мятежный город.

Наконец мы взошли на крайнюю вершину горного отрога, возвышающегося над Гранадой; вершина эта называется Солнечной Горою. Надвигался вечер: заходящее солнце уже тронуло золотом самые высокие пики. Там и сям видны были пастухи, по откосам отгонявшие стада на ночь, и погонщики с медлительными мулами, рассчитывавшие горною тропой засветло добраться до городских ворот.

Скоро ущелья огласились гулким звоном: соборный колокол звал на молитву. Ему откликнулись все церковные и сладкозвучные монастырские колокола. Пастухи замерли на склонах, погонщики на тропах: всякий обнажил голову и стоял неподвижно,

бормоча вечернюю молитву. В этом обычае есть торжественное очарование: по звучному призыву все обитатели страны в едином хоре возносят благодарение Господу за дневные щедроты. Словно покров благодати простирается над землею, и пышное зрелище закатного солнца немало прибавляет к торжественности мига.

В этом диком и глухом месте впечатление было особенно сильное. Мы стояли на голой, каменистой вершине, населенной призраками Солнечной Горы, где растрескавшиеся бассейны и водоемы и осыпающиеся руины обширных строений напоминали о былом многолюдстве, но теперь здесь царили тишь и запустение.

Блуждая среди останков прежних времен, мы наткнулись на круглую шахту, глубоко ухोдившую в горные недра; Матео сказал, что это здешняя загадка и диковина. Я было предположил, что неутомимые мавры вдавливались в камень и строили колодец, чтобы добыть свой любимый первоэлемент в изначальной чистоте, но у Матео было другое объяснение, в его вкусе. По преданью, которому твердо верили его отец и дед, это был вход в горные пещеры, где Боабдил и весь его двор спят очарованным сном и в урочные часы выходят навестить свои прежние обиталища.

– Ах, сеньор, на этой горе что ни шаг, то диво. В другом месте была такая же яма, и в ней раньше висел на цепи железный котел; никто не знал, что в этом котле, он был с крышкой; но все думали, что он полнехонек мавританского золота. Многие пробовали его вытянуть, с виду-то это было легко, но как его тронешь, так он проваливался в самую глубину; побудет там, а потом снова появится. Один понял, что он заколдованный, и тронул его крестом, чтоб разрушить заклятие, и разрушил, потому что котел совсем провалился и больше не показывался.

И все это чистая правда, сеньор; дедушка мой видел это своими глазами.

– Как, Матео, своими глазами видел этот котел?

– Нет, сеньор, он видел яму, в которой котел висел.

– Ну, Матео, это то же самое.

Темнеет здесь быстро, и мы покинули эту обитель призраков в густеющих сумерках. Спускаясь к ущелью, мы уже не видели ни пастухов, ни погонщиков и слышали только собственные шаги да одинокое верещанье кузнечика. Ночная тень становилась все гуще, и скоро вокруг нас сомкнулась темнота. Лишь на возвышенных вершинах Сьерра-Невады еще медлил отблеск дня: снежные пики светились на темно-синем небосклоне, и хрустально-чистый воздух скрадывал их дальность.

– Как близко нынче кажется сьерра! – сказал Матео. – Прямо рукой подать, а ведь до нее далеко-далеко, много миль.

В это время над снежным хребтом зажглась первая звезда, такая чистая, такая огромная, яркая и дивная, что простосердечный Матео разразился восторженными возгласами:

– Que estrella hermosa! Que clara y limpia es! No pueda ser estrella mas brillante! (Какая красивая звезда! Какая светлая и ясная! Она ярче всех звезд на свете!)

Я часто замечал эту отзывчивость испанских простолюдинов к очарованию природы. Сиянье звезды, прелесть и аромат цветка, кристальная чистота фонтана – все вдохновляет их поэтическим восторгом; да, но какими благозвучными словами наделен их величавый язык, дающий выход вдохновенью!

– А что это за огоньки, Матео, мерцают там, на Сьерра-Неваде, под самыми снегами? Я бы принял их за звезды, только они какие-то красноватые и ниже линии небес.

– Это костры, сеньор, их разводят гранадские подборщики снега и льда. Каждый вечер они поднимаются туда с мулами и ослами и по очереди наполняют корзины и греются у костров. Потом они торопятся вниз, чтоб до рассвета быть уже в Гранаде. Ведь Сьерра-Невада, сеньор, – это ледяная глыба: она лежит посреди Андалузии и охлаждает ее в летнюю пору.

Стало совсем темно; мы шли ущельем возле креста над убитым погонщиком, и я

заметил вдали цепочку огней, которая как будто близилась к теснине. Приблизилась: вереница аляповатых фигур в черном несла чадные факелы. При виде такого шествия станет не по себе в любое время, а в этом диком и безлюдном месте было и вовсе жутковато.

Матео склонился ко мне и сообщил вполголоса, что это похоронная процессия: покойника несут на горное кладбище.

В сумрачном свете факелов грубые черты и черные одежды похоронщиков производили самое фантастическое впечатление, и просто волосы встали дыбом, когда из тьмы выхватило лик мертвеца на носилках, по испанскому обычаю непокрытого. Я оцепенело глядел, как угрюмая процессия удалялась извилистой тропой по темному склону горы, и припомнил старинный рассказ о демонском шествии с телом грешника к огненной жерловине Стромболи.

– Ах, сеньор, – воскликнул Матео, – какую я мог бы вам рассказать историю про одно шествие в этих горах, да ведь вы будете смеяться и скажете, что это все небылицы моего деда-портного.

– Вовсе нет, Матео. Больше всего на свете люблю невероятные истории.

– Так вот, сеньор, мы тут поминали подборщиков снега на Сьерра-Неваде, это про одного из них.

Надо вам знать, что много лет назад, во времена моего деда, жил-был один старик, и звали его дядя Николо; как-то раз набил он свои корзины снегом и льдом и повел мула под гору. Тут его стало клонить в сон, он сел верхом и едет себе, клюет носом и мотает головой из стороны в сторону, а его надежный старый мул ступает по скалам и кручам, спускается в ущелья – словом, бредет, не оступится, как по ровной земле. Наконец дядя Николо проснулся, осмотрелся и протер глаза – да и не даром. От луны было светло почти как днем, город внизу лежал будто на ладони и сверкал белыми дворцами и домами, как серебряный поднос; но боже мой! Сеньор, это был вовсе не тот город, который он покинул несколько часов назад! Вместо сводчатого собора с башенками, церковью со шпилями и островерхих монастырей он увидел одни мавританские мечети, минареты и купола, и вместо благословенного креста всюду блестели полумесяцы, точно как на берберских флагах. Сами понимаете, сеньор, дядя Николо изрядно растерялся, а тут еще, пока он так глазел на город, в горах показалось большое войско: оно поднималось ложбинами, извилистым путем, и то шло под луною, то уходило в темноту. Поближе стало видно, что там и конники и пешие, все в мавританских доспехах. Дядя Николо хотел как-нибудь посторониться и пропустить их, но его старый мул стоял как вкопанный и ни с места, только дрожал, словно лист: ведь бессловесные твари, сеньор, бояться таких дел не меньше нашего. И вот, сеньор, это выморочное войско прошло мимо: одни трубили в трубы, другие били в барабаны и литавры – и ни звука не раздавалось, так все и прошли без единого звука, все равно как нарисованное на полотне войско тянут через сцену в гранадском театре; и все они были бледнее смерти. А позади войска, между двух черных конников-мавров, ехал на белоснежном муле сам гранадский Великий Инквизитор. Дядя Николо удивился, что и он тут: каждая собака знала, как Инквизитор ненавидит мавров и вообще всех нечестивцев, евреев и еретиков, как он изводит их огнем и бичом. Но все же при виде святого человека у дяди Николо полегчало на душе. Только он перекрестился и попросил благословения, как вдруг на тебе! Так его толкнуло, что он со своим старым мулом кувырком покатился с кручи под обрыв! Когда дядя Николо пришел в себя, солнце стояло высоко в небе, он лежал на дне глубокого ущелья, мул щипал травку рядом, а снег в корзинах весь растаял. Он кое-как дотащился до Гранады, с головы до ног в синяках и ссадинах; спасибо, думает, хоть город какой надо, все церкви и кресты на местах. Когда он стал рассказывать про эти ночные дела, его поначалу подняли на смех: одни говорили, что ему все приснилось, коли он спал верхом на муле; другие –

что он сам все выдумал. А потом смеяться перестали и призадумались: ведь что странно, сеньор, – Великий Инквизитор-то умер в том же году! Я помню, мой дед-портной часто повторял, что уж ежели выморочное войско уводит с собой привидение священника, то за этим кроется куда больше, чем думают.

– Значит, по-твоему, выходит, друг Матео, что там, в горной утробе, что-то вроде мавританского лимба, или чистилища, и туда утащили отца инквизитора?

– Боже сохрани, сеньор! В таких делах я ничего не понимаю. Я просто рассказываю, что слышал от своего деда.

К тому времени, как Матео закончил свой рассказ, который я воспроизвел вкратце, опуская массу отступлений и множество подробностей, мы были уже у ворот Альгамбры.

Упомянутые Матео в начале нашей прогулки удивительные истории о призраке Семиярусной Башни навели меня на след полузабытых преданий, связанных с этим местом. Обрывки одного из таких преданий я кое-как собрал, с превеликим трудом сложил – и преобразовал в нижеследующую легенду, которой не хватает только ученых комментариев и сносок, чтобы войти в разряд изделий, чинно предлагаемых миру в качестве Исторических Фактов.

Легенда о наследстве мавра

Сразу при входе в крепость Альгамбры, перед царским дворцом, простирается широкая площадь, именуемая Водоемной (la Rlaza de los Algibes), ибо под нею скрыты водохранилища, устроенные еще маврами. В углу площади – мавританский колодец, прорубленный на большую глубину в сплошной скале, и вода из него холодна как лед и прозрачна как хрусталь. Мавританские колодцы вообще славятся: известно, что мавры умели дорыться до самых чистых и свежих ключей и родников. Но колодец, о котором идет речь, знаменит на всю Гранаду, и с раннего утра до позднего вечера вверх-вниз по тенистым аллеям к Альгамбре и из Альгамбры спешат водоносы – одни несут большие кубышки на плечах, другие погоняют ослов, навьюченных узкогорлыми глиняными сосудами.

Родники и колодцы с библейских времен отведены в жарких странах для сплетен и пересудов, и возле этого колодца день-деньской обретаются инвалиды, старухи и другие любознательные бездельники из числа жителей крепости. Они сидят на каменных скамейках под защитным навесом для сборщика платы, пережевывают местные толки, выспрашивают у каждого водоноса городские новости и распространяются обо всем, что слышат и видят. Подолгу торчат здесь также ленивые хозяйки и нерадивые служанки; с кувшином в руке или на голове, они жадно ловят последние пересуды в потоке нескончаемой болтовни.

Среди водоносов – завсегдатаев колодца был когда-то коренастый, широкоплечий и кривоногий человечек по имени Педро Хиль, прозванный для краткости Перехилем. Как всякий водонос, он был, конечно, родом из Галисии, проще говоря – гальего. Люди что животное: у каждой породы свое назначенье. Недаром во Франции сапоги чистят савояры и швейцары во всех гостиницах – швейцарцы, а в Англии во дни фижм и пудренных париков сыны болот – ирландцы прославились умением носить портшезы. Вот и в Испании все водоносы и просто носильщики – приземистые уроженцы Галисии. Никто здесь не скажет: «Позови носильщика», скажут: «Кликни гальего».

Но к делу. Перехиль-гальего вступил на поприще с большой глиняной кубышкой на плече; преуспев в своем ремесле, он купил себе в помощь животное потребной породы – приземистого и шерстистого осла. По бокам длинноухого собрата были навьючены корзины с двумя кубышками, прикрытыми от солнца фиговыми листьями. Перехиль был

самый усердный, а вдобавок и самый приветливый водонос во всей Гранаде. Он брел за своим ослом и весело выводил припев, который разносится летом по испанским городам: «Quién quiere agua – agua mas fria que la nieve?» («Кому воды – воды холоднее снега? Кому воды из колодезя Альгамбры – холодной как лед и прозрачной как хрусталь?») Каждый искристый стакан он подносил с учтивым словом и вызывал улыбку, а миловидным женщинам и девицам с ямочками на щеках лукаво подмигивал и отпускал неотразимые комплименты. И вся Гранада считала Перехилья-гальего учтивейшим, любезнейшим и счастливейшим из смертных. Однако не всякий весельчак и балагур живет припеваючи. И у беспечного с виду добряка Перехилья хватало своих печалей и забот. У него была уйма оборванных детишек, голодных и крикливых, как стрижата, и они кидались к нему ввечеру с разинутыми клювами. Была у него и дражайшая половина, которая и вправду обходилась ему дороговато. В девушках она была первой красоткой на деревне, лихо отплясывала болеро и прищелкивала кастаньетами; такую осталась и замужем. Скучные заработки безответного мужа уходили на безделушки, и по воскресеньям и праздникам она даже забирала у него осла, чтоб ездить на загородные гулянки; а ведь известно, что праздников в Испании больше, чем дней в неделе. К тому же она была неряха и порядочная лежебока, а уж болтушка первостатейная: кой-как одевшись, она бросала дом, хозяйство и все на свете, лишь бы всласть посудачить с соседками.

Однако у Творца и стриженую овцу ветром не продует, а покорную шею супружеское ярмо не трет. И Перехиль не роптал на свой нелегкий удел супруга и отца, как и осел его – на полные кубышки; может, он иной раз украдкой и встряхивал ушами, но своей неряхе жене никогда не выговаривал и чтил в ней хозяйку дома.

И детей он любил, как филин своих птенцов: ведь они были его размноженным образом и подобием – все крепенькие, плотно скроенные и кривоногие. Больше всего добряку Перехилью нравилось денек отдохнуть, запасшись пригоршней мараведисов, и выбраться вместе со всем своим выводком – кто сидел на руках, кто цеплялся за штанину, а кто и сам не отставал – в загородные сады; жена же его тем временем плясала и веселилась с кем попадя на тенистых берегах Дарро.

Как-то в поздний час почти все водоносы, кроме Перехилья, разошлись по домам. День выдался на редкость знойный, и теперь наступала дивная лунная ночь – такие ночи южане встречают на улицах, чтоб очнуться от жаркого дневного оцепенения и подышать полуночной прохладой. Перехиль, как заботливый и работающий отец, подумал о своих голодных детишках. «Скажу-ка я еще раз на колодец, – сказал он сам себе, – и будет малышам в воскресенье мясная похлебка». С этими словами он бодро зашагал откосом по аллее, ведущей в Альгамбру, распевая дорогою и оглаживая осла палкой по бокам – то ли в такт песне, то ли взамен корма, – ведь в Испании вьючную скотину кормят в основном колотушками.

Возле колодца было пусто, только на залитой лунным светом каменной скамье сидел какой-то пришелец в мавританском платье. Перехиль приостановился и поглядел на него с удивлением и не без опаски, а мавр медленно поманил его рукой.

– Я болен и ослаб, – сказал он. – Помоги мне вернуться в город, и я заплачу тебе вдвое против твоей выручки.

Добродушный водонос был тронут мольбой чужестранца.

– Сохрани бог, – сказал он, – чтоб я брал какую-нибудь плату за обычное дело милосердия.

Он посадил мавра на своего осла, и они не спеша побрели в Гранаду; бедняга мусульманин так обессилен, что приходилось поддерживать его, чтоб он не свалился наземь.

В городе водонос спросил, куда его отвезти.

– Увы! – проговорил мавр, – у меня здесь нет ни дома, ни пристанища, я издалека.

Приюти меня на эту ночь под своим кровом, и тебя ждет щедрая награда.

По чести, Перехилью был вовсе ни к чему гость, да еще магометанин, но по доброте своей он не мог отказать ближнему в такой напасти – и повел осла к дому. Заслышав цоканье его копыт, дети, как обычно, выскочили с разинутыми клювами, но при виде чужака в тюрбане испуганно попятились и укрылись за юбками матери. Она бестрепетно выступила вперед, словно взъерошенная наседка навстречу приبلудному псу.

– Это еще что такое! – крикнула она. – Ты зачем на ночь глядя таскаешь в дом приятелей-нечестивцев? Хочешь, чтоб за нас взялась инквизиция?

– Успокойся, жена, – отвечал гальего, – это бедный больной чужестранец, одинокий и бесприютный, не на улице же его бросать?

Жена собиралась браниться дальше: она хоть и жила в лачуге, но пуще всего на свете радела о доброй славе своего жилища; но на этот раз коротышка-водонос заупрямился и никак не сгибал шею под хомутом. Он помог бедняге мусульманину спешиться и положил ему в самом прохладном углу кошму и овчину: другой постели в доме не было.

Вскоро мавра схватили сильные корчи; Перехиль ухаживал за ним как умел, но поделаться ничего не мог. Больной следил за ним признательным взглядом. Между приступами он подозвал его к себе и чуть слышно выговаривал: «Боюсь, конец мой близок. Если умру, возьми в благодарность за милосердие эту шкатулку», – и, распахнув свой плащ-альборнос, он показал примотанную к телу сандаловую шкатулочку.

– Бог милостив, друг, – возразил сердобольный гальего, – авось еще поживешь, сам попользуешься своими сокровищами, да и какие там у тебя сокровища.

Мавр покачал головой, возложил руку на шкатулку и хотел было что-то сказать, но корчи начались с новой силой, и вскоре он испустил дух.

Тут жену водоноса словно прорвало.

– Вот тебе, – вопила она, – твое дурацкое мягкосердечие, всегда ты из-за него в дураках! Что теперь будет с нами, когда в нашем доме найдут мертвеца? Нас засадят в тюрьму за убийство и, если, спасибо, не повесят, все равно до нитки обдерут судейские и альгвасилы.

Бедняга Перехиль тоже вконец растерялся: он и сам чуть не жалел, что сделал доброе дело. Наконец его осенило.

– Время сейчас ночное, – сказал он, – я вывезу покойника за город и схороню его в песке у берега Хениля. Никто не видал, как мавр зашел к нам, никто и не узнает, что он здесь умер.

Сказано – сделано. Жена помогла ему завернуть тело злополучного мавра в ту самую кошму, на которой он скончался, вдвоем они навьючили поклажу на осла, и Перехиль отправился с нею на берег реки.

Но, как на грех, напротив водоноса жил некий Педрильо Педруго, один из самых пронырливых, болтливых и пакостливых цирюльников на свете. С лица он был сущий хорек, ножки паучьи, юла и втируша; сам знаменитый севильский цирюльник и тот не умел так залезать в чужие дела, а держалось в нем все как в решете. Про него говорили, что он спит одним глазом, наострив одно ухо, чтоб даже во сне подсматривать и подслушивать. Гранадаские сплетники в нем души не чаяли: он знал все про всех, и народу у него брилось больше, чем у его городских собратьев, вместе взятых. Этот дотошный брадобрей слышал, что Перехиль возвратился позже обычного, слышал, как галдели его жена и дети. Головка его тут же высунулась из подзорного окошечка, и он увидел, что его сосед ведет к себе какого-то мавра. Это было так необычайно, что Педрильо Педруго всю ночь не сомкнул глаз. Каждые пять минут он бегал к своему окошечку поглядеть, как сочится свет из соседских дверей, а перед самым рассветом

приметил, что Перехиль вывел осла со странной поклажей.

Любознательный цирюльник заторопился: он натянул одежонку и, бесшумно выбравшись из дому, следовал за водоносом в отдалении и видел, как тот вырыл яму в песке на берегу Хениля и схоронил там что-то очень похожее на мертвое тело.

Цирюльник поспешил домой и до рассвета не находил себе места. Потом он взял тазик под мышку и отправился к алькальд, которого брил ежеутренне.

Алькальд только что восстал ото сна. Педрильо Педруго усадил его в кресло, повязал салфетку, под ставил к подбородку тазик с кипятком и принялся умягчать пальцами его щетину.

– Ну и дела творятся на белом свете! – промолвил Педруго, от которого ждали не только бритья, но и новостей, – ну и дела! Ограбили, убили и похоронили – и все в одну ночь!

– Это как? Ты что? Где это? – вскричал алькальд.

– Я говорю, – отвечал цирюльник, орудуя куском мыла поверх его носа и рта, ибо испанский брадобрей обходится без кисточки, – я говорю, что Перехиль-гальего ограбил и убил мавританского мусульманина и в ту же ночь похоронил его. Maldita sea la noche – будь проклята злосчастная ночь!

– А ты-то это откуда знаешь? – полюбопытствовал алькальд.

– Потерпите, сеньор, сейчас вы все услышите, – обещал Педрильо, схватив его за нос и проводя бритвою по щеке. Затем он рассказал обо всем, что видел, не прерывая своего занятия: борода была побрита, подбородок вымыт и насухо вытерт грязной салфеткою, а мавр тем временем ограблен, убит и похоронен.

А этого самовластного алькальда знала вся Гранада – он был сущий кровосос, скареда и сквалыга Нельзя, однако ж, отрицать, что правосудие у него было в цене: оно отпускалось на вес золота. Он рассудил, что произошло убийство и грабеж – и выручка, надо думать, богатая: вопрос, стало быть, в том, как ее законно прибрать к рукам? Что толку, если преступник будет болтаться на виселице? А вот если добыча его достанется судье – тогда-то правосудие и восторжествует. В таких мыслях он призвал своего доверенного альгвасила – поджарого, с голодным огнем в глазах, и одетого, как испокон веков подобает его должности в Испании: в подвернутой черной бобровке, засаленных брыжах и коротком темном плаще кой-как болтавшемся на плечах; его тощее тулово облекала выцветшая черная рубаха, а в руке он держал тонкий белый жезл, грозный знак своей власти. Эта гончая древней испанской породы взяла след злополучного водоноса с таким проворством и чутьем, что бедняга Перехиль еще по пути домой был перехвачен и вместе с ослом доставлен к блюстителю правосудия.

Алькальд яростно ощерился на него.

– Дрожи, негодяй! – взревел он таким голосом, что у малорослого гальего затряслись коленки, – дрожи, негодяй! И не вздумай запираться, мне все известно. За твое преступление тебя надо вздернуть на виселицу, но я из милости готов выслушать твои оправдания. В твоём доме был умерщвлен мавр, нечестивец и враг нашей веры. Я понимаю, ты прикончил его во славу Божию, и поэтому буду снисходителен. Отдай награбленное, и мы, так и быть, замнем дело.

Бедняга водонос призвал всех святых в свидетели своей невиновности, но увы! – никто из них не явился, да если б и явились, алькальд загнал бы их обратно в святцы. Водонос правдиво и без утайки рассказал, как оно все было с мавром, но и это не помогло.

– Стало быть, ты упорствуешь, – спросил судья, – и утверждаешь, будто у этого магометанина не было ни денег, ни драгоценностей, на которые ты позарился?

– Спасением души своей клянусь, ваша честь, – отвечал водонос, – ничего у него не было, кроме сандаловой шкатулки, отказанной мне в благодарность за гостеприимство.

– Сандаловой шкатулки? Сандаловой шкатулки! – воскликнул алькальд, и глаза его

сверкнули при мысли о дорогих камнях. – А где эта шкатулка? Куда ты ее спрятал?
– С позволения вашей милости, – отвечал водонос, – она у меня там, в корзине на осле, не угодно ли, ваша честь?

Едва он это выговорил, как хваткий альгвасил уже исчез и в мгновение ока вернулся с таинственной сандаловой шкатулочкой. Руки у алькальда дрожали от нетерпения, он открыл шкатулку, все воззрились, – но Увы, никаких сокровищ там не было, только свиток пергамента, исписанный арабской вязью, и огарок восковой свечи.

Когда с подсудимого нечего взять, правосудие, Даже в Испании, становится беспристрастным. Алькальд пришел в себя после огорчения и, видя, что Прибытком здесь не пахнет, безучастно выслушал объяснения водоноса и подтверждения его жены. Убедившись таким образом в невинности Перехиля, алькальд освободил его из-под ареста и даже присудил ему шкатулку как заслуженную награду; только осел был конфискован в уплату судебных издержек.

Так что незадачливому коротышке-гальего пришлось снова таскать воду самому и ходить в гору – под гору, на колодец и от колодца Альгамбры с большой глиняной кубышкой на плече.

Когда он брел наверх в знойный полдень, привычное добродушие изменяло ему. «Вот собачий сын алькальд! – выкрикивал он. – Это же надо – разом лишить бедного человека пропитания и отобрать у него лучшего друга!» И при воспоминании о возлюбленном товарище трудов своих у него прямо сердце надрывалось. «Ах, осел ты мой милый! – восклицал он, поставив ношу на камень и утирая пот со лба. – Ах ты мой милый осел! Помнишь небось своего старого хозяина! Тоскуешь небось по кубышкам-то, ах ты бедолага!»

В довершение печалей дома его ждали вопли и причитания: жена ведь предупреждала его против такого дурацкого и такого злосчастного гостеприимства – и теперь, как истая женщина, не упускала случая напомнить ему о своей рассудительности и прозорливости. Если дети просили есть или показывали вконец заношенную одежку, она злорадно отсылала их: «Подите к отцу – он у нас наследник царя Чико, пусть он вам достанет, что надо, из своей шкатулки».

Бывало ли, чтоб судьба так наказывала человека за доброе дело? Бедняга Перехиль страдал телом и душою, но по-прежнему безропотно сносил нападки жены. Наконец однажды он особенно утомился после жаркого дня и, когда она, по обыкновению, приняла его пилить, потерял всякое терпение. Перечить ей он не рискнул, но глаза его упали на полуприкрытую сандаловую шкатулку, которая стояла на полке и словно скалилась над его несчастьями. Перехиль в сердцах схватил ее и шваркнул об пол. «Пропади ты пропадом, – сказал он, – и угораздило же меня встретиться с твоим хозяином!»

Шкатулка грохнулась, крышка отскочила, и вывалился пергаментный свиток.

Минуто-другую Перехиль сердито глядел на него, потом вдруг призадумался. «Кто его знает, – подумал он, – вдруг здесь что-нибудь важное написано, даром же мавр так его берег?» Он поднял свиток, положил за пазуху и на завтра между делом, выкрикивая обычный припев, завернул в лавочку к одному мавру из Танжера, который продавал на Закатине духи и безделушки, и попросил его объяснить, какой толк в этом пергаменте.

Мавр внимательно прочитал свиток, погладил бороду и усмехнулся.

– Это, – сказал он, – заклинание, открывающее доступ к любому запрятанному сокровищу. Написано, что перед ним не устоят самые крепкие замки и запоры, несокрушимая скала и та разверзнется!

– Вон как! – удивился коротышка-гальего, – да мне-то что до этого? Я небось не волшебник, и какой мне толк в запрятанных сокровищах?

Однако вечером, когда он в сумерках отдыхал у колодца Альгамбры, там собралась

обычная болтливая компания, и разговор, глядя на ночь, свернул к Древним сказаньям, преданьям и бывалой небывальщине. Нищий народ восторженно наполнял Альгамбру зачарованными кладами. И все сходились на том, что уж в подземельях Семиарусной Башни таятся богатства несметные.

Все эти рассказы добрый Перехиль, против обыкновения, выслушал внимательно, они запали ему в мысли и никак не выпадали, пока он одиноко возвращался темнеющими аллеями. «А вдруг и в самом деле башня таит сокровища и через этот свиток, что я оставил у мавра, я до них доберусь!» Подумав так, он подскочил и чуть не обронил свою кубышку.

Ночь он провел в тревоге и беспокойстве, глаз не сомкнув от осаждавших его мыслей. Рано утром он явился в лавку к мавру и все ему выложил. «Ты умеешь по-арабски, – сказал он, – давай пойдем вместе в башню и попробуем заклинание; не выйдет – ну и ладно, хуже не будет, а получится – тогда разделим сокровище пополам».

– погоди, – отвечал магометанин, – заклинание, конечно, заклинанием, но читать-то его нужно в полночь, при свете особой свечи, и где же мне ее изготовить, у меня и половины нет того, что ее составляет. А без свечи свитка хоть бы и не было.

– Ну, все понятно! – воскликнул коротышка-гальего. – Есть у меня эта свеча, сейчас принесу.

Он пустился домой и скоро принес огарок восковой свечи из сандаловой шкатулки.

Мавр помял ее и понюхал.

Да, – сказал он, – редкостные и дорогие ароматы сочетались с этим воском. Именно такая свеча и обозначена в свитке. Пока она горит, разверзнутся глухие стены и потаенные пещеры. Но лишь она потухнет, горе промедлившему! Он будет зачарован вместе с сокровищем.

Они решили тою же ночью испробовать заклинание. И в поздний час, когда царили нетопыри и совы, они поднялись по темному склону Альгамбры и приблизились к жуткой башне, обнесенной деревьями и защищенной сказаньями. При свете фонаря они пробрались сквозь кусты, через завалы, к потаенной башенной дверце. Содрогаясь от ужаса, они сошли по ступеням в сырой и мрачный подвал, откуда спуск вел еще глубже. Так они миновали, один за другим, четыре схода в четыре подвала; и, согласно преданию, ниже сойти было нельзя, остальные три охранялись крепким за клятьем. Воздух был сырой и могильный, и фонарь все равно что не горел. Затаив дыхание, они переждали, пока до них слабо донесся полночный удар подзорного колокола: тут они зажгли восковую свечку, и она распустила запах мирры, ладана и прочих благовоний.

Мавр стал торопливо читать. Едва он кончил, как раздался подземный грохот. Земля содрогнулась, и в полу открылась лесенка. Они с трепетом спустились по ней, и фонарь их осветил арабские письма на стенах нового подвала. Посредине его стоял большой сундук, окованный семью стальными полосами, и по обе стороны сундука сидели зачарованные мавры в полном доспехе, недвижные, как статуи, во власти заклятья. Несколько кубышек перед сундуком были доверху наполнены золотом, серебром и драгоценными камнями. Они по локоть запустили руки в самую большую, пригоршнями вынимая тяжелые мавританские монеты, браслеты и золотые украшения, а иногда и ожерелья, унизанные крупными восточными перлами. Задышавшись и дрожа, они набивали карманы, с ужасом поглядывая на двух зачарованных мавров, которые сидели неподвижно, впившись в них немигающим взором. Наконец, всполохнувшись от какого-то почудившегося им обоим шума, они кинулись к лестнице, взбежали вверх, упали друг на друга и загасили восковой огарок: пол гулко сомкнулся.

Все в том же испуге и дрожи они выбрались из башни и успокоились при виде тихого звездного неба между ветвями деревьев. Усевшись на траве, они доделили добычу, решив, что покамест хватит с них и этого, а как-нибудь потом они придут еще и уж тогда довытрясут кубышки. Для пущей надежности талисманы тоже были поделены:

одному достался свиток, другому – огарок; и оба отправились в Гранаду с легким сердцем и полным карманом.

Под горою их пути расходились, и предусмотрительный мавр решил на прощанье дать один совет простодушному водоносу.

– Друг Перехиль, – начал он, – все это дело надо хранить в глубокой тайне, пока мы не повиатакиваем сокровища и не уберемся сами куда-нибудь подальше. Если алькальд о чем-нибудь проведаст, мы пропали.

– Конечно, – отвечал гальего, – что верно, то верно.

– Друг Перехиль, – сказал мавр, – ты не болтун и, разумеется, будешь держать язык за зубами, но у тебя есть жена.

– Она ни о чем не узнает, – накрепко заверил коротышка-водонос.

– Вот и хорошо, – кивнул мавр, – полагаюсь на твое слово и на твое благоразумие.

Обещание водоноса было самое твердое и искреннее, но увы! какой муж сумеет утаить что-нибудь от жены? Во всяком случае, не такой, как Перехиль – супруг нежный и покладистый. Он воротился домой и увидел, что жена сидит супитая в углу.

– Слава тебе господи, – вскричала она ему навстречу, – явился кормилец под самое утро. Что ж ты не привел к нам в гости еще какого-нибудь мавра? – Она расплакалась и стала заламывать руки и бить себя в грудь. – Бедная я, несчастная! – голосила она, – куда мне деваться? Дома ни полушки, все растащили судейские и альгвасилы, бездельник муж и на кусок хлеба не может заработать, а только шляется где-то днем и ночью с нечестивыми маврами! Детки мои, детки! Что с нами будет? Не иначе как все по миру пойдем!

Добрняка Перехиля так растрогали рыдания супруги, что он и сам захлюпал. Карманы его были переполнены, сердце тоже, и сдерживаться не стало сил. Он вытащил три или четыре тяжелые золотые монеты и опустил их жене за пазуху. Бедняжка так и обмерла от этого золотого дождя, а коротыш-гальего тем временем достал еще золотую цепочку и помахивал ею перед носом жены, приплясывая от восторга и растянув рот до ушей.

– Пресвятая дева заступница! – воскликнула она. – Что ты наделал, Перехиль? Ты что, кого-нибудь убил и ограбил?

И едва она так подумала, как сразу в этом уверилась. Ей померещилась тюрьма, виселица и кривоногий муженек, пляшущий в петле; от ужаса с нею сделался настоящий припадок.

Что было делать бедняге? Чтоб успокоить и разубедить ошалелую супругу, пришлось рассказать ей всю правду. Впрочем, он сперва взял с нее самую торжественную клятву не проговориться ни одной живой душе.

Радость ее была неопишима. Она кинулась мужу на шею и чуть не задушила его в объятиях.

– Ну, жена, – ликовал коротыш-гальего, – что теперь скажешь о наследстве мавра? Впредь никогда не ругай меня за помощь ближнему.

Добрняк Перехиль улегся на свою кошму и уснул слаще, чем иной на пуховой перине. Жена его не сомкнула глаз: она опростала его карманы на той же кошме, пересчитывала золотые арабские монеты, примеряла ожерелья и серьги и мечтала, как она вырядится, когда им не нужно будет скрывать свое богатство.

Утром гальего отнес на Закатин к ювелиру старинную золотую монету, будто бы найденную в развалинах Альгамбры. Ювелир рассмотрел арабскую надпись, увидел, что монета червонного золота, и предложил за нее треть настоящей цены; водоносу же и в голову не пришло торговаться. Перехиль накупил своим малышам одежонки, игрушек и вдоволь съестного; они пустились в пляс вокруг него, и он, счастливый, как ребенок, приплясывал с ними.

Жена водоноса соблюдала обет помалкивать с неслыханной строгостью. Целых полтора дня она ходила с таинственным видом, сдерживалась изо всех сил и не

разболтала ничего ни одной кумушке. Правда, она немного важничала, извинялась за свой затрапез и поговаривала, что вот-вот закажет себе новую баскиню с пронизью и золотой оторочкой и новую кружевную мантилью. Намекала она также, что мужу пора оставить ремесло водоноса: оно ему не по летам и не по здоровью. И вообще они собираются на лето поехать за город, чтоб дети подышали горным воздухом, а то в Гранаде все-таки ужасная духота.

Соседки переглядывались и думали, что бедняжка слегка спятила; все подружки злорадно хихикали у нее за спиной над ее ужимками и жеманством.

За такую сдержанность на людях она вознаграждала себя дома: нацепив на шею ожерелье из восточных перлов, на руки – мавританские браслеты, а на голову – алмазную эгретку, она в своих грязных лохмотьях прохаживалась по комнате и смотрелась в осколок зеркала. Один раз она с простодушным кокетством даже выставилась в окошко, чтоб поразить своими уборами какого-нибудь прохожего.

Волею судеб вездесущий Педрильо Педруго как раз в это время сидел без дела в своей цирюльне напротив, и алмазный блеск коснулся его недреманного ока. Он тотчас кинулся к подзорному окошечку и узрел замарашку – супругу водоноса, разубранную, как невеста на Востоке. Он мысленно составил полную опись ее драгоценностей и со всех ног помчался к алькальду. Вскоре, поджарый альгвасил уже несясь по следу, и бедняга Перехиль не успел оглянуться, как был схвачен и снова предстал перед судьей.

– Ах, вот как, негодяй! – разъяренно вскричал алькальд. – Ты мне плел, будто покойный нечестивец оставил тебе только пустую шкатулку, а теперь я слышу, что твоя жена красуется в отрепьях, разубранных жемчугом и бриллиантами. Подлая тварь! А ну-ка выкладывай все, что нагребил у своей несчастной жертвы, и ступай на виселицу, она уже давно по тебе плачет.

Водонос в ужасе пал на колени и без утайки рассказал, каким чудесным путем досталось ему богатство. Алькальд, альгвасил и проныра цирюльник жадным ухом внимали этой повести о зачарованных сокровищах. Альгвасила отправили за мавром. Попавший в когти блюстителей закона, мусульманин был насмерть перепуган. По виноватому виду и потупленным глазам водоноса он догадался обо всем. «Скотина ты несчастная, – бросил он ему мимоходом. – Говорил же я тебе: не болтай с женой».

Мавр рассказал точно то же, что и его сообщник, но алькальд разыгрывал недоверие и угрожал тюрьмою и пытками.

– Спокойно, добрый сеньор алькальд, – сказал магометанин, к которому вернулись рассудительность и самообладание. – Какой нам толк затевать свару и портить все дело? Кроме нас, никто об этом ничего не знает, вот и хорошо. Сокровищ в подвале хватит на всех с лихвою. Обещайте честный дележ – и все наше, а нет – пусть все там и останется.

Алькальд в сторонке посовещался с альгвасилом: тот на таких делах собаку съел.

– Обещайте им что угодно, – сказал он, – лишь бы до сокровища добраться. А там заберете себе все, и ежели эти двое только пикнут, припугнете их костром, как чародеев и нечестивцев.

Алькальду совет понравился. Он расправил чело и обратился к мавру.

– Повесть ваша необычайна, – сказал он, – но, может быть, и правдива: не могу сказать, пока не удостоверюсь воочию. Нынче же ночью вы повторите заклинания при мне. Если сокровища и вправду существуют, мы разделим их полюбовно, и дело с концом; если же вы меня обманули, то пощады не ждите. А пока останетесь под стражей.

Мавр и водонос на это охотно согласились: они ведь знали, что правда на их стороне.

К полуночи алькальд, альгвасил и неотлучный брадобрей, все вооруженные до зубов, тронулись в путь. Они вели под конвоем мавра и водоноса и прихватили с собой дюжего осла, бывшего приятеля Перехиля, чтоб нагрузить его сокровищами. Никем не

замеченные, они подошли к башне, привязали осла к смоковнице и спустились в четвертый башенный подвал.

Восковой огарок был зажжен, и мавр прочитал по свитку заклинание. Как и в прошлый раз, содрогнулась земля, и каменный пол с грохотом разверзнулся, открыв узкую лесенку. Алькальд, альгвасил и цирюльник замерли в страхе и сойти вниз не отваживались. В подпол спустились мавр с водоносом; два стража сидели там все так же безмолвно и недвижно. Они отодвинули пару больших кубышек с золотом и драгоценностями, водонос по одной вынес их на плечах и, хоть был крепок и привычен к тяжестим, все же пошатывался под ношей, а навьючив ее на осла, понял, что больше тот не сvezет.

– На этот раз хватит, – сказал мавр, – повезем больше – еще, пожалуй, заметят, а здесь и так богатства хоть отбавляй.

– Там еще что-нибудь осталось? – спросил алькальд.

– Осталось-то самое главное, – сказал мавр, – громадный кованый сундук, полный жемчуга и других камней.

– Вытащить сундук во что бы то ни стало! – потребовал ненасытный алькальд.

– Я вниз больше не пойду, – заупрямился мавр. – Говорю же – нам хватит с избытком, а алчность к добру не ведет.

– Этак моему бедняге осла недолго и спину сломать, – прибавил водонос.

Приказанья, угрозы и уговоры не подействовали, и алькальд обратился к своим подручным.

– Помогите мне поднять сундук, – сказал он, – и мы разделим его на троих.

С этими словами он стал спускаться по лесенке, а альгвасил и цирюльник нехотя последовали за ним.

Как только они скрылись внизу, мавр тут же задул огарок, под землею прокатился гул, и пол сомкнулся над головами трех достойных особ.

Затем мавр поспешил наверх и перевел дыхание лишь на свежем воздухе.

Коротышка-водонос почти не отстал от него.

– Что ты наделал? – воскликнул Перехиль, когда они чуть-чуть отдышались. –

Алькальд и те двое – они же остались с маврами в подвале!

– Такова воля Аллаха, – заметил набожный магометанин.

– И ты их не выпустишь?

– Сохрани Аллах! – отвечивал мавр, поглаживая бороду. – В Книге судеб записано, что они пребудут под заклятьем, пока до клада не доберется еще кто-нибудь. Аллах ведает, когда это будет!

И, сказав так, он забросил огарок свечи далеко в темные заросли оврага.

Теперь уж поделать ничего было нельзя, и мавр с водоносом повели в город тяжело нагруженного осла: Перехиль без конца обнимал и целовал своего неожиданно вызволенного длинноухого товарища. Трудно даже сказать, чему простодушный гальего радовался больше – несметным богатствам или новообретенному ослу.

Два добытчика разделили клад полюбовно и справедливо; правда, мавр, пристрастный к украшениям, отбирал себе большую часть жемчугов, самоцветов и прочих безделушек, но взамен отдавал водоносу впятеро крупнейшие великолепные и массивные золотые изделия, чем тот и был вполне доволен. Они не стали дожидаться новых неприятностей и разъехались со своими богатствами в разные стороны. Мавр вернулся в Африку, в свой родной Танжер, а водонос с женою, детьми и ослом быстренько перебрался в Португалию. Там жена взялась за него как следует, и он стал важною птицей, ибо она заставила его напялить на длинное тулово камзол, а на короткие ноги – штаны до колен, носить шляпу с пером и шпагу на боку и сменить прозвание Перехиль на звучное имя Дон Педро Хиль. Потомство его было веселое, радушное, приземистое и кривоногое; сеньора же Хиль, с головы до ног в оборках,

бахромках и кружевах, униженная перстнями, завела моду на роскошное неряшество.

Алькальд и присные его по-прежнему замурованы в подвале громадной Семиярусной Башни. Их, наверно, хватятся, когда в Испании неостанет пронырливых цирюльников, хищных альгвасилов и лихоимцев алькальдов, но покамест их здесь вдосталь, и похоже, что наша троица просидит в подвале до второго пришествия.

Башня царевен

Как-то ввечеру, прогуливаясь по заросшей смоквами, гранатами и миртом узкой ложбине, которая отделяет крепостные уголья от садов Хенералифе, я был поражен романтическим зрелищем мавританской башни наружной стены Альгамбры: вся в рдяных лучах закатного солнца, она высилась над кронами деревьев. Высоко вверху виднелось одинокое окно; из него вдруг выглянула женская головка, убранный цветами. Женщина эта была явно не из простых обитателей крепости; ее внезапное и живописное появление напомнило мне волшебные сказки о пленных красавицах. И уж совсем в сказке я почувствовал себя, когда верный Матео сообщил, что это Башня Царевен (la Torre de las Infantas), названная так оттого, что в ней, по преданиям, жили дочери мавританских властителей.

Я побывал в этой башне. Посторонних туда обычно не водят, хотя там есть на что полюбоваться: затейливым изяществом внутренней отделки она не уступает любой другой части дворца. Красивый срединный чертог с мраморным фонтаном, высокими аркадами и пышно изукрашенным сводом, арабески и лепнина по стенам небольших, но отменно уютных покоев – все, конечно, в небрежение, все изношено временем, но все согласно с тем, что здесь когда-то жили царственные отроковицы.

Маленькая старушонка-фея, которая ютится под дворцовой лестницей и бывает на вечеринах Доньи Антонии, знает чудные истории о трех мавританских царевнах, узницах этой башни: их туда заточил отец, жестокий правитель Гранады. Позволены им были только ночные конные прогулки в горах, и если кто-нибудь попадался на пути, его предавали смерти. По словам рассказчицы, их и теперь еще можно иногда увидеть в полнолуние на пустынных откосах, верхом на лошадях в роскошной, сверкающей камнями сбруе; но если их окликнуть, они исчезают.

Но прежде чем рассказывать дальше о царевнах, надо все же открыть любознательному читателю, кто была та увенчанная цветами и выглянувшая из высокого окна прелестная незнакомка. Она оказалась ново брачною супругой почтенного начальника инвалидной команды: будучи в летах, он мужественно сочетался браком с юной пышногрудой андалузянкой. Пусть же выбор славного старого кабальеро будет удачлив, а Башня Царевен пусть будет более надежной обителью женской красоты, нежели в мусульманские времена – если верить нижеследующей легенде!

Легенда о трех прекрасных царевнах

Когда-то в Гранаде правил мавританский царь по имени Мухаммед, прозванный подданными Эль Хайзари, то бишь Левшой. То ли его прозвали так оттого, что он подлинно владел шуйцей лучше, чем десницей, то ля потому, что он за все брался не с того конца и все шло у него вкривь и вкось, – говорят по-разному. Так или иначе, по невезенью или неумению, но он вечно был в беде: трижды его прогоняли с престола, и один раз он еле уцелел, переодевшись рыбаком и сбежав в Африку [20 - Читатель узнает в нем монарха, связанного с судьбою Абенсеррахов. легенде его история

несколько переиначена (примеч. авт.).]. Однако он искупал свою незадачливость отвагою: сабля в его левой руке держалась крепко, и после хорошей резни он всегда возвращался на трон. Невзгоды не умудрили его: он лишь стал твердолобее и упрямо делал все с левой руки. Какие бедствия он навлек таким образом на себя и на свое царство, это можно узнать из арабских летописей Гранады, а у нас речь пойдет лишь о его домашних делах.

Однажды Мухаммед со свитою царедворцев проезжал у подножия Эльвириной горы и встретил конный отряд, вернувшийся из набега на христианские земли. Длинной вереницей шли мулы с добычей, проходили пленники и пленницы, и вдруг государь заметил среди них красивую и нарядную девушку на невысоком коне: она заливалась слезами и не слушала увещаний дуэньи, которая ехала рядом с нею.

Царя поразила ее прелесть; расспросив начальника отряда, он узнал, что это дочь захваченного врасплох коменданта пограничной крепости. Мухаммед потребовал царской доли в добыче и отослал девицу в Альгамбру, к себе в гарем. Там постарались утешить ее печаль, и влюблявшийся день ото дня более Мухаммед готов был сделать ее царицей. Сперва испанская дева была неприступна: он нечестивец, он прямой враг ее родины – и, что хуже всего, он же старик!

Государь понял, что впрямую к ней не приступишь, и заручился поддержкой ее дуэньи, плененной с нею. По рождению она была андалузянка, но христианское имя ее забылось, и в мавританских легендах ее называют не иначе, как благорассудная Кадига; и поистине она была благорассудна, как это видно из дальнейшего. Царь побеседовал с нею наедине, она тут же поняла силу его доводов и отправилась уговаривать юную госпожу.

– Да будет вам! – воскликнула она. – Чего тут плакать и убиваться? Разве не лучше царствовать в прекрасном дворце с садами и фонтанами, чем скучать в старой отцовской пограничной башне? Ну, Мухаммед, конечно, нечестивец, но при чем это тут? Замуж-то за человека идут, а не за религию; что он не так уж молод, это даже хорошо – тем скорее овдовеете и станете самой себе хозяйкой, а пока что он вам хозяин, вот и выбирайте: быть вам царицей или рабыней. В лапах у разбойника надо себя оценить подороже, а то он ведь и даром возьмет.

Доводы благорассудной Кадиги в конце концов победили. Испанская дева осушила слезы и стала супругою Мухаммеда Левши. Она даже согласилась для порядка принять веру своего мужа; ее благорассудная дуэнья тут же сделалась самой ревностной мусульманкой, и ей позволено было остаться наперсницею госпожи.

В свое время мавританский царь стал гордым и счастливым отцом сразу трех прелестных девочек: лучше бы они были, конечно, сыновьями, но и три дочери тоже не худо для мужчины в летах и к тому же левши!

Как принято у мусульманских государей, он обратился по такому счастливому случаю к звездочетам. Они составили на царевен гороскопы и покачали головами.

– В дочерях, о царь, – сказали они, – вообще путного мало, но за этими, когда они придут в пору, нужен будет глаз да глаз: следи тогда за ними в оба и не доверяй никому.

Придворные Мухаммеда Левши все время восхищались его мудростью, да и сам он в ней не сомневался. Так что предсказание звездочетов ничуть его не встревожило: уж он-то сумеет проследить за царевнами и перехитрить судьбу!

Подарив престарелого супруга тройнею, царица больше в тягостях не бывала и умерла через несколько лет, препоручив дочек любящему отцу и благорассудной Кадиге.

До опасного девичьего возраста было еще далеко. «Не худо, однако, озаботиться заранее», – сказал предусмотрительный государь; и решил сокрыть дочерей от соблазнов в замке Салобренья. Это был дивный дворец как бы в оправе мощной

крепости на вершине горы у Средиземного моря. Здесь, в почетном заточении, мавританские владыки держали своих беспокойных родственников: они утопали в неге и уладах, забыв и думать о крамоле.

Царские дочери росли за высокими стенами в несказанной роскоши, среди услужливых рабынь, предупреждавших любую их прихоть. Резвились они в чудных садах, изобильных редчайшими плодами и цветами, в благоуханных кущах и благовонных купальнях. – С трех сторон из окон замка видна была пышная, многоцветная долина, окруженная заоблачными грядками Альпухарры; с четвертой – бескрайнее море в солнечном блеске.

В этом райском уголке, в благодатном климате, под сияющими небесами и расцвели три царевны, равные чудесной красотой и с малых лет различные нравом. Первую звали Заида, вторую – Зораида, третью – Зорагаида; одна старше другой ровно на три минуты.

Старшая, Заида, была своевольница и верховодила сестрами начиная с появления на свет. Любознательная и пытливая, она во всем добиралась до сути.

Зораиду пленяла всякая земная красота, поэтому она очень любила смотреться в зеркало или в бассейн, обожала цветы, драгоценности и вообще все изящное.

А Зорагаида, младшая, была тихая, робкая, очень чувствительная и ласковая-ласковая: недаром у нее было столько любимых цветочков, птичек и зверушек и нежности хватало на всех. Игры ее тоже были тихие, вперемешку с мечтаньями и грезами. В летние ночи она подолгу сидела на балконе, глядя на ясные звезды или на море в лунном свете, а если еще с берега доносилась дальняя рыбацья песня или с мимоскользавшего корабля слышалась флейта, ей больше ничего было не надо. Зато малейший ропот стихий приводил ее в ужас, а от удара грома она лишалась чувств.

Так плыли безмятежные годы; приставленная к Царевнам благорассудная Кадига ревностно и неусыпно оберегала их покой.

Как уже сказано, замок Салобренья стоял на прибрежной горе. Одна стена его тянулась по горному склону до нависшего над морем утеса; узкую песчаную полосу у его подножия облизывал прибой. В подзорной башне на этом утесе была устроена беседка с решетчатыми ставнями, в которые задувал морской ветерок. Здесь царевны проводили жаркие полуденные часы.

Однажды пытливая Заида сидела у окна беседки, а сестры ее возлежали на софах и вкушали сиесту, Дневную дрему. Она вдруг заметила галеру, которую влекли вдоль берега мерные взмахи весел. Галера пристала под утесом; на берег сошли мавританские воины с пленниками-христианами. Пытливая Заида разбудила сестер, и все три невидимками прильнули к частым шторам. Среди узников были трое богато одетых испанских кабальеро, выделявшихся своей цветущей юностью и благородной осанкой: в цепях и среди врагов они держались надменно, как истые гранды. Царевны разглядывали их затаив дыхание. Ведь у себя в замке кроме женской прислуги они видели только черных рабов или простых рыбаков, и не мудрено, что трое рыцарей во всем блеске юной красоты и доблести взволновали их чувства.

– Кто на свете благороднее того рыцаря в багряном? – молвила Заида, старшая из сестер. – Смотрите, как горделиво ступает он, будто все кругом – его рабы!

– Смотрите лучше на того, в зеленом! – воскликнула Зораида. – Какая походка! Какое изящество! Какая живость!

Тихая Зорагаида не сказала ничего, но про себя отдала предпочтение рыцарю в синем.

Царевны стояли у окна, пока узники не скрылись из виду; потом, протяжно вздохнув, они повернулись, глянули друг на друга, побрели к своим софам и погрузились в задумчивость.

Так и застала их благорассудная Кадига; они рассказали о том, что видели, и даже дряхлое сердце дуэньи было тронут.

– Бедняжки! – воскликнула она. – Сколько прекрасных и знатных дам у них на родине оплакивают сейчас их участь! Ах, девочки, вы ведь совсем не знаете, что там за жизнь! Такие подвиги на ристалищах! Такая преданность дамам! Такие любезности и серенады!

Любопытство Заиды разгорелось: она принялась выпрашивать, и дуэнья яркими красками расписала дни своей юности на далекой родине. Прекрасная Зораида приосанилась и искоса поглядывала на себя в зеркало, когда речь заходила о красоте испанских дам; а Зорагаида подавила трепетный вздох при упоминанье о лунных серенадах.

Пытливая Заида, что ни день, возобновляла расспросы, премудрая дуэнья снова и снова повторяла свои рассказы, и прекрасные слушательницы жадно внимали ей, но что-то слишком часто вздыхали. Благорассудная старица поняла наконец, что она, кажется, немного забылась. Она привыкла считать царевен малыми детьми, а они не приметно вступили в пору зрелости, и вот уж перед нею были три прелестные девушки в самом опасном возрасте. Настало время, подумала дуэнья, оповестить об этом их отца.

Как-то поутру Мухаммед Левша сидел на диване в прохладном чертоге Альгамбры, и вдруг к нему явился гонец из крепости Салобренья с посланием от премудрой Кадиги: она поздравляла его с днем рождения дочерей. К посланию прилагалась убранный цветами корзинка, в которой на виноградных и фиговых листьях лежали персик, абрикос и слива в брызгах росы, свежесорванные, едва созревшие. Царь был сведущ в восточном языке плодов и цветов и сразу разгадал иносказательный смысл подношенья.

– Так, – сказал он, – стало быть, настало время, предуказанное звездочетами: дочерям пора замуж. Как же быть? Они сокрыты от мужских взоров; они под надзором благорассудной Кадиги, все это очень хорошо, – да, но теперь надо, чтоб они были у меня на глазах, как предписали звездочеты: я буду следить за ними в оба и не доверять никому.

Сказав так, он велел подготовить покои в башне Альгамбры и самолично отбыл со стражею в Салобренью за царевнами.

Мухаммед почти три года не видел дочерей и едва поверил глазам своим, узрев, как поразительно они изменились за столь, казалось бы, недолгое время. Они переступили ту волшебную черту, за которой угловатая, нескладная и порывистая девочка становится чарующей, стыдливой и женственной. Вот так же плоские, невзрачные и однообразные степи Ламанчи вдруг сменяются пышными долинами и округлыми нагорьями Андалузии.

Высокая, дивно сложенная, величавая и ясноглазая Заида вошла горделиво и решительно и поклонилась Мухаммеду с глубоким почтением, подобающим скорее государю, нежели отцу. Блистающая красотой и нарядом Зораида была среднего роста, взгляд ее был томный, поступь плавная; она с улыбкой приблизилась к отцу, поцеловала ему руку и приветствовала его стихами прославленного арабского поэта, отчего Мухаммед пришел в восторг. Застенчивая и робкая Зорагаида была меньше сестер, и нежная ее прелесть как бы взывала о ласке и защите. Она не рождена была повелевать, как старшая сестра, или пленять, как средняя, но создана, чтоб укрыться и утихнуть на груди возлюбленного. Она подошла к отцу трепетным и почти неверным шагом и хотела было склониться к его руке, но заглянула ему в лицо, увидела сияющую отцовскую улыбку и в порыве нежности кинулась к нему на шею.

Мухаммед Левша смотрел на своих расцветших дочерей гордо и встревоженно: он радовался их красоте, но в голове у него крепко засело предсказанье звездочетов. «Три дочери! три дочери! – бормотал он себе под нос, – и всем трем пора замуж! Поистине за этими золотыми яблочками нужен глаз да глаз!»

Перед отъездом в Гранаду он выслал вперед вестников с повелением очистить все дороги и наглухо закрыть по пути все двери и окна. Охрану несли страховидные чернокожие всадники в сверкающих латах.

Закутанные в покрывала царевны ехали рядом с отцом на стройных белых лошадях; расшитые золотом бархатные попоны достигали земли, удила и стремяна были золотые, а шелковые поводья – в перлах и самоцветах. Сбруя была увешана серебряными колокольцами, которые переливчато звенели в такт мягкой иноходи лошадей. И горе тем нерасторопным, кто, услышав этот звон, замешкается на дороге, – страже велено было рубить их без пощады.

Неподалеку от Гранады, у берега Хениля, их поезд наткнулся на небольшой конвой с пленниками. Деваться было некуда, и воины побросались ничком наземь, велев пленным сделать то же. Среди узников были и трое кабальеро, которых царевны видели из окна беседки. То ли они не поняли приказания, то ли надменно ослушались его, но они остались на ногах как ни в чем не бывало, глядя навстречу подъезжающей кавалькаде.

Мухаммед возгорелся гневом при виде столь дерзкого ослушания. Он рванулся вперед, вздыбил коня, и левая рука его уже занесла смертоносную саблю над головой одного из испанцев, но тут к нему подскакали царевны, моля пощадить пленников; даже тихая Зорагаида забыла робость и не отстала от сестер. Мухаммед помедлил с занесенной саблей, и к стремени его второпях подполз начальник конвоя.

– О повелитель, – воскликнул он, – да удержит Аллах твою руку во избежание бедствий. Эти три доблестных испанских рыцаря были захвачены в битве, они сражались как львы; они знатного рода, за них дадут большой выкуп.

– Довольно! – сказал царь. – Я оставлю их в живых, но проучу за дерзость. Заточить их в Алые Башни и поставить на тяжелые работы!

Мухаммед, по обыкновению, был незадачлив. Во время общей суматохи и замешательства царевны откинули покрывала и явили взорам свою красу; а пока царь судил и рядил, она успела запасть в душу. В те времена влюблялись куда внезапнее, чем нынче, как это видно из всех старинных повестей. Не мудрено поэтому, что сердца трех рыцарей были сразу покорены – ведь к восхищению их примешалась и благодарность; несколько более удивительно, хотя и несомненно, что каждый из них влюбился в кого следует. Царевны же заново восхитились достоинством пленников и не упустили ничего сказанного об их доблести и знатности.

Кавалькада двинулась дальше под звяканье колокольцев; царевны ехали в задумчивости, украдкой оглядываясь на отдалявшийся конвой, а христианских пленников повели к Алым Башням в назначенное им узилище.

Царевнам отвели самые изысканные покои в башне поодаль от дворца, соединенной с ним стеной, которая окружала всю вершину горы. Под окнами вовнутрь крепости был садик с диковинными цветами, а под наружными – глубокая заросшая ложбина, разделявшая угодья Альгамбры и Хенералифе. Чудные маленькие покои, отделанные с мягким изяществом, располагались вокруг высокого чертога, круглый свод которого чуть ли не подпирал верхушку башни. Затейливые арабески на стенах и потолках чертога были наведены позолотой и яркой росписью. Алебастровый фонтан посреди мраморного пола, обсаженный пахучими кустарниками и душистыми цветами, метал прохладительную и благозвучную струю. По стенам чертога висели золотые и серебряные клетки с пышноперыми и сладкоголосыми птицами.

Из замка Салобренья неизменно доносили, что царевны веселятся и забавляются, и царь ожидал, что в Альгамбре они возликуют. Но, к его удивлению, они заскучили, приуныли и всем были недовольны. Цветы не пахли, соловей мешал спать, а от фонтана с его непрестанным журчаньем и плеском не было покоя ни днем, ни ночью.

Нрав у царя был крутой и вспыльчивый, и он поначалу вышел из себя, но потом

рассудил, что дочери его вошли в тот возраст, когда женщины думают о многом и хотят еще большего. «Они уж не дети, – сказал он себе, – они взрослые женщины, их влечет и им подобает иное». Он порастряс всех портных, ювелиров, золотых и серебряных дел мастеров гранадского Закатина, и на царевен посыпались шелковые, атласные и парчовые платья, кашемировые шали, жемчужные и алмазные ожерелья, кольца, запястья, поножи и прочие всевозможные драгоценности.

И все понапрасну: разодетые и разубранные царевны томились и блекли, словно три привядших розовых бутона на одном стебле. Царь не знал, что и думать. У него был достохвальный обычай решать все по-своему и ни с кем не советоваться. «Однако ж причуды и прихоти трех девиц на выданье, – заметил он себе, – хоть кого поставят в тупик». И впервые в жизни он обратился за советом.

За советом он обратился к многоопытной и преданной дуэнье.

– Кадига, – сказал царь, – в целом свете вряд ли сыщется женщина рассудительней и надежней тебя; недаром же я доверил тебе своих дочерей чуть не с младенчества. А раз отец кому-нибудь такое доверяет, значит, это человек верный; вот я и хочу теперь, чтоб ты узнала, что за тайная немощь гложет царевен, и надумала, как вернуть им здоровье и веселость.

Кадига обещала все исполнить. По правде говоря, про немощь царевен она знала больше их самих; и все же попыталась выведать у них еще что-нибудь.

– Деточки мои дорогие, что это вы так печалитесь и тоскуете в таком чудном дворце, где у вас есть все, что душе угодно?

Царевны грустно повели глазами и ничего не ответили.

– Ну так что же, чего вам еще хочется? Хотите, я достану вам чудесного попугая, говорящего на всех языках: от него без ума вся Гранада?

– Пакость какая! – воскликнула царевна Заида. – Мерзкая, визгливая птица, которая тараторит что на язык взбредет! Вот уж правда надо быть без ума, чтоб такое выносить!

– Или, может, послать в Гибралтар, пусть привезут какую-нибудь смешную обезьянку?

– Обезьяну? Фу! – вскричала Зораида. – Что за противные кривляки! Терпеть не могу этих гадких животных.

– А хотите послушать знаменитого черного певца Касима из марокканского сераля? Говорят, у него дивный женский голос.

– Я очень боюсь этих черных рабов, – сказала нежная Зорагаида, – и потом, я как-то разлюбила музыку.

– Ах, нет, деточка, не говори так! – лукаво прищурилась старуха. – Слышала бы ты, как вчера вечером пели трое испанских кабальеро, которых мы, помните, повстречали на дороге. Но что с вами, деточки! Что это вы так покраснелись и всполошились?

– Нет, нет, матушка, мы ничего, ты говори.

– Да... Ну так вот, шла я вчера вечером мимо Алых Башен и видела тех трех рыцарей, они отдыхали после дневной работы. Один играл на гитаре, и так красиво, а другие двое по очереди пели: прекрасно у них выходило, даже стража стояла слушала как зачарованная. Да простит мне Аллах! Поневоле трогают за сердце песни родных краев. И потом – уж очень печально видеть таких благородных и красивых юношей в цепях и в рабстве.

И добросердечная старуха отерла набежавшие слезы.

– А нельзя ли устроить, матушка, чтоб и мы поглядели на этих рыцарей? – сказала Заида.

– Немного музыки – это так освежает, – сказала Зораида.

Стыдливая Зорагаида ничего не сказала, только обвила руками шею Кадиги.

– Аллах с вами! – воскликнула благорассудная старуха, – что это вы говорите, деточки мои! Если б ваш отец такое услышал, нам бы несдобровать. Конечно, рыцари

они благовоспитанные и ничего худого не подумают, но что из этого? Ведь они враги нашей веры, и самая мысль о них должна быть вам ужасна.

Если женщина – тем более в опасном возрасте – чего-нибудь захочет, то любые страхи и запреты ей нипочем. Царевны повисли на своей старой дуэнье, улещивали ее, уговаривали и уверяли, что отказ ее сведет их в могилу.

Что ей было делать? Самая рассудительная на свете и преданная царю всей душою, могла ли она, однако, допустить, чтобы три прекрасные царевны сошли в могилу оттого, что им нельзя послушать игру на гитаре? К тому же, сколько она ни прожила среди мавров, хоть и сменила веру вслед за госпожою, но все-таки была прирожденная испанка, и в сердце ее теплились какие-то христианские чувства. Вот она и постаралась убоготворить несчастных царевен.

Христианских пленников, томившихся в Алых Башнях, стерег дюжий усач-вероотступник по имени Гуссейн-баба, у которого, по слухам, деньги липли к ладоням. Она тайком подошла к нему и прилепила к его ладони большую золотую монету.

– Гуссейн-баба, – сказала она, – мои три царевны очень скучают взаперти у себя в башне; до них дошло, что три испанских кабальеро хорошо поют, и они хотели бы их послушать. У тебя ведь доброе сердце, ты им не откажешь в таком невинном развлечении.

– Что? Чтоб моя голова скалилась с ворот этой вот башни? А ведь так и будет, если царь об этом узнает.

– Совсем ему незачем об этом знать; можно устроить так, что и царевны будут довольны, и отец их ни о чем не догадается. Знаешь глубокую ложбину за стенами под самой башней? Пусть себе трое христиан там работают, а между делом, для отдыха, сыграют и споют, ты им просто не запрещаешь. Царевны услышат их из окошка, а ты внакладе не останешься.

Для пущей убедительности добрая старушка ласково пожала ручищу вероотступника, и к ней прилипла еще одна золотая монета.

Доводы ее подействовали. На другой же день троих кабальеро привели работать в ложбину. В полуденный зной, когда товарищи их трудов спали в тени, а страж клевал носом на часах, они уселись в густой траве у подножия башни и спели под гитару испанское ронделэ.

Овраг был глубок, а башня высока; но стояла полдневная тишь, и голоса их ясно слышались наверху. Царевны внимали с балкона; испанский язык они знали стараниями своей дуэньи, сладостная песня пришлась им по сердцу. Зато благорассудная Кадига была ужасно возмущена.

– О Аллах! – воскликнула она. – Да они поют вам любовное признание! Какая неслыханная дерзость! Сейчас побегу к надсмотрщику, скажу, чтоб их как следует отколотили палками.

– Как! Палками – таких доблестных рыцарей, за такую чудесную песню!

Три прекрасные царевны пришли в ужас. Хотя добрая старушка и пылала негодованьем, но по натуре была незлобива и отходчива. К тому же музыка явно оказывала на ее питомиц целебное действие. Щеки их разрозовелись, глаза заблистали. И Кадига больше не прерывала любовные напевы рыцарей. Когда они стихли, царевны немного помолчали; потом Зораида взяла лютню и нежным, дрожащим голоском пропела арабскую песенку, смысл которой был примерно таков: «Роза укрыта меж листьями, но с нею внимает пенью соловья».

С этих пор рыцари ежедневно работали в ложбине. Добрый Гуссейн-баба становился все покладистее и спал на часах все крепче. Влюбленные обращали друг к другу народные песни и романсы, слова их перекликались и выдавали обоюдное чувство. Потом царевны стали украдкой от стражи показываться на балконе. Разговор пошел с помощью цветов, язык которых был знаком тем и другим, а затруднения были по-

особому упоительны и лишь разжигали страсть, столь неожиданно возгоревшуюся, ибо любовь радуется препонам и пышно возрастает на самой тощей почве.

Увлеченные этим тайным общением, царевны совсем иначе глядели и держали себя, чем отец-левша был несказанно доволен; но больше всех ликовала и хвалила себя за предприимчивость благорассудная Кадига.

И вдруг немые переговоры оборвались: день проходил за днем, а рыцарей в ложбине все не было. Тщетно Царевны выглядывали в окно. Тщетно выгибали они свои лебяжьи шеи с балкона, тщетно заливались песнями» словно соловьи в клетке, – их иноверцев-возлюбленных как не бывало, и кущи не откликались на пенье. Благорассудная Кадига пошла разузнавать, в чем дело, и вернулась с омраченным лицом.

– Ах, деточки мои! – воскликнула она. – Чуяла ведь я, чем это кончится, да вы слушать ничего не хотели; вот теперь погорюете! Испанских кабальеро выкупили ид семьи; они в Гранаде и готовятся к отъезду на родину.

Известия эти повергли трех прекрасных царевен в отчаяние. Заида негодовала, что их ни во что не ставят, что с ними даже не удосужились проститься. Зораида ломала руки и рыдала, смотрела в зеркало, утирала слезы и рыдала снова. Тихая Зорагаида склонилась с балкона и молча роняла слезу за слезой вниз, на цветы у края оврага, где так часто сидели непостоянные рыцари.

Благорассудная Кадига изо всех сил утешала их.

– Успокойтесь, деточки мои, – говорила она, – это все дело привычки. Так уж устроен мир. Ах! Вот поживете с мое, сами поймете, что за народ мужчины. Наверняка у этих кабальеро есть свои дамы, какие-нибудь испанские красавицы в Кордове и Севилье, они скоро будут распевать серенады под их балконами и думать забудут о прекрасных мавританках из Гранады. Так что успокойтесь, деточки, оставьте их даже и вспоминать.

Утешные слова благорассудной Кадиги почему-то еще умножали скорбь трех царевен, и они прогоревали два дня напролет. На третий день утром добрая старушка вошла к ним сама не своя от возмущенья.

– Какие все-таки бывают на свете бессовестные люди! – воскликнула она, когда к ней вернулся дар речи. – И поделом мне за то, что я помогала вам обманывать вашего почтенного отца. Чтоб я больше не слышала про этих испанских кабальеро!

– Как, что случилось, милая Кадига? – кинулись к ней насмерть перепуганные царевны.

– Что случилось? Измена! Она хоть еще и не случилась, но была уже мне предложена – мне, вернейшей подданной, надежнейшей дуэнье! Да, дети мои, испанские кабальеро посмели упрашивать меня, чтоб я уговорила вас бежать с ними в Кордову и выйти за них замуж!

Оскорбленная старуха уткнула лицо в ладони и разразилась слезами скорби и негодованья. Три прекрасные царевны бледнели и краснели, краснели и бледнели, трепетали, потупляли взоры, робко взглядывали друг на друга и не говорили ни слова. А их старая дуэнья в безудержном горе раскачивалась взад-вперед, восклицая: «И я дожидая до такого позора! Я, самая верная служанка на свете!»

Наконец старшая царевна, у которой хватало духу на всех трех и которая во всем была зачинщицей, приблизилась к ней и тронула ее за плечо.

– Хорошо, матушка, – сказала она, – а если б мы вдруг согласились бежать с этими испанскими рыцарями – разве это возможно?

Добрая старушка на миг прервала стенанья и подняла взгляд.

– Возможно ли? – отозвалась она. – Увы, еще как возможно! Ведь рыцари успели подкупить Гуссейн-бабу, вероотступного начальника стражи, и все подготовили! Но подумайте только: обмануть отца, вашего отца, который так мне всегда доверял!

Совестливую Кадигу снова одолела скорбь, и она опять стала раскачиваться взад-вперед, заламывая руки.

– Ну, нам-то отец наш никогда не доверял, – сказала старшая царевна. – Он полагался на замки и засовы, а мы жили пленницами.

– Да, в этом есть своя правда, – отвечала старуха, снова опомнившись от горя, – с вами он и впрямь обошелся очень дурно. В цвете лет вы томитесь в этой мрачной старой башне и вянете, словно розы в кувшине с затхлой водою. Да, но бежать со своей родины!

– А разве мы бежим не на родину своей матери, где нас ждет свобода? И разве не получит каждая из нас юного мужа взамен сурового старого отца?

– Да, это опять-таки сушая правда; и ваш отец, признаться, незавидного нрава, но подумайте, – и она опять впала в отчаяние, – вы бежите, а я останусь на расправу?

– Да нет же, милая Кадига, ты разве не можешь бежать с нами?

– А ведь и верно, дитя мое; по правде-то сказать, Гуссейн-баба даже обещал, что я не пожалею, если Убегу с вами; да, но, дети мои, неужели вы отречетесь от веры отца?

– Наша мать выросла христианкой, – сказала старшая царевна. – Я готова принять ее веру и ручаюсь за сестер.

– И опять верно, – воскликнула старуха, просветлев, – да, ваша мать выросла христианкой и на смертном ложе горько сожалела, что отреклась от своей веры. Я ей тогда обещала, что позабочусь о ваших душах, и рада теперь, что они на пути спасенья. Да, деточки мои, я тоже была крещена, осталась христианкой в сердце своем и решила вернуться к истинной вере. Я говорила об этом с Гуссейн-бабою, он родом испанец и даже почти что мой земляк. Ему тоже приспела охота повидать родные места и вернуться в лоно церкви; а рыцари обещали, что если мы станем на родине мужем и женою, то нуждаться ни в чем не будем.

Словом, оказалось, что эта чрезвычайно благорассудная и дальновидная старуха была в сговоре с рыцарями и вероотступником и целиком посвящена в план побега. Старшей царевне план сразу пришелся по душе, а сестры, как обычно, были с нею заодно. Правда, младшая все-таки поколебалась: она была послушливая и робкая, и дочерняя любовь боролась в ее сердце с нежной страстью; но страсть в таких случаях всегда побеждает, и она с тихими слезами и подавленными вздохами принялась готовиться к побегу.

Утесистая гора, на которой стоит Альгамбра, была когда-то вся пронизана подземными ходами, прорубленными в камне и выводящими в разные концы города и на берега Дарро и Хениля. В разные времена прокладывали их мавританские правители – на случай внезапных мятежей и для вылазок по своим тайным делам. Многих из них теперь и не сыщешь, другие известны и частью засыпаны щебнем, частью замурованы; они остались свидетельствами заботливой предусмотрительности и военной хитрости мавританских владык. Таким-то ходом Гуссейн-баба и собирался вывести царевен за стены города, где рыцари будут наготове с отборными скакунами, и они вмиг домчатся до границы.

Настала назначенная ночь; запоры башни царевен были проверены, и Альгамбра погрузилась в глубокий сон. К полуночи благорассудная Кадига выглянула с балкона под садовым окном. Вероотступник Гуссейн-баба ждал внизу и подал условный знак. Дуэнья привязала веревочную лестницу к перилам, сбросила ее другим концом в сад и спустилась. За нею с замирающим сердцем последовали две старшие царевны, но когда настал черед Зорагаиды, ее охватила дрожь нерешительности. Она ставила свою легкую ножку в петлю лестницы и тотчас отдергивала ее, а девичье сердечко трепетало все сильнее. Тоскливо оглянулась она на убранный шелками покой: в нем она жила, как птичка в клетке, это верно, однако ж и была под защитой; кто знает, что случится, если выпорхнута на широкий простор! Она вспоминала возлюбленного – и тянулась ножкой к лестнице, потом думала об отце – и отшатывалась. Но каким пером описать терзания

сердца столь юного, нежного и любящего – и столь робкого и неискушенного?

Напрасно умоляли сестры, бранилась дуэнья и вероотступник богохульствовал под балконом: боязливая мавританка колебалась, как на краю пропасти, – ее манила сладость дерзновенья и страшили неведомые опасности.

Тем временем все могло открыться каждую минуту.

Издали донесся мерный шаг.

– Сторожевой обход! – вскричал вероотступник. – Еще немного, и мы пропали.

Царевна, немедля вниз, или мы уходим.

Зорагаида пришла в невыносимое волнение, потом отвязала лестницу и с отчаянной решимостью скинула ее в сад.

– Кончено! – крикнула она. – Я уже не могу бежать! Сохрани вас Аллах всемогущий, милые сестры!

Две старшие царевны оцепенели при мысли, что покидают сестру, но обход близился, и взбешенный вероотступник с дуэньей опрометью повлекли их к подземному ходу. Они на ощупь пробрались жутким лабиринтом сквозь недра горы и благополучно достигли железных ворот за пределами города. Здесь их дожидались рыцари, переодетые отрядными стражниками Гуссейн-бабы.

Возлюбленный Зорагаиды обезумел от горя, услышав, что она осталась в башне; но мешкать не приходилось. Царевны сели позади своих рыцарей, благорассудная Кадига примостилась за вероотступником, и они размашистой рысью помчались на Кордову, к перевалу Лопе.

Вскоре со стен Альгамбры донесся перестук барабанов и клики труб.

– Побег обнаружен! – крикнул вероотступник.

– Скакуны у нас быстрые, ночь непроглядная, мы уйдем от любой погони, – отвечали рыцари.

Они дали шпоры, и скоро Вега осталась позади. Возле Эльвириной горы, отрогом выступающей на равнину, вероотступник придержал коня и вслушался.

– Пока что, – сказал он, – за нами никого нет, и мы уже почти в горах.

Не успел он договорить, как сторожевая башня Альгамбры сверкнула ярким пламенем.

– Беда! – крикнул вероотступник. – Этот сигнальный огонь взбудоражит все заставы на перевалах. Скорей! Скорей! Во весь опор – счет пошел на миги!

Они помчались по дороге, огибавшей кремнистую Эльвирину гору, и бешеный стук копыт перекатывался дробным эхом от скалы к скале. На скаку они видели, как в ответ на сигнальный огонь Альгамбры факелами зажигались *atalayas* – подзорные башни в горах.

– Вперед! Вперед! – кричал вероотступник и сыпал проклятиями. – К мосту! К мосту, пока там еще не всполошились!

Они вынеслись из-за отрога к знаменитому мосту Дос Пинос, нависшему над яростным потоком, нередко багровым от христианской и мусульманской крови. И замерли: башня у моста была в огнях, отблескивали латы и копыта стражи. Вероотступник вздыбил коня, поднялся в стременах и огляделся; затем сделал знак рыцарям, свернул вниз с дороги, проскакал вдоль реки и ринулся в воду. Рыцари крикнули царевнам, чтоб те держались крепче, и последовали за ним. Их подхватило потоком; кругом кипели волны, но прекрасные царевны прильнули к своим рыцарям и ни разу даже не вскрикнули. Рыцари счастливо переправились, и вероотступник повел их сквозь горы в обход проезжих дорог глухими, тайными тропами и дикими ущельями. Короче сказать, они наконец добрались до древнего града Кордовы; возвращение рыцарей на родину, в объятия друзей, отпраздновали с превеликой пышностью, подобающей столь знатным кабальеро. Прекрасные царевны были немедля приняты в лоно церкви и, сделавшись по всей форме христианками, с богом

пошли под венец.

Торопясь спасти царевен из kloкочущего потока и переправить их через горы, мы совсем позабыли про благорассудную Кадигу. Еще во время скачки через Вегу она, как кошка, вцепилась в Гуссейн-бабу и визжала на каждой рытвине, так что усач-вероотступник ругался без продыху; а когда он направил коня в реку, Кадига завопила нечеловеческим голосом. «Перестань цепляться за меня! – крикнул Гуссейн-баба. – Держись за мой пояс и ничего не бойся». Она обеими руками схватилась за ремень у широких чресел вероотступника; но когда он остановился передохнуть с рыцарями на вершине горы, дуэньи у него за спиной не было.

– А где же Кадига? – закричали встревоженные царевны.

– Аллах один это ведает, – отвечал вероотступник. – Пояс мой разошелся посреди реки, и Кадигу снесло потоком. Да будет воля Аллаха! А ремень-то был с отделкою и стоил хороших денег.

Сетовать не было ни толку, ни времени; но царевны все же горько оплакали утрату своей рассудительной советчицы. Однако эту достопочтенную старуху, словно кошку, могла донять разве девятая смерть, а в реке дело не дошло и до пятой: рыбак, закинувший сеть ниже по течению, вытянул ее на берег и был немало удивлен своим диковинным уловом. Что дальше случилось с благорассудною Кадигой, об этом легенда умалчивает; понятно только, что рассудительность ей не изменила, раз она не попала на глаза Мухаммеду Левше.

Почти столько же мало известно и о том, как этот предусмотрительный государь повел себя, обнаружив, что дочери его сбежали, а самая верная на свете служанка подвела. Единственный раз в жизни он обратился за советом, и уж больше такого за ним не водилось. Он, конечно, удвоил охрану младшей дочери, которая бежать не собиралась; полагают, однако, что втайне она сожалела о своей нерешительности: иногда видели, как она стояла у зубцов башни и скорбно глядела на горы, в сторону Кордовы, а порою слышали ее лютню и грустный голосок; говорят, она оплакивала в песнях разлуку с сестрами и возлюбленным и свою Унылую жизнь. Умерла она рано и, по слухам, была погребена в подвале башни; ее печальная судьба породила не одну живучую легенду.

Легенда нижеследующая, возникшая отчасти благодаря предыдущей, настолько тесно связана с именами памятных исторических особ, что сомневаться в ее правдивости просто незачем. Дочь графа и ее подружки, которым она была прочитана как-то вечером, согласились, что многое здесь очень похоже на правду; а Долорес, куда ближе их знакомая с подлинными чудесами Альгамбры, поверила в ней каждому слову.

Легенда о розе Альгамбры

Первое время после покорения Гранады испанские государи часто навещали в этот дивный город, но потом их отпугнула череда землетрясений, которые обрушили много домов и расшатали до основания старинные мавританские башни.

Миновало много-много лет, а короли в Гранаде почти не бывали. Дворцы знатных особ стояли безмолвные и заколоченные, и Альгамбра, словно покинутая красавица, одиноко печалилась среди загложших садов. Башня Де Лас Инфантас, когда-то обитель трех прекрасных мавританских царевен, тоже пребывала в запустении; пауки наискось заткали ее золоченый свод, нетопыри и совы ютились в покоях Заиды, Зораиды и Зорагаиды. Эта башня была в особом небрежении из-за суеверных страхов жителей Альгамбры. Рассказывали, что тень юной Зорагаиды, сгинувшей в этой башне, лунными ночами часто сидит в чертоге у фонтана или бродит меж зубцами башни и что в полночь из ложбины слышна ее серебряная лютня.

Наконец Гранада снова удостоилась королевского посещения. Известно всему свету, что Филипп V был первым Бурбоном, воцарившимся в Испании. И всему свету известно, что он женился вторым браком на Елизавете, иначе говоря, Изабелле, прекрасной княжне пармской; таким образом на испанском престоле оказались французский принц и итальянская княжна.

К визиту этой блистательной четы Альгамбра со всею поспешностью прибралась и приукрасилась. Прибытие гостей преобразило весь облик заброшенного дворца. Барабанный бой и пенье труб, конский топот в подъездных аллеях и наружном дворе, блеск доспехов, знамена у барбакана и между зубцами – все как бы напоминало о древней боевой славе крепости. В королевском дворце, однако, воинственным духом и не пахло. Здесь шелестели платья, в передних слышались мягкая поступь и осторожные голоса почтительных Придворных, по садам разгуливали пажи и фрейлины, и из открытых окон лилась музыка.

В свите приближенных состоял некий Руис де Аларкон, любимый паж королевы. Сказав так, мы дали ему наилучшую рекомендацию, ибо в окружении прекрасной Елизаветы все, как один, блистали красотой, изяществом и дарованиями. Ему едва исполнилось восемнадцать, и он был стройный, гибкий и прелестный, как юный Антиной. Королева видела на лице его только почтение и восторг, а на самом деле это был сущий повеса, заласканный и избалованный придворными дамами и не по возрасту искушенный в амурных делах.

Однажды утром этот бездельник паж слонялся по рощам Хенералифе над угодьями Альгамбры. Забавы ради он прихватил с собой любимого кречета королевы. Увидев, что из куста выпорхнула птица, он сдернул клобучок с головы пернатого ловчего и подбросил его в воздух. Кречет круто взмыл, камнем упал на жертву, промахнулся и понесся прочь, не внемля зову пажа. Тот проследил взглядом прихотливый полет беглеца и заметил, что кречет уселся на зубце крепостной башни Альгамбры, отдаленной от прочих и стоящей у края ложбины между королевским обиталищем и Хенералифе. Эта была Башня Царевен.

Паж спустился в ложбину и подошел к башне, но оттуда в нее входа не было, а взобраться на такую высоту не стоило и пробовать. Чтоб зайти с тылу, пришлось дать большой крюк через ближние крепостные ворота.

Перед башней был садик в камышовой ограде, осененной миртом. Отворив калитку, паж пробрался к Дверям между цветочными клумбами и кущами роз. Дверь была на запоре; он приложился глазом к щели и Увидел мавританский чертог с узорными стенами, стройными мраморными колоннами и алебастровым Фонтаном, обсаженным цветами. Посредине висела золоченая клетка с певчей птицей; под нею, в кресле, среди мотков шелка и другого женского рукоделия, возлежала пестрая кошка; и перевитая лентами гитара была прислонена к ограде фонтана.

Руис де Аларкон подивился этим милым следам женского присутствия в уединенной и, как он полагал, заброшенной башне. Ему припомнились рассказы об очарованных чертогах Альгамбры: пестрая кошка, может статься, была заколдованной царевной.

Он негромко постучал. В оконце наверху мельком показалось пленительное личико. Он ожидал, что дверь тотчас отпрут, но напрасно: изнутри не было слышно ни шагов, ни иных звуков. То ли это ему привиделось, то ли в башне обитает сказочная фея? Он постучал громче. Немного погодя ясное личико выглянуло снова, и глазам его предстала очаровательная девушка лет пятнадцати.

Паж тут же сорвал с головы оперенный берет и с отменной учтивостью попросил позволения взойти на башню за беглым кречетом.

– Я не могу вам отворить, сеньор, – отвечала, краснея, юная девица, – тетя мне запретила.

– Но я вас умоляю, красotka, – это любимый кречет королевы, и мне никак нельзя без

него вернуться ко двору.

– А вы, значит, из придворных?

– Из них, красotka; но и место свое, и милость королевы – я все потеряю, если пропадет этот кречет.

– Санта Мария! А тетя мне как раз велела ни за что на свете не впускать никаких придворных кавалеров.

– Разные есть кавалеры при дворе; но я-то – простой, ни в чем не повинный паж, и я пропал и погиб, если вы откажете мне в этой небольшой просьбе.

Несчастье пажа тронуло девичье сердце. В самом деле, как будет жаль, если он пропадет из-за таких пустяков. И он, конечно, не из тех злодеев, которые, судя по тетиним описаниям, настоящие людоеды и рыщут кругом в поисках беспечных девушек; он скромный и вежливый, так просительно стоит с шапочкой в руке и такой миловидный.

Хитрый паж увидел, что гарнизон дрогнул, и взмолился вдвое пламеннее: тут уж не устояла бы ни одна земная дева. Закрасневшаяся привратница башни сошла вниз и трепетной рукой отперла дверь; и если паж был очарован одним ее личиком в оконце, то, увидев ее теперь целиком, замер от восхищения.

Вышитый андалузский корсет и нарядная баскиня облегли нежные округлости ее еще девической фигуры. Глянцевито-черные волосы были строго посредине разделены пробором и украшены, как всюду в Испании, свежесорванной розой. Знойное солнце слегка осмугло ее лицо, но тем ярче пылал на нем румянец и яснее сияли влажные глаза.

Руис де Аларкон все это заметил с одного взгляда, ибо медлить ему было не должно; он лишь второпях поблагодарил и легко взбежал по винтовой лестнице наверх за своим кречетом.

Вскоре он возвратился с пойманным беглецом на руке. Тем временем девушка села в кресло у фонтана и принялась мотать шелк, но от волнения обронила моток на пол. Паж подскочил, поднял его и, опустившись на одно колено, подал ей; протянутую за мотком ручку он поцеловал столь пылко и самозабвенно, как никогда не целовал прекрасную руку своей государыни.

– С нами крестная сила, сеньор! – воскликнула девушка, покраснев до корней волос от изумления и замешательства: таких знаков внимания ей в жизни не оказывали.

Смирный паж рассыпался в извинениях, уверяя, что при дворе просто принято выражать так почтение и преданность.

Ее недовольство, если это было недовольство, легко улеглось, но смущение и растерянность остались; и она краснела гуще и гуще, потупив глаза и вконец запутав шелк, который все пыталась мотать.

Коварный паж заметил смятение в противном лагере и не замедлил бы им воспользоваться; но пышные речи замирали у него на устах, любезности выходили неуклюжие и неуместные, и повеса, который не моргнув глазом пленял самых взыскательных и многоопытных придворных дам, к собственному изумлению робел и терялся перед пятнадцатилетней простушкой.

В самом деле, скромность и невинность бесхитростной девы оберегали ее добродетель куда надежнее, чем теткины замки и засовы. Но где то женское сердце, которое устоит перед откровением любви? И как ни была простодушна юная андалузянка, ей было внятно все, на чем заплетался язык пажа, и сердце ее трепетало при виде первого склоненного к ее ногам воздыхателя – и какого воздыхателя!

Паж робел хоть и непритворно, но ненадолго, и к нему уже возвращалась обычная развязная непринужденность, как вдруг вдали послышался сварливый голос.

– Это моя тетя вернулась от обедни! – вскрикнула испуганная девица. – Уходите, сеньор, прошу вас.

– Не прежде, чем получу от вас эту розу в память о нашей встрече.

Она поспешно выпутала розу из черных, как вороново крыло, волос.

– Возьмите, – воскликнула она, раскрасневшись и чуть дыша, – только идите, идите скорее!

Паж принял розу из прелестной ручки, покрыв ее поцелуями. С розой на берете, он подхватил кречета на руку и в три прыжка промчался через сад, унося с собою сердце нежной Хасинты.

Когда всевидящая тетка зашла в башню, она сразу заметила, что племянница взволнована, а рукоделие разбросано, однако все тут же объяснилось:

– Кречет залетел в чертог в погоне за добычей.

– Господи помилуй! Не хватало, чтоб сюда еще кречеты залетали! Ах ты, какой бесстыжий разбойник! За птишку в клетке – и за ту покоя нет!

Неусыпная Фредегонда была самая оглашенная старая дева. Она, как водится, больше всего на свете боялась тех, кого называла «противным полом», и не доверяла им ни на грош, а многолетнее целомудрие довело ее боязнь и недоверие до белого накала. Не то чтобы эта добрая женщина испытала когда-нибудь на себе мужское коварство: природа поставила ее лицо надежным заслоном всему остальному; но женщины, которым незачем беспокоиться за себя, тем паче пекутся о целостности лакомого достояния ближних.

Отец ее сиротки-племянницы был офицером и погиб на войне. Она выросла в монастыре и лишь недавно поступила из святой обители в ведение своей тетки, под неусыпным надзором которой расцвела в безвестности, как роза, распутившаяся под сенью шиповника. Сравнение наше не совсем случайно: ее свежая утренняя красота не укрылась-таки от посторонних взоров, и соседи с поэтическим чутьем андалузских простолюдинов окрестили ее «Розой Альгамбры».

Все то время, пока королевский двор пребывал в Гранаде, рачительная тетка на совесть стерегла свою чересчур миловидную племянницу и горделиво полагала, что уследила за нею. Правда, добрую женщину иногда тревожили ночной звон гитары и любовные куплеты, при лунном свете доносившиеся откуда-то из зарослей под башней, но она призвала свою племянницу замкнуть слух и не внимать этой праздной музыке, ибо противный пол выдумал ее на пагубу бедным девушкам. Увы! Разве такие пресные назиданья уберегут бедную девушку от серенады при лунном свете?

Наконец король Филипп пресек свои гранадские досуги и внезапно отбыл со всею свитой. Неусыпная Фредегонда собственными глазами проследила, как королевский кортеж выехал из Врат Правосудия и отправился к городу главной аллеей. Когда с глаз ее скрылось последнее знамя, она облегченно вздохнула и побрела к башне: настал конец ее заботам. Но, к ее удивлению, возле садовой калитки бил землю копытом стройный арабский жеребец, и, к ужасу своему, она увидела за кущами роз юношу в расшитом наряде у ног племянницы; заслышав ее шаги, он нежно попрощался, легко перепрыгнул через ограду из камыша и мирта, вскочил на коня – и словно его тут и не бывало.

Нежная Хасинта, изнемогая от горя, и думать забыла о теткинм гневе. Она кинулась к ней на грудь и заплакала навзрыд.

– *Au de mi!* – всхлипывала она. – Он уехал! Уехал! Уехал! Я больше его никогда не увижу!

– Уехал? Кто уехал? Что это за юноша стоял сейчас перед тобой на коленях?

– Паж королевы, тетя, он заезжал проститься со мной.

– Паж королевы! – слабым эхом отозвалась неусыпная Фредегонда. – Дитя мое, когда же ты познакомилась с пажом королевы?

– В то утро, когда в башню залетел кречет. Это был кречет королевы, и он пришел за ним.

– Ах ты, глупая, глупая девочка! Эти беспутные мальчишки-пажи страшней всякого кречета, и охотятся они как раз за бедными пташками вроде тебя!

Тетка сперва досадовала: ведь влюбленные, обманув ее недреманный надзор, спознались у нее под самым носом; но, когда выяснилось, что ее простодушная племянница, не защищенная никакими засовами от козней противного пола, прошла огненный искуc, не опалившись, она утешила себя мыслью, что тут-то и сказались строгие наставленья и правила, как бы броней одевшие Хасинту с головы до ног.

Пока тетка залечивала свое уязвленное достоинство, племянница лелеяла в памяти принесенные ей несчетные клятвы любви и верности. Но что такое любовь беспокойного, суетного мужчины? Это изменчивый поток, который играет с прибрежными цветами и проносится мимо, оставляя их в слезах.

Шли дни, недели, месяцы, а паж никак не давал о себе знать. Налились гранаты, созрели виноградные гроздья, из-за гор пришли проливные осенние дожди; Сьерра-Невада накрылась снежной мантией, и зимние ветры застонали в чертогах Альгамбры – а от него ни весточки. Зима миновала. Снова настал праздник весны – звенели песни, набухали бутоны, веяли зефиры; снег на горах стоял, и лишь возвышенные пики Невады переливались белизной в знойном воздухе. А непостоянный паж как в воду канул.

Между тем бедняжка Хасинта стала бледной и унылой. Она забросила прежние занятия и забавы – не мотала шелк, не трогала гитару, не ухаживала за цветами, не слушала птицу в клетке, и глаза ее, раньше такие ясные, помутнели от тайных слез. Ни в каком уединении девичье сердце так не изноет от любви, как в Альгамбре, ибо все здесь поневоле навевает нежные, сладостные грезы. Для любящих здесь суций рай; каково же в этом раю одинокой – и не просто одинокой, а покинутой!

– Ах, глупое дитя, – говорила степенная и беспорочная Фредегонда, застав племянницу в тяжкой печали, – я ли не остерегала тебя от мужского коварства и двуличия? Да и на что могла ты рассчитывать: он ведь из знатной, честлюбивой семьи, а ты – сирота, побег захудалого и обедневшего рода. Будь уверена, если б даже юноша и не забыл тебя, все равно отец его, один из самых горделивых придворных, никогда не согласился бы на его брак с безвестной бесприданницей. Крепись же – и выбрось из головы нелепые мечтания.

От увещаний беспорочной Фредегонды ее племяннице становилось все тяжелее, и она старалась оставаться наедине со своей печалью. Однажды летним вечером, в поздний час, когда тетка удалилась на покой, она сидела одна возле алебастрового фонтана. Здесь неверный паж впервые упал перед нею на колено и поцеловал ей руку, здесь он часто клялся быть верным ей всю жизнь. Мучительно-сладкие воспоминанья стеснили сердце бедной девушки, слезы полились по ее щекам и закатали в фонтанный бассейн. Кристальная вода запузырилась, забулькала, взбурлила, закипела, заплескалась – и из фонтана медленно поднялась женщина в пышном мавританском одеянье.

Хасинта перепугалась, убежала из чертога и не посмела туда вернуться. Наутро она рассказала обо всем тетке, но почтенная дама была уверена, что это ей привиделось с тоски, а может, она просто задремала у фонтана.

– Ты, наверно, вспоминала про трех мавританских царевен, которые когда-то жили в этой башне, – продолжала она, – вот тебе такое и приснилось.

– Про каких царевен, тетя? Я про них ничего не знаю.

– Как это ты не знаешь про трех царевен, Зайду, Зораиду и Зорагаиду, которых царь-отец заточил в этой башне, и они решились бежать с тремя христианскими рыцарями! Две старшие бежали, а у младшей не хватило духу, и она, говорят, так и умерла в этой башне.

– Да, теперь вспоминаю, – сказала Хасинта, – я о них слышала и даже плакала над

участью бедной Зорагаиды.

– И недаром плакала, – заметила тетка, – ведь возлюбленный Зорагаиды – твой предок. Он долго по ней тосковал, но со временем утешился и женился на испанке: они и есть твои прародители.

Теткины слова запали на ум Хасинте. «Я-то знаю, – говорила она себе, – что я все видела наяву. Если это тень бедняжки Зорагаиды и она взаправду витает в нашей башне, то чего мне бояться? Подожду-ка я нынче вечером у фонтана: может быть, она снова явится».

Когда всюду воцарилась ночная тишь, она пришла на прежнее место. Дальний колокол на сторожевой башне Альгамбры пробил полночь, и воды фонтана опять взволновались: забулькали, взбурлили, закипели, взметнулись – и возникла та же мавританка. Она была молода и прекрасна, платье расшито жемчугами, в руке серебряная лютня. Хасинта задрожала и обмерла от страха, но ее успокоил нежный и жалобный голос и ласковое выражение бледного, печального лика.

– Смертная девушка, – сказала она, – что у тебя за печаль? Почему слезы твои тревожат воды моего фонтана, а вздохи и стенанья оглашают тихие часы ночи?

– Я плачу о мужской неверности и скорблю о том, что я брошена и одинока.

– Утешься: скорби твоей наступит конец. Пред тобою мавританская царица; подобно тебе, я была несчастна в любви. Твой предок, христианский рыцарь, пленил мое сердце; он хотел увезти меня к себе на родину и крестить в свою веру. Душою я обратилась, но мне не достало решимости, равной вере, и я промедлила в роковой миг. Поэтому злые духи получили власть надо мной, и я обречена томиться в этой башне, доколе чистая сердцем христианка не разомкнет заклетья. Сделаешь ли ты, что тебе под силу?

– Сделаю, – ответила дрожащая девушка.

– Подойди же, не бойся; погрузи руку в фонтан, покропи меня водой и окрести, как велит твоя вера: тогда чары сгинут и мой измученный дух успокоится.

Девушка приблизилась неверными шагами, зачерпнула горстью воды и окропила бледный лик призрака.

Блаженная улыбка озарила его. Серебряная лира упала к ногам Хасинты, снежные руки скрестились на груди, и виденье растаяло, словно осыпалось дождем брызг.

Хасинта покинула чертог в испуге и изумлении. В эту ночь она едва сомкнула глаза и, очнувшись на рассвете от тревожной дремы, подумала было, что все ей пригрезилось. Но когда она спустилась в чертог, ночное виденье доподлинно ожило: возле фонтана в лучах утреннего солнца поблескивала серебряная лютня.

Она поспешила к тетке, обо всем ей рассказала и призвала поглядеть на залог правдивости своих слов. Если у почтенной дамы и оставались сомнения, то они рассеялись при первом звоне лютни, ибо она зазвучала под рукою Хасинты так упоительно, что даже холодную грудь беспорочной Фредегонды, эту область вечной зимы, проняло теплотой. Такое могла свершить лишь нездешняя музыка.

Чародейная власть лютни, что ни день, становилась явственнее. Прохожий обмирал возле башни и слушал как зачарованный, затаив дыханье от восторга. Даже птицы и те слетались на ближние деревья и, смолкнув, замороженно внимали звукам лютни.

Молва понесла весть о чуде. Гранадцы толпами потянулись в Альгамбру, чтоб хоть одним ухом услышать неземную музыку, струившуюся из башни Де Лас Инфантас.

Очаровательной маленькой лютнистке пришлось оставить тесные стены. Богачи и знать наперебой старались залучить ее к себе и окружали всевозможными почестями – то есть, попросту говоря, заманивали под ее лютню к себе в салоны избранное общество. Тетка везде была у нее под боком и, словно огнедышащий дракон, распугивала стаи млеющих обожателей. Из града в град неслись о ней слухи. Малага, Севилья, Кордова одна за другою пали к ее ногам; по всей Андалузии только и говорили что о прекрасной лютнистке из Альгамбры. Еще бы: ведь андалузцы такие

ценители музыки и такие любезники – а лютня была волшебная, а лютнистка влюбленная!

Итак, вся Андалузия помешалась на музыке; между тем королевский двор сходил с ума на иной лад. Как известно, Филипп V был черный меланхолик с невероятными причудами. То он по неделям не вставал с одра мнимой болезни, то порывался отречься от престола, к великой досаде его венценосной супруги, которая обожала свой пышный двор и королевский сан и правила державою полоумного мужа твердой и искусной рукой.

Обнаружилось, что единственное лекарство от королевской хандры – музыка, и Елизавета собрала при дворе лучшие голоса и виртуознейших музыкантов; знаменитого итальянского певца Фаринелли она держала в должности лейб-медика.

В то время, о котором идет речь, хитроумный и блистательный Бурбой надумал кое-что похлеще обычного. После долгого приступа мнимой болезни, истощившей силы Фаринелли и неподвластной лекарскому искусству целого оркестра, монарх во всеуслышание скончался и объявил себя покойником.

Это было бы довольно безобидно и даже не лишено удобства для королевы и придворных, если б он и вел себя покойно, как подобает мертвецу; но, ко всеобщему огорчению, он потребовал, чтобы над ним совершили похоронный обряд. И уж вовсе они были озадачены, когда король разгневался и распек приближенных за нерадивость и непочтительность: доколе его праху дожидаться погребения?

Что было делать? Как могли раболепные придворные ослушаться короля, не нарушив щепетильного этикета? Но повиноваться и похоронить его заживо – это уже отдавало цареубийством!

Посреди такой растерянности при дворе прослышали наконец о девушке-лютнистке, от которой без ума вся Андалузия. Королева со всей поспешностью отрядила за ней гонцов, повелев доставить ее ко двору, в Санто Ильдефонсо.

Через несколько дней, когда королева прогуливалась с фрейлинами по великолепным садам, аллеи, террасы и фонтаны которых должны были затмить славу Версаля, к ней привели знаменитую лютнистку. Царственная Елизавета с удивлением поглядела на юную и простоватую девицу, которая всех сводила с ума. Она была в живописном андалузском наряде, в руке держала серебряную лютню и стояла, скромно потупившись; лишь ее чистая и свежая прелесть выдавала в ней Розу Альгамбры.

При ней, как всегда, находилась неотступная Фредегонда, которая в ответ на расспросы королевы тут же выложила всю ее родословную. Скромный вид Хасинты пришелся по душе королеве; тем приятней ей было узнать, что девица – достойного, хоть и захудалого рода и что отец ее пал смертью храбрых за короля и отечество.

– Если ты и вправду так искусна, как слывешь, – сказала она, – и сумеешь рассеять дурное наваждение, овладевшее твоим государем, то отныне я позабочусь о твоей участи и тебя ждет почет и богатство.

И, возгоревшись нетерпением изведать искусство Хасинты, она безотлагательно повела ее к опочившему королю.

Хасинта с опущенным взором миновала ряды стражи и скопища придворных. Они пришли наконец в огромный траурный покой. Окна были занавешены от Дневного света; сумрачное пламя желтых восковых свеч в серебряных канделябрах тускло освещало недвижные фигуры в черном облачении и бесшумно скользивших по сторонам придворных со скорбными лицами. Посредине, на погребальном одре, скрестив руки, возлежал все еще не погребенный монарх; виднелся лишь кончик его запрокинутого носа.

Королева молча вошла в покой, указала Хасинте на скамеечку в дальнем углу и знаком велела начинать.

Сперва она тронула струны робкой рукою, но скоро обрела уверенность и

вдохновение – и нежные звуки полились в таком сладостном согласии, что в зале повеяло чем-то неземным. А монарх и вовсе решил, что уже вознесся в царство духов и слушает ангелов или музыку сфер. Одна мелодия плавно сменилась другою, и зазвучал чистый голос певицы. Она пела старинную балладу о древней славе Альгамбры и бранных подвигах мавров. В песню она вкладывала всю душу, ибо память об Альгамбре была памятью ее любви. Призывное песнопение огласило траурный чертог, и призыв проник в пасмурное сердце монарха. Он поднял голову и огляделся, потом сел на ложе, глаза его сверкнули – наконец, прыгнув на пол, он потребовал меч и щит.

Музыка – или, вернее, волшебная лютня – восторжествовала: дух уныния был изгнан, мертвец – или все равно что мертвец – ожил. Окна раскрыли настежь, и в недавно еще омраченный покой хлынуло лучезарное испанское солнце; все взоры устремились к милой чаровнице, но лютня выпала из ее рук, она покачнулась – и через миг Руис де Аларкон прижимал ее к сердцу.

Счастливую чету вскоре обвенчали с великой пышностью, и Роза Альгамбры стала украшением и утехой двора.

– Погодите, погодите, не так быстро, – слышу я читательский возглас, – чего это вы вдруг ударились в галоп? Расскажите-ка сначала, как Руис де Аларкон оправдался перед Хасинтой.

Ничего проще: он привел веское и старое, как мир, оправдание – ему встал поперек пути спесивый, несговорчивый старик отец; к тому же, знаете, когда молодые люди друг в друге души не чают, размолвки им ни к чему и они мгновенно забывают минувшие горести.

– Ну а как же спесивый и несговорчивый старик отец все-таки согласился на их брак?

– Два-три слова королевы, и дело с концом, тем более что невеста была обласкана при дворе и осыпана почестями и наградами. К тому же, знаете, лютня Хасинты была чародейная и легко смиряла самых твердолобых и жестокосердых.

– А что случилось с волшебной лютней?

О, это самое любопытное: тут-то яснее ясного подлинность всей истории. Лютня хранилась в семье, но ее, говорят, из зависти выкрал и увез с собой в Италию великий певец Фаринелли. Тамошние его наследники не знали, что лютня волшебная, и пустили ее в переплав, а струны прикрепили к остову старой кремонской скрипки. Они и поныне отнюдь не утратили волшебной силы. Словечко на ухо читателю, только, чур, молчок: скрипка эта нынче завораживает весь мир – это скрипка Паганини!

Ветеран

Среди любопытных знакомых, которыми подарили меня прогулки по крепости, был бравый и потрепанный в битвах полковник инвалидного гарнизона, угнездившийся наподобие ястреба в мавританской башне. История его, которую он любил рассказывать, была смесью приключений, невзгод и превратностей, придающих жизни почти всякого незаурядного испанца разнообразие и прихотливость страниц Жиль Бласа.

Двенадцати лет он побывал в Америке и полагал, что жизнь обласкала и осчастливила его уже тем, что он видел генерала Вашингтона. С тех пор он принимал участие во всех войнах своей страны; он со знанием дела говорил почти обо всякой тюрьме и темнице на полуострове; на одну ногу он прихрамывал, обе руки были покалечены, и весь он был в рубцах и шрамах – словом, живой памятник испанских бед, с отметиною от каждой битвы и стычки, словно дерево, на котором Робинзон Крузо делал по зарубке в год. Однако больше всего старому вояке не повезло, когда он начальствовал в Малаге в тревожные и смутные времена и был возведен горожанами в чин генерала, дабы

защитить их от нашествия французов.

От той поры у него остался целый ворох справедливых исков к правительству, и боюсь, что он до смертного часа будет все писать и печатать прошения и меморандумы, изнуряя свой ум, истощая кошелек и испытывая друзей, каждый из которых, навестив его, выслушает полчаса чтения убийственно скучного документа и уносит в карманах с полдюжины размноженных отписок. Так, впрочем, обстоит дело по всей Испании: повсюду вам попадется какая-нибудь почтенная особа, которая, забившись в свой угол, лелеет память о незаслуженных обидах и незаглаженных несправедливостях. К тому же, если у испанца имеется какой ни на есть иск или тяжба с правительством, то он может считать себя при деле весь остаток жизни.

Я навещал ветерана в его жилище в верхнем этаже Torre del Vino, то есть Винной Башни. Комната его была невелика, но уютна, с прекрасным видом на Бегу. Обставлена она была по-солдатски. На стене висели три ружья и пара пистолетов, все вычищенные и сверкающие, с боков сабля и трость, сверху две треуголки: одна парадная, другая всегдашняя. Пяток книг на полке составлял его библиотеку: излюбленным чтением был захватанный томик философических речений. Он ежедневно просиживал над ним часами, применяя всякое речение, не лишенное трезвой горечи и указующее на неблагоустройство мира, к собственным тяжбам.

При всем том он был общителен и добродушен и, если удавалось оставить в стороне его обиды и его философию, мог многое порассказать. Я люблю таких закаленных сынов фортуны и нахожу вкус в их нехитрых армейских байках. Похаживая к полковнику, я услышал немало забавного о прежнем военном коменданте крепости, который, видимо, был ему сродни по духу и по воинской судьбе. Я дополнил его рассказы, выпросив некоторых здешних старожилов, в особенности отца Матео Хименеса: нижеописанный комендант был его излюбленным героем.

Комендант и нотариус

Во времена не столь давние хозяином Альгамбры был неустрашимый старый воин, который потерял одну руку на поле боя и потому был известен под именем el Gobernador Manco, или Однорукий комендант. Он гордился своим бранным прошлым, закручивал усы под самые глаза, носил сапоги с отворотами и толедский палаш, длинный, как вертел, с носовым платком в чашке эфеса.

Вообще он был большой гордец и педант, особенно по части собственных прав и льгот. При нем все привилегии, положенные Альгамбре как королевскому владению и резиденции, соблюдались неукоснительно. Никому не было дозволено входить в крепость ни с огнестрельным оружием, ни со шпагой или даже с палкой, – разве что он был в соответствующем чине; всякий всадник обязан был спешиться у ворот и вести коня под уздцы. А поскольку Альгамбра высится посредине Гранады и являет собой как бы нарост на этом столичном городе, то генерал-губернатору области все время досаждал такой *imperium in imperio* [21 - Государство в государстве (лат.)], крохотный независимый островок в самом центре его владений. Масла в огонь подливало и мелочное упрямство старого коменданта, который вспыхивал как порох при малейшем намеке на ущемление его власти и прерогатив; к тому же в крепость, под защиту ее неприкосновенных стен, понабрался темный народец, промышлявший грабежом и мошенничеством в ущерб честным горожанам.

Так что генерал-губернатор и комендант не вылезали из неладов и распрей, и особенно злобился, конечно, комендант, ибо из двух соседей-властителей о своем достоинстве всегда больше печется слабейший. Пышный дворец генерал-губернатора стоял на Пласа Нуэва, у самого подножия горы Альгамбры; перед ним всегда суетились

и выстраивались солдаты, слуги, городские чиновники. А над дворцом и дворцовой площадью выдавался крепостной бастион, и по этому бастиону то и дело прохаживался опоясанный палахом старый комендант, зорким глазом взирая на соперника, словно ястреб, выслеживающий добычу из гнезда на иссохшем дереве.

В город он выезжал при полном параде: либо верхом с эскортом стражи, либо в особой комендантской карете, старинном и громоздком сооружении в испанском духе, из резного дерева и раззолоченной кожи: тянули ее восемь мулов, лакеи стояли на запятках и бежали по бокам; и по бокам же ехали верховые. Он полагал, что всякий наблюдатель исполняется почтения и трепета перед наместником короля, но гранадские острословы, особенно завсегдатаи генерал-губернаторского дворца, посмеивались над карликовым парадом коменданта и, намекая на его верноподданный крепостной сброд, окрестили его «королем голодранцев».

Чаще всего два доблестных соперника препирались о праве коменданта провозить через город без досмотра все назначенное на потребу ему или гарнизону. Под покровом этой льготы процвела контрабанда. Шайка ловкачей из крепостных лачуг и окрестных землянок снюхалась с гарнизонными солдатами и на славу проворачивала свои делишки.

Генерал-губернатор насторожился. Он призвал своего советчика и поверенного в делах, хитроумного и пронырливого нотариуса-эскрибано, который очень обрадовался случаю посадить в лужу старого властителя Альгамбры, запутав его в дебрях крючкотворства. Он посоветовал генерал-губернатору настоять на своем праве досмотра каждого транспорта, проходящего через городские ворота, и настроил длинную бумагу в обоснование этого права, каковая была отправлена в Альгамбру. Комендант Манко был прямодушный старый рубака и всякого эскрибано считал родным братом самого дьявола, а этого ненавидел пуще всех остальных.

– Что? – сказал он, яростно закрутив усы. – Генерал-губернатор хочет напустить на меня своего щелкопера? Я ему покажу, что старого солдата писаниной не возьмешь.

Он схватил перо и нацарапал краткую и неразборчивую отповедь, где, не вдаваясь в тонкости, лишний раз напомнил о своем праве беспрепятственного провоза и жестоко остерег таможенных чиновников запускать свои нечистые лапы в поклажу, осененную флагом Альгамбры.

В самый разгар пререканий неуступчивых властителей случилось так, что однажды мул, груженный припасом для крепости, подошел к городским воротам возле Хениля, откуда путь вел окраиной города в Альгамбру. Командовал транспортом запальчивый бывалый капрал, давний однокорытник и любимец коменданта, ржавый и надежный, как старый толедский клинок.

Возле городских ворот капрал укрыл выюки флагом Альгамбры и зашагал, вытянувшись в струнку, вздернув голову и чуть косясь по сторонам, как пес, пробегающий чужим двором и готовый ощериться и цапнуть.

– Кто идет? – спросил часовой у ворот.

– Солдат Альгамбры! – отозвался капрал, не поворачивая головы.

– Что везете?

– Гарнизонное довольство.

– Проходи.

Капрал пропечатал шаг, за ним прошел транспорт, но вдруг из маленькой будки выскочила свора таможенников.

– Эй, куда? – крикнул их начальник. – Погонщик, стой, развязывай выюки!

Капрал повернулся кругом и принял ружье наизготовку.

– Уважай флаг Альгамбры, – сказал он. – Это поклажа для коменданта.

– Чхать на коменданта и чхать на его флаг. Погонщик, стой, тебе говорят!

– Не задерживать транспорт! – крикнул капрал, взводя курок. – Погонщик, пошел!

Погонщик огрел мула по бокам; таможенник подскочил и схватился за недоуздок; капрал приложился и застрелил его на месте.

Сбежалась вся улица, и поднялся страшный переполох.

Бывалого капрала схватили, отвесили ему несколько пинков, тычков и оплеух, которыми испанская толпа обычно предвосхищает законное наказание, заковали в кандалы и препроводили в городскую тюрьму; товарищам его было позволено следовать с изрядно выпотрошенным транспортом в Альгамбру.

Старый комендант пришел в неистовство, услышав об оскорблении своему флагу и пленении капрала. Сначала он носился по мавританским стенам и пыхтел на бастионах, как бы готовясь обрушить огонь и меч на генерал-губернаторский дворец. Когда первый гнев отошел, он отправил генерал-губернатору письмо с требованием выдачи капрала на том основании, что люди его не подсудны никому, кроме его самого. Генерал-губернатор при содействии радостного эскрибано ответил пространно, изъясняя, что поскольку проступок был совершен в стенах города и пострадал гражданский чиновник, то дело подлежит его ведению. Комендант повторил требование, генерал-губернатор ответил еще более пространно и замысловато; комендант разгорячился и безоговорочно настаивал на своем, а генерал-губернатор отвечал ему все спокойнее и все пространнее; под конец старый воин, угодивший в силки закона, ничего уже не писал и только ревел, как разъяренный лев.

Измываясь таким образом над комендантом, хитрый эскрибано не забывал и о капрале: судопроизводство шло, а преступник сидел в тесной темнице с узким оконцем, к которому он подходил, гремя цепями, принимать дружеские соболезнования.

Неутомимый эскрибано наворотил, по испанскому обыкновению, целую гору письменных свидетельских показаний, и капрал был погребен под бумажным обвалом. Его признали виновным в убийстве и присудили к повешению.

Напрасно комендант слал из Альгамбры протесты и угрозы. Роковой день надвинулся, и капрала перевели *in carilla*, то бишь в тюремную часовню, как это делают с преступниками накануне казни, чтобы они поразмыслили о близком конце и покаяться в своих грехах.

Видя, что больше медлить некогда, старый комендант решил заняться этим делом самолично. Он приказал заложить экипаж и со всею помпой прогрохотал вниз по главной аллее Альгамбры. Подъехав к дому нотариуса, он вызвал его на крыльцо.

Глаза старого коменданта загорелись, как уголья, при виде ухмыляющегося и торжествующего законника.

– Верно ли я слышал, – спросил он, – что вы тут собираетесь казнить моего солдата?

– Все по закону, все, как велит правосудие, – самодовольно отвечал эскрибано, хихикая и потирая руки. – Могу показать вашему превосходительству все письменные материалы по делу.

– Тащи их сюда, – сказал комендант. Нотариус кинулся за бумагами, радуясь лишнему случаю показать свою изворотливость и посрамить твердолобого ветерана.

Он вернулся с туго набитой сумкой и сноровисто затараторил длинное судебное заключение. Тем временем кругом собралась толпа, люди вслушивались, вытянув шею и разинув рот.

– Полезай-ка в карету, приятель, а то это болванье мешает мне тебя слушать, – сказал комендант.

Нотариус забрался в карету, дверца за ним мигом захлопнулась, кучер щелкнул кнутом – и мулы, экипаж и стража с грохотом умчались, оставив толпу в полном изумлении; комендант не успокоился, пока не засадил пленника в самый глухой каменный мешок Альгамбры.

Затем он выслал на военный манер парламентариев с белым флагом и предложил картель, или обмен пленными: капрала за нотариуса. Генерал-губернатор был задет за

живое, прислал презрительный отказ, и Пласа Нуэва вскоре украсилась посредине высокой прочной виселицей.

– Ого! Вот мы как? – сказал комендант Манко. Он распорядился, и на краю большого бастиона над площадью был немедленно вбит столб с перекладиной. «Что ж, – написал он генерал-губернатору, – вешайте моего солдата когда вам угодно; но, когда вы его вздернете, поглядите наверх и увидите, как пляшет в петле ваш эскрибано».

Генерал-губернатор был непреклонен: войска выстроились на площади, загрохотали барабаны, ударил колокол. Огромная толпа зевак собралась поглазеть на казнь. В ответ комендант выстроил своих солдат на бастионе, и похоронный звон по нотариусу понесся с Torre de la Сатрапа – Колокольной Башни.

Сквозь толпу протиснулась жена нотариуса с целым выводком эскрибано, мал мала меньше, и бросилась к ногам генерал-губернатора, умоляя его отступить от гордыни, пожалеть ее и малюток и пощадить жизнь ее мужа. «Вы ведь знаете старого коменданта, – рыдала она, – он же непременно исполнит угрозу, если вы повесите этого солдата».

Генерал-губернатор снизошел к ее слезам и мольбам и сжалился над плачущими детишками. Капрала повели в Альгамбру в облачении висельника, точно монаха в клобуке, но с гордо поднятой головой и каменным лицом. В обмен по условиям картели был затребован эскрибано. Еще недавно егозливый и самодовольный, законник вышел из темницы ни жив ни мертв. Его наглости и бахвальства как не бывало; он наполовину поседел от страха, и вид у него был такой жалкий и пришибленный, словно он все еще чувствовал петлю на шее.

Старый комендант подбоченился одной рукой и с жесткой улыбкой смерил его взглядом.

– Вот так, приятель, – сказал он, – впредь не торопись отправлять людей на виселицу, не думай, что закон сам себе оборона, а главное – другой раз не донимай своей писаниной старого солдата.

Комендант Манко и солдат

Хотя комендант Манко, то бишь «Однорукий», самовластно правил Альгамброй по-военному, ему все время пеняли на то, что крепость его – сущий притон мошенников и контрабандистов. Внезапно старый властелин решил разом навести порядок и, твердой рукою взявшись за дело, вышвырнул из крепости всех проходимцев и очистил от бродяг окрестные холмы, изрытые цыганскими землянками. Вдобавок он разослал патрули по дорогам и тропинкам с наказом забирать всех подозрительных прохожих.

Однажды, ярким солнечным утром, патруль в составе запальчивого бывшего капрала, отличившегося в истории с нотариусом, трубача и двух рядовых сидел возле садовой стены Хенералифе у дороги, которая ведет вниз с Солнечной Горы; вдруг они слышали цоканье копыт и мужской голос, сипловатый, но не лишенный приятности, распевавший старую кастильскую походную песню.

Вскоре на глаза показался крепкий загорелый детина в затасканном пехотном мундире, в поводу он вел статного арабского коня, оседланного на старинный мавританский манер.

Подивившись, откуда взялся на этой одинокой горе незнакомый солдат, да еще с конем, капрал выступил вперед и окликнул его.

– Кто идет?

– Друг.

– Кто таков?

– Солдат с войны домой, выслужил ломаный грош да пустой кошелек.

Теперь они могли разглядеть его поближе. Лоб его пересекала черная повязка, борода была седовата, и вообще вид лихой, а смотрел он с легким прищуром и проблеском хитроватого добродушия.

Ответив на вопросы, солдат, видно, решил, что теперь и сам может поспрашивать.

– А скажите-ка мне, – сказал он, – что это за город там, под горою?

– Что за город? – воскликнул трубач, – ну, это ты брось. Разгуливает по Солнечной Горе да еще спрашивает, как называется город Гранада!

– Гранада! *Madr? de Dios!* Да не может быть!

– Еще как может! – возразил трубач. – А тебе ведь небось и то невдомек, что вон там – башни Альгамбры?

– Слушай, труба, – отвечал незнакомец, – ты со мной не шути. Если это и вправду Альгамбра, то мне надо такое рассказать коменданту!

– Вот и расскажешь, – сказал капрал, – мы тебя как раз к нему иведем.

Трубач перехватил лошадь под уздцы, двое рядовых взяли солдата под руки, капрал встал впереди, скомандовал «шагом марш!» – и они отправились в Альгамбру.

Потрепанный пехотинец и дивный арабский скакун, захваченные патрулем, – это был подарок всем крепостным зевакам, а особенно болтунам и болтуньям, с раннего утра обсевшим колодцы и родники. Колодезное колесо переставало вертеться, а неряха служанка застывала с кувшином в руке, во все глаза уставившись на капрала с добычею. Патруль провожала пестрая толпа.

Люди понимающе кивали, перемигивались и строили догадки. «Дезертир», – говорил один. «Контрабандист», – возражал другой. «Бандолеро», – объяснял третий; и скоро все сошлись на том, что храбрый капрал с патрулем изловил главаря шайки отчаянных бандитов. «Ну, ну, – говорили друг другу старые перечницы, – главарь не главарь, а пусть-ка он попробует теперь вырваться из когтей коменданта Манко, даром что у него только одна рука».

В это время комендант Манко сидел в дальнем чертоге Альгамбры и пил утреннюю чашку шоколаду в обществе своего духовника – жирного францисканца из соседнего монастыря. Им прислуживала скромная черноглазая красотка из Малаги, дочь экономки коменданта. Ходил слух, что эта скромненькая девица – редкостная плутовка, что она нашла слабую струнку в сердце железного коменданта и прибрала его к рукам. Впрочем – не надо лезть в домашние дела сильных мира сего.

Когда его превосходительству доложили, что неподалеку от крепости задержан подозрительный бродяга, каковой дожидается во дворике под охраной капрала, не соизволят ли его допросить, комендант горделиво и начальственно выпятил грудь. Он допил шоколад и вручил чашку скромной девице, велел принести свой палаш с эфесом-корзинкой, препоясался им, закрутил усы, уселся в высокое кресло, принял строгий и неприступный вид и приказал ввести пленного. Солдаты все так же крепко держали его под руки; сзади шел капрал с ружьем наперевес. Пленник, однако, смотрел по-прежнему беспечно и самоуверенно и в ответ на всепроникающий взор коменданта чуть-чуть ему подмигнул, что отнюдь не понравилось церемонному старому владыке.

– Итак, негодяй, – сказал комендант, оглядев его с головы до ног, – что ты скажешь в свое оправдание – кто ты такой?

– Солдат прямиком со службы, награжден рубцами да шрамами.

– Солдат, кхм, судя по мундиру, пехотинец. А говорят, у тебя прекрасный андалузский конь. Это что же – в придачу к рубцам да шрамам?

– С позволения вашего превосходительства, лошадь эта – диковинная животино. И рассказ мой будет самый что ни на есть удивительный, однако же имеющий касательство до охраны крепости – да что! всей Гранады. Но предназначен он только для ваших ушей и для тех, от кого у вас нет секретов.

Взвесив его слова, комендант велел капралу с солдатами удалиться и встать на часах

за дверью.

– Этот пречестной брат, – сказал он, – мой духовник, при нем можно говорить все, а эта девица, – и он кивнул на служанку, которая замешкалась с видом величайшего любопытства, – девица эта скромна, не болтлива и заслуживает полного доверия.

Солдат не то подмигнул скромной служанке, не то осклабился в ее сторону.

– По мне, – сказал он, – девица делу не помеха.

Когда все лишние удалились, солдат начал рассказ. Говорил он бойко и складно, не по-солдатски расторопным языком.

– С позволения вашего превосходительства, – сказал он, – я, как я уже имел честь доложить, солдат и послужил на славу, но срок моей службы истек, меня совсем недавно в Вальядолиде списали вчистую, и я отправился пешим ходом в родную андалузскую деревню. Вчера под вечер я шагал по широкой голодной степи Старой Кастилии.

– погоди! – прервал комендант. – Что это ты несешь? От нас до Старой Кастилии миль двести или триста.

– Вот именно, – спокойно отвечал солдат. – Я же сказал вашему превосходительству, что повесть моя преудивительная, но притом правдивая, как ваше превосходительство и убедитесь, ежели наберетесь терпения.

– Рассказывай, мерзавец, – молвил комендант, подкручивая усы.

– Солнце клонилось к закату, – продолжал солдат, – и я стал озираться, не видать ли какого жилья для ночевки, но кругом, сколько хватало глаза, простиралась безлюдная степь. Придется, видно, подумал я, заночевать на голой земле, подложив ранец под голову; ваше превосходительство сами старый солдат и понимаете, что военному человеку к такому не привыкать.

Комендант кивнул в знак согласия, вытащил платок из корзинки-эфеса и отогнал муху, которая жужжала у его носа.

– Короче говоря, – продолжал солдат, – прошел я еще несколько миль и набрел на мост над глубоким ущельем, на дне которого чуть поблескивал ручеек, по летнему делу почти высохший. Возле моста была мавританская башня, верх в развалинах, а подвал целехонький. Вот, думаю, здесь и на постой; спустился к ручью, напился как следует – глотка пересохла, а вода была чистая, свежая; достал я из ранца луковку и краюшку, весь свой припас, сел у ручья на камень и давай ужинать – а потом, думаю, завалюсь спать в подвале: не худая квартира для человека служивого, как ваше превосходительство, тоже старый солдат, и сами понимаете.

– Бывало, устраивался я и похуже, – сказал комендант, уложив носовой платок обратно в эфес-корзинку.

– Жую я свою краюшку, – продолжал солдат, – и вдруг слышу какой-то шум из подвала; прислушался – никак лошадь переступает. А потом выходит из подвальной двери неподалеку от воды какой-то человек и ведет под уздцы статного коня. Что за человек, при звездах не видно, а луны не было. Место дикое, глухое; с чего бы ему торчать в этой башне? Может, путник вроде меня, может, контрабандист, а может, и бандолеро – что из этого? Я, слава богу, гол как сокол, с меня много не возьмешь; сижу себе, жую краюшку.

Подвел он лошадь к воде почти рядом со мной, и тут я его разглядел толком. И удивился: одет он был по-мавритански, в стальных латах и круглом полированном шлеме – это я понял по звездному отсвету. И лошадь в мавританской сбруе, широкие такие стремена лопаткой. Так вот, я говорю, подвел он коня к ручью, тот запустил голову в воду по уши, пьет и пьет, как бы, думаю, не лопнул.

– Приятель, – говорю, – ну и пьет у тебя конь, это добрый знак, когда лошадь смело сует морду в воду.

– Пусть его пьет, – сказал чужак с мавританским выговором, – он уж год как ни

глотка не пил.

– Клянусь Сантьяго, – говорю, – куда до него верблюдам, которых я видел в Африке. Слушай-ка, ты вроде как тоже солдат, может, сядешь, перекусишь со мной походному?

Честно сказать, мне было как-то не по себе в этом безлюдье, а он хоть и неверный, а все человек. К тому же ваше превосходительство и сами знаете, солдата с кем только судьба не сведет, для нашего брата религия дело десятое, и в мирное время солдат солдату друг и товарищ.

Комендант снова кивнул.

– Вот я и говорю; предложил я ему разделить какой ни на есть ужин, надо же было как-то оказать дружелюбие. А он:

– Некогда мне ни есть, ни пить. Мне до утра далеко поспеть надо.

– А в какие края? – спрашиваю.

– В Андалузию, – сказал он.

– Значит, нам с тобой по пути, – говорю, – ну, раз не хочешь со мной поесть, может, хоть подвезешь меня? Конь у тебя, вижу, крепкий, двоих легко свезет.

– Ладно, – сказал конник, да и как ему отказать, это уж было бы невежливо и не солдатски, я ведь с ним готов был разделить кусок хлеба. И он вскочил на коня, а я уселся за ним.

– Держись крепче, – сказал он, – конь у меня быстрее ветра.

– И не таких видали, – говорю, и он тронул коня.

С шага на рысь, с рыси на галоп, а там – вскачь и во весь опор. Скалы, деревья, дома – все только мелькнет, и нет.

– Что это за город? – спрашиваю.

– Сеговия, – сказал он, и только сказал, а уж башни Сеговии далеко позади. Взлетели мы на горы Гвадаррамы и вниз у Эскуриала; промчались мимо стен Мадрида, пронеслись по равнинам Ламанчи. Так и стлались с вершины в низину, через горы, степи и реки в тусклом звездном блеске.

Словом, чтоб не томить ваше превосходительство, всадник вдруг встал на горном откосе. «Приехали, – сказал он, – здесь конец пути». Смотрю – а жилья кругом никакого, только вход в пещеру. Еще смотрю – и вижу: подъезжают и подходят люди в мавританском платье, словно их ветром приносит с четырех сторон света, и спешат внутрь пещеры, как пчелы в улей. Я и спросить ничего не успел, а конник вогнал лошади в бока свои длинные мавританские шпоры, и мы смешались с толпой. Петляли мы, петляли крутой дорогой и спустились в самую глубь горы. Понемногу откуда-то забрезжил свет, словно бы утренний, ранний-ранний. Потом будто и совсем рассвело, и мне стало видно все кругом. Справа и слева по дороге были просторные пещеры, вроде зал в арсенале. В одних по стенам висели щиты, шлемы, латы, копья, сабли, в других лежали громадные кучи всякого походного боевого снаряженья.

Вот бы порадовалось солдатское сердце вашего превосходительства, если б вы видели, сколько там заготовлено оружия и амуниции! А в других пещерах рядами стояла конница в полном вооружении, с развернутыми знаменами и копьями наготове, хоть сейчас в бой, но неподвижные, как статуи. Были еще залы, где витязи спали на земле возле своих коней, а пехота, казалось, вот-вот построится. И все в старинном мавританском платье и доспехах.

Короче, ваше превосходительство, мы наконец попали в огромную пещеру или, лучше сказать, подземный дворец: стены там в жилах золота и серебра сверкают алмазами, сапфирами и всякими самоцветами. В дальнем конце возвышение, на нем золотой трон, на троне мавританский царь, а по бокам толпятся вельможи и стоят негры-телохранители с саблями наголо. Народ валил и валил несчетными тысячами, и все один за одним подходили к трону и чествовали царя. Одни пришельцы были в

расшитом каменьями пышном облачении без единого пятнышка, другие – в истлевших, заплесневелых лохмотьях, и доспехи на них погнутые, иссеченные и заржавленные.

Я до поры придерживал язык: ваше превосходительство сами знаете – негоже солдату лезть с вопросами, но тут уж я не выдержал.

– Слушай, приятель, – говорю, – что это за кутерьма?

– Это, – сказал всадник, – великая и страшная тай на. Знай, о христианин, что пред тобою двор и войск Боабдила, последнего царя Гранады.

– Какой еще, – говорю, – двор и войско? Боабдил с его двором вытурили отсюда уж сколько сот лет назад, и все они перемерли в Африке.

– Да, так написано в ваших лживых летописях, – отвечал мавр, – но знай же, что Боабдил и его воинство, все защитники Гранады были замкнуты в глубине горы мощным заклатьем. А царь и войско, которые будто бы оставили покоренную Гранаду, – это было шествие в их облике духов и демонов, дабы обмануть христианских государей. И скажу тебе еще, друг, что вся Испания – зачарованная страна. Нет такой горной пещеры, одинокой башни на равнине или разрушенного замка в горах, где бы скрытно не дремал околдованный витязь – век за веком, пока не искупятся грехи, за которые попушением Аллаха правоверные на время утратили это царство. Только однажды в году, в канун святого Иоанна, заклатье снимается от заката до рассвета и нам позволено примчаться сюда и поклониться своему государю; толпы, которые на твоих глазах вливались в пещеру, – это мусульманские воины со всех концов Испании. И я из них. Ты видел разрушенную предмостную башню в Старой Кастилии? В ней я провел много сотен лет и туда обязан вернуться до зари. А конные и пешие воины, застывшие в строю соседних пещерах, – все это очарованные защитники Гранады. В Книге судеб написано, что, когда минет срок заклатья, Боабдил ринется с горы во главе своего войска, отвоюет наследный дворец Альгамбры и гранадский престол, соберет воедино рассеянных по всей Испании зачарованных воинов, и зеленое знамя пророка снова заплещется над полуостровом.

– И когда же это все будет? – говорю.

– Аллах один ведает; мы уже надеялись, что близок день избавленья, но Альгамбра попала в железные руки неусыпного правителя, закаленного старого воина, всем известного под именем коменданта Манко. И пока такой воитель стоит головной заставою, готовый отразить первый натиск с горы, придется Боабдилу и его витязям еще подремать.

Комендант выпрямился в кресле, поправил палаш и подкрутил усы.

– Словом, чтоб опять же не слишком докучать вашему превосходительству, конник рассказал мне все это и спешился.

– Побудь здесь, – сказал он, – и постереги моего коня, а я пойду преклоню колено перед Боабдилом.

Вслед за этими словами он пристал к толпе, которая чередом продвигалась к трону.

– Как быть? – подумал я, оставшись сам по себе. – Ждать ли здесь, пока этот нечестивец вернется и умыкнет меня на своем бешеном скакуне бог весть куда; а может, не тратя времени попусту, вырваться из сонмища этих живых мертвецов? Ваше превосходительство сами знаете, солдат долго не раздумывает. Что до лошади, то хозяин ее был завзятый враг нашей веры и королевства, так что лошадь его по законам войны была моя. Я перескочил с крупа в седло, дернул поводья, шлепнул коня по бокам мавританскими стремянами: забрался сюда, так пусть и выбирается как знает. Когда мы скакали мимо тех залов, где мусульманские конники стояли в недвижимом строю, мне почудилось бряцанье оружия и глухой гул голосов. Я еще раз поддал коню стремянами, и мы помчались вдвое быстрее. Позади раздался грохот, словно от обвала; цокну ли о камень тысячи копыт; меня нагнала бесчисленная толпа, понесла и вышвырнула из пещеры; тысячи тысяч теней разлетались на все четыре стороны.

В вихре и сумятице я грянулся оземь и лишился чувств. Когда я пришел в себя, оказалось, что я лежу на уступе скалы, а конь стоит возле: упавши, я неотпустил уздечки, а то бы он, пожалуй, умчался в свою Старую Кастилию.

Ваше превосходительство легко можете себе пред, ставить мое изумление, когда я огляделся кругом и увидел заросли алоэ, индийские смоквы и прочие южные растения; а внизу был большой город с башнями, дворцами и громадным собором.

Я побрел вниз, взяв коня в повод: сесть на него побоялся, чтоб он чего не выкинул, мало ли. По пути мне встретился ваш патруль, и я узнал от него, что подо мною – о диво! – лежит Гранада, а сам я у стен Альгамбры, крепости неустрашимого коменданта Манко, грозы всех зачарованных мусульман. Услышав это я решил тут же явиться к вашему превосходительству рассказать вам обо всем и предупредить об опасности вокруг и снизу, чтобы вы своевременно оборон крепость и самое королевство от этого мерзостно воинства, затаившегося в утробе земли.

– Так скажи, друг, ты ведь опытный воин и нанюхался пороху, – сказал комендант, – как, по-твоему, вернее уберечься от беды?

– Смею ли я, простой рядовой, – смиренно сказал солдат, – давать советы вашему превосходительству, столь умудренному боевым опытом? Мне лишь кажется, что если ваше превосходительство прикажете наглухо замуровать все горные пещеры и расселины, Боабдил со своими полчищами окажется вроде как подземной мышеловке. А если еще и святой отец, добавил солдат, отвесив почтительный поклон инок и набожно перекрестившись, – удостоит освятить эти завалы и укрепить их крестами, мощами и святынями, то что против них любые заклятья нечестивых!

– Да, святыни суть крепость нерушимая, отозвался монах.

А комендант подбоченился, возложив руку на эфес своего толедского палаша, вперил взор в солдата и медленно повел головой из стороны в сторону.

– Неужто же, приятель, – сказал он, – ты и вправду полагал обморочить меня такими дурацкими байками об очарованных горах и зачарованных маврах? Молчать, мерзавец! – ни слова больше. Может, ты и старый солдат, но пред тобой солдат куда постарше так что оставь свои воинские хитрости. Эй, стража! Заковать малого в кандалы.

Скромная служанка хотела было замолвить словечко за пленника, но, глянув на коменданта, смолчала.

Заковывая солдата, один из стражей заметил, что карман его отнюдь не пуст, и вытащил оттуда длинный, туго набитый кожаный кошель. Взяв его за конец, он вытряхнул содержимое на стол перед комендантом, и надо сказать, что добыча была отменная. Перстни, украшения, жемчужные четки, сверкающие алмазные крестики, куча старинных золотых монет – все звякнули со стола на пол и раскатились по чертогу.

Правосудие приостановилось: все ползали, собираючи раскатившиеся сокровища. Один комендант, преисполненный подлинно испанской гордости, сидел горделиво и неподвижно, хотя в глазах его мелькала тревога, покуда последняя монета и последний перстень не были уложены обратно в кошель.

Монах был не столь спокоен: лик его пылал, как печь, а глаза блестели и разбегались при виде четок и крестов.

– Ах ты, гнусный святотатец! – воскликнул он, – храм или часовню ты ограбил, стяжав столь святыне реликвии?

– Ни храм, ни часовню, честной отец. Добыча-то, может, и святотатственная, но ее давным-давно стяжал тот нечестивый всадник, о котором шла речь. О ней-то я и собирался сказать его превосходительству, когда он мне запретил говорить: я, завладев чужой лошадей, положил в карман кожаный мешок, который висел у луки, и в нем, как видите, давняя добыча, с тех еще пор, как здесь и всюду хозяйничали мавры.

– Рассказывай, рассказывай, а пока что посиди-ка ты у нас в Алых Башнях: они хоть и не под заклатьем, но годятся на такой случай не хуже любой твоей мавританской зачарованной пещеры, – усмехнулся комендант.

– Да как ваше превосходительство устроите, на том и спасибо, – безмятежно сказал пленник. – Мне что, мне любое помещение сойдет; ваше превосходительство сами знаете – солдат человек привычный и привередничать не станет. Была бы темница покрепче да похлебка погуще, а там хоть трава не расти. Об одном только попрошу ваше превосходительство: позаботившись обо мне, не забудьте заткнуть горные ходы-выходы.

На том покамест и кончилось. Узника отвели в Алые Башни, в самый надежный каземат, арабскому коню нашлось место на конюшне его превосходительства, а кожаному мешку – в его превосходительства заветном ларчике. Правда, монах закинул было удочку насчет того, что награбленные святыни суть достояние церкви, но комендант его как-то не расслышал, и пречестной брат решил понапрасну не настаивать на своем, а просто оповестить об этом церковные власти в Гранаде.

Чтобы понять, отчего старый комендант Манко был так крут и скор на расправу, надо знать, что в то время в горах Альпухарры по соседству с Гранадой бесчинствовала шайка разбойников, дерзкого главаря которой звали Мануэль Бораско. Они разъезжали по дорогам и даже являлись переодетыми в городе, вынюхивая караваны с товаром и путников с туго набитым кошельком; потом их поджидали и обчищали в какой-нибудь глухомани. Эти беспрестанные и наглые грабежи наконец растревожили правительство, и местному начальству были разосланы указания не дремать и хватать всех подозрительных бродяг. Комендант Манко проявлял особое усердие: ведь о его крепости поговаривали худо, и теперь он не сомневался, что изловил кого-то из подручных Бораско.

Между тем молва понеслась и разговоры пошли не только в крепости, но и по всей Гранаде. Говорили, что тот самый Мануэль Бораско, гроза Альпухарры, угодил в когти старого коменданта Манко и сидит теперь в Алых Башнях; и все когда-нибудь ограбленные побежали его опознавать. Известно, что Алые Башни стоят в стороне от Альгамбры, на соседнем холме, и отделены от нее ложбиной, по которой проходит главная аллея ко дворцу. Ограждения нет: часовой несет стражу прямо перед башней. Зарешеченное оконце той камеры, куда засадили солдата, выходило на маленькую площадку. Здесь собирались поглядеть на него добрые люди из Гранады, словно на хохочущую гиену за прутьями зверинца. Никто, однако ж, не признал в нем Мануэля Бораско: у того ужасного грабителя вид был совершенно кровожадный и такого дружелюбного прищура быть никак не могло. Приходили не только из города – со всего края сходились люди, но узник никому не был знаком, и народ стал подумывать, нет ли правды в его рассказах. Что Боабдил с войском замкнуты внутри горы – это было старинное предание, и старожилы слышали о нем еще от своих отцов. Толпы ходили на Солнечную Гору – вернее, на гору святой Елены – искать пещеру, о которой говорил солдат; многие подходили к глубокому черному колодцу, заглядывали в него и думали, так ли уж он глубок, – но и поныне он слышит входом в подземные чертоги Боабдила.

У простолюдинов солдат постепенно стал героем. В Испании разбойника с гор отнюдь не презирают, как презирают грабителя в любой другой стране; напротив, простые люди видят в нем едва ли не рыцаря. Да и к начальству как не придрататься при случае: многие начали роптать, что комендант Манко чересчур уж строг, и узника произвели в мученики.

К тому же и солдат был весельчак и балагур: всякого подходившего к оконцу он награждал шуточкой, а со всякою дамой любезничал. Он раздобыл откуда-то старую гитару, сидел у окна и распевал баллады и куплеты к восторгу женского пола,

сходившегося ввечеру на площадку попеть и сплясать болеро. Бороду свою он подстриг, загорелое лицо его женщинам нравилось, а скромная служаночка коменданта сказала даже, что прищур его бьет наповал. Эта добросердечная девица с самого начала прониклась состраданием к его злосчастной судьбе и, вотще попытавшись смягчить коменданта, стала сама облегчать жизнь узнику. Каждый день она приносила ему то-другое с комендантского стола, а иногда и из кладовой, от щедрот своих прибавляя бутылочку отборного Валь де Пеньяс или душистой малаги.

Покамест коменданту эдак потихоньку изменяли его тылы, враги его бушевали и неистовствовали. В Гранаде давно было известно, что при пленнике оказался кошель золота и драгоценностей, и молва давно превратила кошель в мешок. Старинный соперник коменданта генерал-губернатор тут же поднял территориальный вопрос. Он настаивал, что раз пленник был захвачен вне пределов Альгамбры, то он подлежит его ведению, а посему требовал выдачи его тела и *spolia opima* [22 - Оружие и доспех вражеского предводителя (лат.).] вдобавок. А смиренный инок сообщил Великому Инквизитору о крестах, четках и прочих святынях из кошеля, преступник был уже обвинен в святотатстве и телесно затребован на очередное аутодафе, добычу же его надлежало вернуть церкви. Страсти разгорелись: разъяренный комендант клялся, что он отнюдь не выдаст узника, но скорее вздернет его на виселицу в Альгамбре как шпиона, изловленного возле крепости. Генерал-губернатор пригрозил выслать отряд солдат и забрать узника из Алых Башен в городскую тюрьму. Великий Инквизитор тоже собрался действовать своими силами. Коменданту донесли об этих замыслах поздно вечером.

– Пусть себе приходят, – сказал он, – а я их дожидаться не стану. Ранней нужно быть пташкой, чтоб обштопать старого солдата.

И он распорядился на рассвете перевести узника в подвальную темницу главной башни Альгамбры.

– Вот что, детка, – сказал он своей скромной служанке, – постучи-ка в дверь и разбуди меня до первых петухов, я сам за всем присмотрю.

День забрезжил, петухи пропели, но в дверь коменданта никто не постучал. Солнце высоко поднялось над горными вершинами и светило вовсю, когда коменданта пробудил от утренних сновидений бывалый капрал, и каменное лицо его было искажено ужасом.

– Нету! Ушел! – крикнул капрал, едва переводя дыхание.

– Кого нету? Кто ушел?

– Солдат – разбойник, а может, и сам дьявол: темница его пуста, а дверь на замке, и никто не знает, как он оттуда выбрался.

– Кто последний видел его?

– Ваша служанка: она ему относилась ужин.

– Позвать ее немедленно.

Но и служанку позвать не удалось. Ее комната тоже была пуста, а постель не смята: видно, она составила компанию преступнику, с которым последние дни почасту разговаривала.

Это тронуло старого коменданта за больное место; но не успел он опомниться, как открылись новые пропажи. В комендантской он обнаружил, что заветный ларь его раскрыт и оттуда исчез кожаный кошель, а с ним еще пара увесистых мешков с дублонами.

Но как и куда скрылись беглецы? Старый кресту янин из хижины у дороги на сьерру объявил, что перед рассветом был разбужен конским топотом, унесшимся в горы. Он высунулся из окна и успел разглядеть всадника, спереди которого сидела женщина.

– К конюшням! – крикнул комендант Манко. Кинулись к конюшням: все лошади были в стойлах, кроме арабского скакуна. На его месте у яслей торчала здоровенная

дубина с подколотой запиской: «В дар коменданту Манко от старого солдата».

Празднество в Альгамбре

День ангела моего соседа и равнопрестольного соперника пришелся на его пребывание в Альгамбре, и в придачу к родне и домочадцам на этот семейный праздник съехались из дальних мест управители и старые слуги графа – поздравить именинника, повеселиться и на славу угоститься. Это было хоть и слабое, но живое подобье старинных обычаев испанской знати.

Испанцы всегда и во всем любили размах. Огромные дворцы, тяжелые экипажи с лакеями на подножках и запятках, пышные выезды, всевозможная и бесполезная прислуга – кажется, чем родовитее вельможа, тем больше народу толчется у него в доме, кормится за его счет и норовит слопать его живьем. Во времена войн с маврами, войн непрерывных и внезапных, была, конечно, надобность содержать толпы вооруженной челяди, всякого могли в любой день осадить в собственно?! замке или призвать на врага с ополчением.

Но войны кончились, а обычай остался; что было необходимостью, стало чванством. Завоеванья и открытия обогащали страну и сопутствовали пристрастью к царственному роскошеству. В Испании от века заведено – из тщеславия пополам со щедростью, – что престарелого слугу не прогоняют, а содержат до его смертного часа; мало того, его дети, внуки, а пожалуй, еще родня и свойственники постепенно прибывают к дому. Поэтому великолепные дворцы испанских вельмож, где огромные хоромы кой-как обставлены скудной и небогатой утварью и оттого производят впечатление дутой роскоши, строились исходя из обыкновений их владельцев. В них еле-еле размещались поколения у наследованных нахлебников, объедавших знатного испанца.

Патриархальные обычаи испанской знати пришли в упадок с оскудением доходов, но дух, питавший их, жив доселе и нипочем не желает считаться с переменами. Даже у самых бедных дворян непременно есть наследственные прихлебатели, которые помогают им нищать. А те, кто, подобно моему соседу графу, сохранил остатки былых несметных богатств, хранят трогательную верность заветам предков, и поместья их запружены толпами всепожирающей праздной челяди.

Поместья графа, частью весьма обширные, разбросаны по всему королевству, но доход от них невелик: иные, как он меня заверил, едва-едва продовольствуют тамошние полчища дворовых, которые твердо знают, что им положен от графа стол и дом – ведь их предки объедали его род с незапамятных времен!

Именины старого графа позволили мне присмотреться к испанскому быту. Приготовленья к празднику шли два или три дня. Из города привозили всевозможные яства, лаская обоняние инвалидов на часах у Врат Правосудия. По дворикам сновали хлопотливые слуги, в старинной дворцовой кухне шумно сутились повара и поварята, и очаги гудели непривычным огнем.

В торжественное утро я видел старого графа патриархом: вокруг него собралась семья и домочадцы; тут же были и управители, разорвавшие его именья себе на потребу, а бесчисленные древние слуги и старинные нахлебники разгуливали по дворикам и тянули носом в сторону кухни.

Альгамбру заполонило веселье. В ожидании обеденного часа гости рассеялись по дворцу и тешились прелестью его чертогов, фонтанов и тенистых садов; в залах, недавно столь тихих, звенели смех и музыка.

Пировали – ибо званый обед в Испании подлинное пиршество – в прекрасном мавританском Чертоге Двух Сестер. Столы ломились от изобилия плодов, череде блюд не было конца, и я подивился, до чего верно описано в «Дон Кихоте» испанское

пиршество на богатой свадьбе Камачо. За столом царило радостное оживление: хотя обычно испанцы воздержаны, но в таких случаях они – а в особенности андалузцы – прямо-таки упиваются едою. Я же был странно возбужден оттого, что пирую в царских чертогах Альгамбры, а хозяин мой – отдаленный родственник мавританских владык и прямой потомок Гонсальво из Кордовы одного из знаменитейших христианских воителей.

После пирушки мы перебрались в Посольский Чертог. Здесь каждый старался внести лепту в общее веселье: пели, импровизировали, рассказывали удивительные истории, плясали народные танцы под звон гитары, этой вездесущей улады испанского сердца.

Как обычно, юная дочь графа одушевляла и восхищала все общество, и я наново залюбовался ее чарующей и многообразной одаренностью. Она представила с подружками две-три сценки изящной комедии, в которых играла непринужденно и с тонкой грацией; она изображала – всерьез и в шутку – знаменитых итальянских певиц, и голос ее разливался на все лады, а меня вдобавок заверили, что изображенья весьма похожие; столь же удачно она подражала наречьям, танцам, песням и повадкам цыганок и крестьянок из долины – и все это с пленительным изяществом и женственным тактом.

Особенно обаятельно было то, что она ничуть не тщеславилась и не манерничала. Все делалось само собою или не чинясь в ответ на просьбу. Ей словно и невдомек были собственная прелесть и незаурядные дарованья; она резвилась простодушно и беспечно, как ласковое и невинное дитя в своем доме. Мне, кстати, было сказано, что на людях она никогда не разыгрывается – вот только как сейчас, в домашнем кругу.

Должно быть, она была на редкость приметлива, ибо те сцены, нравы и повадки, которые представляла столь верно и живо, могла наблюдать лишь мельком. «Мы и сами все время удивляемся, – сказала графиня, – где это наша Ла Нинья так успела навестриться: она ведь почти безвыездно живет дома, в лоне семьи».

Близился вечер; сумеречные тени устлали чертоги; нетопыри выбрались из укрытий и заматались туда-сюда. Юной графине и ее подружкам взбрело на ум пройтись под водительством Долорес по нехоженным закоулкам дворца в поисках тайн и волшебства. Они боязливо заглянули в угрюмую старую мечеть и прянули прочь, услышав, что здесь был убит мавританский царь; они отважно спустились в таинственные купальни, напугали друг друга ворчаньем воды в скрытых трубопроводах и пустились бежать, для пущего страха притворяясь, будто увидели зачарованных мавров. Потом они отправились к Железным воротам, о которых в Альгамбре ходит недобрая слава. Это потайной выход в темное ущелье, к нему ведет узкий крытый проулок. В детстве Долорес и ее сверстницы очень боялись этого проулка, потому что там из стены высовывается бестелая рука и хватает проходящих.

Стайка искательниц волшебства подобралась к этому проулку, но войти в него на ночь глядя было уж очень боязно: страшная рука-то ведь не дремлет!

Наконец они примчались обратно в Посольский Чертог, задыхаясь от полупритворного ужаса: там, в проходе, два призрака в белом! Разглядеть их они не успели, но все видели, как они белеют в сумраке. Скоро подросла Долорес: она объяснила, что это не призраки, а две мраморные красавицы у входа в сводчатый проулок. Некий степенный, но, по-моему, чуть лукавый пожилой мужчина, кажется графский адвокат или поверенный, успокоительно заметил, что статуи эти сопричастны одной из величайших тайн Альгамбры, что про них есть прелюбопытная история и что это своего рода мраморный памятник женской скрытности и молчаливости. Все стали просить его рассказать историю про изваянья. Он немного задумался, припоминая подробности, и поведал примерно нижеследующее.

Легенда о двух скрытных статуях

В одном заброшенном покое Альгамбры жил когда-то коротышка-весельчак по имени Лопе Санчес, подручный садовника, живой и проворный, как кузнецик; он распевал весь день напролет. Был он душою и отрадой всей крепости; кончив работу, он садился на каменную скамью на площади, перебирал струны гитары и тешил старых солдат нескончаемыми балладами о Сиде, Бернардо дель Карпио, Фернандо дель Пульгаре и других испанских героях; а то, бывало, заводил музыку повеселее, и девушки пускались отплясывать болеро или фанданго.

Как почти у всех коротышек, жена у Лопе Санчеса была рослая и пышнотелая и могла, кажется, шутя положить мужа в карман; зато вместо обычного у бедняка десятка ребятишек судьба наградила его только одним. Двенадцатилетнюю черноглазую дочку его звали Санчика, она была веселая, как отец, и он в ней души не чаял. Когда он работал в саду, она играла неподалеку; если он присаживался в тени, танцевала под его гитару; и резвее юной лани носилась по рощам, аллеям и запустелым чертогам Альгамбры.

В канун Иванова дня празднoлюбивые обитатели Альгамбры, мужчины, женщины и дети, взошли на плоскую вершину Солнечной Горы над Хенералифе, ибо под солнцеворот полагалось пробыть там до поздней ночи. Ясная луна озаряла серебристо-серые горы, купола и шпили Гранады подернуло мглою, и Вега с ее сумрачными кущами и мерцающими потоками была совсем сказочная. По древнему обычаю, сохранившемуся от мавров, на самом верху горы разожгли костер. Все окрестные жители тоже несли ночное бденье, и повсюду – в долине и в горах – колыхались бледные огни костров.

Весь вечер протанцевали под гитару Лопе Санчеса, который под праздники бывал еще вдвое веселей обычного. Тем временем Санчика с подругами бегали по развалинам мавританских укреплений, когда-то венчавших гору; собирая камушки во рву, девочка нашла маленькую руку, выточенную из гагата: четыре пальца ее были сложены в кулачок, а большой прижат сверху. Обрадованная находкой, Санчика прибежала с нею к матери. Пошли умные толки, посыпались мудрые советы; руку разглядывали с суеверной опаской. «Выбрось, – говорил один, – это мавританская шутовина, от нее жди колдовства или порчи». «Зачем же выбрасывать, – возражал другой, – может, какой ювелир на Закатине за нее что-нибудь даст». Подошел и старый смуглолицый солдат, который много лет прослужил в Африке и почернел там не хуже мавра. Он осмотрел находку со знающим видом. «Видывал я такие вещицы у берберов, – сказал он. – Очень помогает от дурного глаза, от чар и ворожбы. Будь уверен, друг Лопе, дочка твоя нашла ее на счастье».

Услышав это, жена Лопе Санчеса обвязала гагатовую руку лентой и повесила ее на шею дочери.

Талисман навел на излюбленные рассказы о маврах. Танцевать перестали, расселись на земле и стали припоминать преданья, слышанные от старших. Немало легенд было и про ту самую гору, на которой они сидели, – сущую обитель призраков. Одна древняя старуха расписала подземный дворец в горной утробе, где, говорят, так и пребывает зачарованный Боабдил со всем своим двором.

– Вон там, – сказала она, указывая на дальние груды и насыпи, – есть бездонный черный колодец, и уходит он в самую глубь горы. Посули ты мне всю Гранаду, и то я в него не загляну. Давным-давно один бедняк из Альгамбры пас на этой горе коз и полез туда за козленком. Когда он вылез, на него смотреть было страшно, и нес он что-то несусветное, все так и решили, что человек спятил. День или два он сплошь городил про мертвых мавров, которые будто бы гонялись за ним по пещере, и нипочем больше не хотел пасти коз на этой горе. Ну, потом он все-таки согласился, и только его,

беднягу, и видели. Соседи пришли, смотрят – козы его щиплют травку среди развалин, шляпа и плащ лежат возле колодца, а самого нет, как не бывало.

Маленькая Санчика слушала рассказ затаив дыхание. Она была очень любопытная, и ей тут же стало невтерпёж заглянуть в этот зловещий колодец. Она тайком оставила подруг, побежала к дальним развалинам, осмотрелась там и нашла ямину или пересохший бассейн возле крутого откоса к долине Дарро. Посреди бассейна зияло отверстие колодца. Санчика подобралась к краю и заглянула внутрь. Там было черным-черно и, наверно, ужасно глубоко. У нее мурашки побежали по спине, она отшатнулась, потом снова заглянула, чуть не убежала и заглянула опять – ей нравилось, что было так страшно. Наконец она подкатила большой камень и перевалила его через край. Сначала все было тихо, потом он грянулся о какой-то выступ и загромыхал от стенки к стенке, гулко и раскатисто, будто гром; потом глубоко-глубоко плеснула вода, и снова все стихло.

Но стихло ненадолго. В мрачной бездне словно что-то пробудилось. Колодец зарокотал и загудел, как огромный улей. Гуденье нарастало, и в нем проступили многолюдный гул голосов, бряцанье оружия, дробь литавров и клики труб, точно войско выступило на битву изнутри горы.

Девочка безмолвно и перепуганно отпрянула и стремглав помчалась туда, где остались родители и соседи. Но там никого не было. Костер потух, и последняя струйка дыма растаяла в лунном свете. Дальние огоньки на горах и в долине тоже погасли, и все кругом словно замерло. Санчика громко позвала родителей и подружек, но никто не откликнулся. Она пробежала по склону горы, по садам Хенералифе, и только в аллее, ведущей в Альгамбру, опустилась на скамейку под деревьями, чтобы перевести дыхание. Колокол на сторожевой башне Альгамбры пробил полночь. Стояла оцепенелая тишь, будто уснула вся природа; только чуть слышно журчал за кустами невидимый ручеек. Благоуханная ласка ночи почти ублажала девочку, но вдали что-то вдруг заискрилось, и она в изумлении увидела, что с горы в аллею сворачивает длинная кавалькада мавританских воинов. Одни были с копьями и щитами, другие – с секирами и саблями, и полированные латы их блистали в лучах луны. Кони горделиво гарцевали и грызли удила, но копыта их опускались беззвучно, точно подбитые войлоком, и всадники были бледнее смерти. Между ними ехала красавица с короной на голове и жемчужными нитями в длинных золотистых прядях. Лошадь ее до земли покрывала попона из темно-алого бархата, расшитого золотом, а красавица о чем-то печалилась и не поднимала опущенных глаз.

Следом ехали царедворцы в пышном облачении и в разноцветных тюрбанах, и в толпе их на буланом жеребце сам Боабдил эль Чико в мантии, усыпанной самоцветами, и алмазной короне. Маленькая Санчика тотчас узнала его: он был с русой бородою, точь-в-точь как на картине в Хенералифе. Она с изумленьем и восторгом глядела на блистательное шествие, струившееся меж деревьев; хоть она и знала, что царь, придворные и воины, все такие бледные и немые, наверно, явились с того света и не иначе как заколдованные, но ничуть их не боялась: так ее ободрял волшебный талисман у нее на шее.

Кавалькада проехала, она встала и пошла следом, к большим Вратам Правосудия, распахнутым настежь. Старые инвалиды-часовые лежали в барбакане на каменных лавках и спали как убитые – видно, зачарованным сном. Призрачное шествие, развернув знамена и трубя во все трубы, беззвучно пронеслось мимо них. Санчика тоже хотела войти, но вдруг заметила посреди барбакана провал, уводивший вглубь, под башню. Она заглянула в него, чуть-чуть спустилась – и обрадовалась при виде высеченных в камне ступеней и сводчатого прохода с серебряными лампадами по стенам, источавшими мягкий свет и легкий аромат. Она шла и шла и наконец попала в большой подземный чертог, пышно убранный по-мавритански и сияющий

серебряными и хрустальными светильниками. На диване восседал старик в мавританском платье, с длинной седой бородой; он дремал, роняя голову на грудь и подпершись посохом, который, казалось, вот-вот выскользнет из его руки; поодаль сидела прекрасная женщина в старинном испанском наряде и переливчатом алмазном венце; волосы ее были перевиты жемчужными нитями. Она тихо играла на серебряной лире. Маленькая Санчика вспомнила рассказы стариков соседей о готской царевне, заточенной в горе с арабским стариком звездочетом, которого она усыпляла волшебной лирой.

Увидев смертную в зачарованном чертоге, красавица в изумлении прервала музыку.

– Не канун ли нынче присноблаженного Иоанна? – спросила она.

– Да, – отвечала Санчика.

– Значит, на одну ночь снято магическое заклятье. Подойди сюда, дитя, не бойся. Я, как и ты, христианка, но меня держат здесь могучие чары. Тронь мои оковы амулетом со своей шеи, и на эту ночь я стану свободна.

Сказав так, она откинула покрывало: стан ее охватывал широкий золотой обруч, прикованный к полу золотой цепью. Девочка немедля коснулась обруча гагатовым кулачком: колдовская крепь разомкнулась и спала. Золото звякнуло; старик очнулся и протер глаза; но царевна пробежала пальцами по струнам лиры, и он снова дремотно закивал, а посох колебался в его руке. «Теперь, – сказала царевна, – коснись амулетом его посоха». Девочка так и сделала, и посох выпал из руки звездочета, а сам он простерся на диване, объятый глубоким сном. Царевна осторожно прислонила к голове спящего чародея серебряную лиру и, тронув струны над его ухом, промолвила:

– О волшебство музыки! Продлись и владей его чувствами до наступленья утра. Иди за мною, дитя, – сказала она Санчике, – и увидишь Альгамбру такой, как во дни ее славы, ибо твой волшебный талисман пронизает любые чары.

Санчика в молчании последовала за нею. Проход вывел их в барбакан Врат Правосудия – и они оказались на Водоемной площади перед дворцом.

Площадь была заполнена мавританским воинством, конным и пешим; над строями реяли знамена. У портала дворца стояла царская стража и ряды черных африканцев с обнаженными саблями. Стояли они как онемелые, и Санчика шла мимо них без всякого страха. Удивительнее всего был сам дворец, в котором она выросла. Яркий лунный свет озарял чертоги, дворики и сады ясно, как днем, но все выглядело так непривычно! На стенах не было ни подтеков, ни трещин, и завешаны они были не паутиной, а дорогими дамасскими шелками; сверкала позолота, горели свежестью цветные узоры. И в чертогах, всегда таких пустых и голых, везде стояли диваны и сиденья в роскошной обивке, расшитой жемчугами и многоцветными камнями, и повсюду – во двориках и в садах – вздымались струи фонтанов.

В кухнях стоял дым коромыслом: повара стряпали призрачные кушанья, жарились и варились бесплотные цыплята и куропатки; слуги сновали туда-сюда с горами яств на серебряных подносах, готовя пиршественный стол. В Львином Дворике, как в мавританские времена, было полным-полно стражи, придворных, фа-кихов; и в Чертоге Правосудия надо всеми восседал на своем троне окруженный царедворцами Боабдил, ночной владыка призрачного царства. Люди толпились и суетились, но не было слышно ни слова, ни шага; полночную тишь нарушал лишь плеск фонтанов. В немом изумлении следовала Санчика за царевной, и они подошли к portalу сводчатого прохода под мощною башней Комарес. За аркой портала по обе стороны белели мраморные изваянья сидящих боком женщин. Лица их были отвернуты, потупленные взоры скрещивались где-то на стене прохода. Зачарованная красавица остановилась и поманила к себе девочку.

– Это, – сказала она, – большая тайна, которую я открою тебе в награду за твое доверие и храбрость. Эти скрытные статуи давным-давно воздвиг над своими

замурованными сокровищами один мавританский царь. Скажи отцу искать в том месте, на которое они обе смотрят, и он станет богаче всех в Гранаде. Но только твоей невинной рукою и с помощью твоего талисмана можно добыть этот клад. Попроси отца разумно распорядиться сокровищами; часть их пусть пойдет в уплату за ежедневные мессы о моем избавлении от злых чар. Вслед за этими словами она повела Санчику в садик Линдарахи, расположенный неподалеку от прохода со статуями. Лунный луч дрожал на воде фонтана и обливал тихим светом апельсины и цитроны. Красавица сорвала веточку мирта и увенчала ею девочку.

– Пусть это останется в память, – сказала она, – о том, что я открыла тебе, и в залог того, что подлинно открыла. Мой час настал – мне пора возвращаться в зачарованный чертог; за мною тебе идти нельзя, прощай.

Сказав так, царевна ступила в черный проход под башню Комарес и скрылась с глаз. Далекий крик петуха донесся откуда-то снизу из долины Дарро, и слабый свет забрезжил над вершинами гор на востоке. Повеял легкий ветерок, шелест как бы сухих листьев пробежал по дворам и коридорам Альгамбры, и дверь за дверью со скрежетом затворились. Санчика вернулась туда, где недавно еще толпились полчища теней, но Боабдила с его призрачным двором уже не было. Луна озаряла пустые чертоги и галереи, лишённые мимолетной роскоши, изъеденные и испятнанные временем, обвешанные паутиной. В тусклом предутреннем свете метнулся нетопырь, и квакнула лягушка на пруду.

Санчика скорей побежала к неприметной лесенке на задворках, которая вела в их скромное жилище. Дверь, как всегда, была отворена: Лопе Санчес, по бедности своей, не нуждался в замках и запорах. Девочка неслышно пробралась к своей подстилке, припрятала в изголовье миртовую веточку и тотчас уснула.

Наутро она обо всем рассказала отцу. Лопе Санчес заверил ее, что это был только сон, посмеялся над своей лежковерной дочуркой и пошел, как обычно, Работать по саду. Едва он успел приняться за дело, как увидел, что к нему во весь дух мчится Санчика.

– Папа, папа! – кричала она. – Смотри, какой миртовый венок надела мне на голову та мавританская красавица!

Лопе Санчес глянул и обомлел: миртовый стебель был чистого золота, а листья – изумрудные. К драгоценностям он был непривычен и не особенно представлял, какова цена веночку, но понять – понял, что дочке его не просто все приснилось, а если и приснилось, то не без толку. Прежде всего он велел дочери держать язык на привязи, но только на всякий случай: Санчика была вовсе не болтлива. Он поспешил в сводчатый проход, к двум мраморным статуям. И заметил, что они, не глядя на проходящих, смотрят на одно и то же место в проходе. Лопе Санчес порадовался такому надежному способу сохранить тайну. Он проследил, куда глядят статуи, сделал отметку на стене и удалился.

Однако ж весь день Лопе Санчес не находил себе места. Он почти безотлучно околачивался возле статуй, обливаясь холодным потом от ужаса, что клад его вот-вот откроют, и вздрагивал, если кто-нибудь проходил неподалеку. Он бы отдал все на свете, лишь бы как-нибудь повернуть головы статуй, забыв, что они глядели так век за веком и никто ни о чем не догадывался.

– А, прах вас заberi, – говорил он про себя, – ну так и смотрят. Придуманo, нечего сказать!

Заслышав кого-нибудь, он крался прочь, словно одно то, что он здесь, уже подозрительно. Потом осторожно возвращался, выглядывая издали, все ли на месте, но при виде статуй снова впадал в отчаяние.

– Сидят, голубушки, – говорил он, – и смотрят, смотрят, смотрят – как раз туда, куда смотреть не надо. Ах, чтоб им! Бабы, как есть бабы: не могут языком сказать, так глазами выбалтывают.

Наконец, на счастье его, долгий тревожный день подошел к концу. Отзвучали дневные шаги в гулких чертогах Альгамбры, последний чужак удалился, большие ворота задвинули и замкнули, нетопыри, лягушки и крикливые совы снова завладели опустелым дворцом.

Лопе Санчес подождал, однако, настоящей ночи и тогда уж пошел с дочкой в гости к изваяниям. Они все так же проникательно и загадочно созерцали замурованный клад. «С вашего позволения, любезные дамы, – подумал Лопе Санчес, проходя мимо них, – я избавлю вас от лишних забот, а то вы, поди, устали хранить тайну три не то четыре сотни лет».

Он разломал стену, где было помечено, и скоро открылся тайник с двумя большими фаянсовыми кубышками. Он попробовал их вытащить, но и с места не сдвинул, пока не коснулась их легкая рука его дочки. С ее помощью он достал кубышки и обнаружил, к своей превеликой радости, что они полны мавританских золотых монет, перемешанных с драгоценностями и дорогими камнями. За ночь он исхитрился перетащить все к себе в комнатушку, и недвижимые стражи остались глядеть на пустую стену.

Итак, Лопе Санчес нежданно-негаданно стал богачом; но ведь богатство – дело хлопотное, а прежде он хлопот не знал. Как ему уберечь сокровище? Как воспользоваться им, чтоб никто ничего не заподозрил? Впервые в жизни он испугался грабителей. Он с ужасом оглядел свое ненадежное жилище и принялся заколачивать окна и двери; но толком заснуть так и не смог. Пропала вся его веселость, он не шутил с соседями и не пел песен; скоро он стал самым жалким существом в Альгамбре. Его старые приятели, заметив перемену, от души пожалели его и стали обходить стороной: они решили, что он впал в крайнюю нужду и, того гляди, начнет просить займы. Им и в голову не приходило, что он несчастен лишь тем, что богат.

Жена Лопе Санчеса тоже тревожилась, но у нее все-таки было легче на душе. Давно уж нам надо было упомянуть, что, зная мужа за человека неосновательного, она привыкла искать совета и наставления во всех важных делах у своего духовника брата Симона, дюжего, широкоплечего, синебородого и круглоголового монаха из соседней францисканской обители он пекся о душах доброй половины всех окрестных матрон. В большом почете был он и у сестер-монахинь без различия орденов, и они воздавали ему за услуги лакомствами собственного изготовления: сладостями, печеньями и душистыми настоечками, которые так хорошо подкрепляют силы, изнуренные постом и бдением.

Брат Симон трудился на славу. Осиливая знойным Днем подъем в Альгамбру, он весь так и лоснился от натуги. Его цветущие тела, однако же, туго опоясывало вервие – знак непрестанного умерщвления плоти; встречные ломали шапки пред этим зеркалом благочестия, и даже собаки, учуяв дух святости, веявший от монашеского облачения, провожали его жалобным воем.

Таков был брат Симон, духовный попечитель пригожей супруги Лопе Санчеса; и так как в Испании у женщин нету тайн от духовников, то ему вскоре было под большим секретом рассказано о найденном кладе.

Монах выпучил глаза, разинул рот и перекрестился раз десять.

– О дочь моя духовная! – сказал он затем. – Знай, что муж твой совершил двойное прегрешенье – против властей светских и духовных. Сокровище, которое он присвоил, найдено в королевских владениях и, стало быть, принадлежит короне; поскольку же это богатство нечестивое, вырванное как бы из пасти сатанинской, то его должно пожертвовать церкви. Все же беде еще можно помочь. Принеси мне этот миртовый венок.

При виде веночка глаза его разгорелись, ибо изумруды были не только прекрасные, но и отменно крупные.

– Это, – сказал он, – как бы первоцвет сокровища, и его надо обратить на дела

благочестия. Я повешу его как обетное приношение пред образом святого Франциска у нас в часовне и нынче же ночью буду неусыпно молиться, дабы мужу твоему было дозволено свыше остаться владельцем вашего богатства.

Добрая женщина была в восторге, что примиренье с небесами обходится ей так дешево, и монах, запятав венки под облачением, чинно отправился в свою обитель.

Лопе Санчес вернулся домой, узнал про исповедь и очень рассердился, потому что был не столь набожен, как жена, и уже давно втайне скрипел зубами, когда их навещал брат-францисканец.

– Женщина, – сказал он, – что же ты натворила? Из-за твоей болтливости все может прахом пойти.

– Как! – воскликнула она. – Я, по-твоему, должна таиться от духовного отца?

– Да нет, жена! Своих грехов ты не таи, выкладывай ему все как есть, только за меня не исповедуйся: я уж как-нибудь проживу с таким грехом на совести.

Но сетовать было поздно: слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Оставалось надеяться, что монах будет помалкивать.

На другой день, когда Лопе Санчес ушел по делам, в дверь смиренно постучали и появился брат Симон, на лице которого были разлиты кротость и умиление.

– Дочь моя, – сказал он, – я всей душою взмолился святому Франциску, и он внял моим мольбам. Глубокой ночью он посетил меня во сне, но вид его был суров. «Как же, – сказал он, – просишь ты моего благословения обладателям сарацинского сокровища, видя убожество моей часовни? Иди в дом к Лопе Санчесу и во имя мое испроси у них толику мавританского золота на два подсвечника у главного алтаря, остальным же пусть владеют невозбранно».

Услышав об этом видении, добрая женщина истово перекрестилась, пошла к тайнику, где Лопе Санчес хранил сокровище, набила золотыми монетами большой кожаный кошель и отдала его францисканцу. Честной отец наградил ее за это столькими благословениями, что их должно было с лихвою хватить на самое отдаленное потомство Санчесов; затем он опустил кошель в рукав своей рясы, сложил руки на груди и удалился с видом смиреннейшей благодарности.

Когда Лопе Санчес узнал об этом очередном даянии, он чуть ума не решился.

– Несчастный я человек, – кричал он, – что меня ждет? Меня будут грабить и грабить, обдерут до нитки и пустят по миру!

Жена кое-как успокоила его, напомнив об оставшихся несметных сокровищах и о том, как немного взял с них, по доброте своей, святой Франциск.

Но – увы! – у брата Симона была уйма бедных и неимущих родственников, не говоря уж о полудюжине крепеньких круглоголовых сирот и найденышей, состоявших на его попечении. Поэтому он приходил изо дня в день от лица святого Доминика, святого Андрея, святого Иакова, пока бедный Лопе вконец не отчаялся, поняв, что либо он как-нибудь улизнет от святого отца, либо придется ему одарить все святцы наперечет. И он решил наскоро увязать, что еще уцелело, и потихоньку отъехать ночью куда глаза глядят.

Во исполнение этого замысла он купил себе крепкого мула и привязал его в сумрачном подвале Семиярусной Башни, том самом, откуда, говорят, в полночь выскакивает бесовский жеребец Бельюдо и носится по улицам Гранады, а за ним свора осатанелых псов. Лопе

Санчес сам не слишком верил этим рассказам, но они были ему на руку: вряд ли кто сунется в подземное стойло призрачного коня. Семью свою он отправил засветло и велел ждать его в дальнем селении на равнине. Когда стемнело, он перетаскал сокровища в подвал, навьючил их на мула, вывел его наружу и стал не спеша спускаться по ночной аллее.

Лопе предпринял все это в глубокой тайне, не посвятив в нее никого, кроме своей

верной женушки. Но каким-то чудом тайна открылась и брату Симону. Божий человек увидел, что нечестивое сокровище вот-вот навеки уплывет у него из рук, и решил поживиться напоследок во славу церкви и святого Франциска. Когда отзвонили по усопшим и на Альгамбру низошла тишь, он тайком покинул обитель, вышел Вратами Правосудий и укрылся в кущах роз и лавров возле главной аллеи. Колокол на сторожевой башне отбивал четверть часа за четвертью, а он все сидел и сидел, слушая уханье сов и дальний лай собак из цыганских землянок.

Наконец до него донесся стук копыт, и в сумраке между деревьями он смутно завидел спускавшегося под гору мула. Дюжий монах посмеивался, думая, какую свинью он сейчас подложит славному Лопе.

Подоткнув рясу и виляя задом, словно кот, стерегуший мышку, он дождался, пока добыча появилась прямо перед ним, выскочил из зарослей, схватился одной рукою за холку, другой – за круп и молодецким прыжком, какой не посрамил бы и самого лихого кавалериста, взмахнул на спину мула.

– Вот так, – сказал брат Симон, – теперь и поглядим, кто кого перехитрил.

Но едва он вымолвил эти слова, как мул начал брыкаться, дыбиться и рваться – и помчался под гору во всю прыть. Монах попробовал придержать его, но куда там! Со скалы на скалу, из чащи в чашу; ряса изодралась и трепыхалась по ветру, бритую макушку стегали ветки и царапали тернии. А по пятам за ними – о ужас, о несчастье! – с яростным лаем гнались семь неистовых псов; тут-то монах и понял, что он оседлал самого Бельюдо!

И промчались они, вопреки старинной пословице «Черт монаху не попутчик», по главной аллее, через Пласа Нуэва, по Закатину, вокруг Виваррамблы – и столь бешеной скачки и такого адского лая не бывало еще ни на одной охоте. Монах призывал на помощь всех святых и Приснодеву на придачу, но от каждого имени Бельюдо взвизгивал, как прищипоренный, чуть не над домами. Так всю ночь до рассвета и носило несчастного брата Симона туда, сюда и напропалую, пока на нем живого места не осталось, а кожа, страшно сказать, висела клочьями. Наконец петуший крик возвестил наступление дня. При этом звуке бесовский конь вздыбился и стрелой помчал к своей башне: Виваррамбла, Закатин, Пласа Нуэва, фонтанная аллея, а семь псов выли, визжали, тявкали и клацали зубами у самых щиколоток ополоумевшего монаха. Они достигли башни с первым рассветным лучом, тут чертов жеребец взбрыкнул так, что монах кувырком полетел наземь, ринулся со своей адской сворой в черный подвал, и душераздирающий содом вмиг стих.

Бывало ли когда, чтоб святой человек претерпел такое дьявольское надругательство? Рано поутру на злополучного брата Симона набрел какой-то крестьянин: разбитый и истерзанный монах лежал под смоковницей возле башни и не мог ни говорить, ни двигаться. Бережно и заботливо перенесли его в келью; пошел слух, что его подстерегли и избили грабители. День-другой он пальцем пошевеливать не мог и утешался только мыслью, что хоть и проморгал мула с сокровищем, но все же порядком порастряс нечестивое достояние. Едва руки начали ему повиноваться, он запустил их под тюфяк, где был схоронен миртовый венок и набитые золотом кошели – доброхотные да-янья набожной Доньи Санчес. Каково же было его огорчение, когда оказалось, что венок – просто засохшая миртовая ветка, а кошели набиты песком и камушками!

Но сколь ни был удручен брат Симон, у него все же хватило благоразумия не болтать языком, а то бы он стал общим посмешищем и получил нагоняй от своего настоятеля. Лишь через много лет, на смертном одре он поведал духовнику о ночном катанье на Бельюдо.

А Лопе Санчес исчез из Альгамбры, и долгое время о нем не было ни вестей, ни слуху. Он оставил по себе добрую память как о былом весельчаке; правда, перед тем

как скрыться, он ходил угрюмый и озабоченный: видно, беднее всех бед, когда денег нет. Через несколько лет один его старый приятель, солдат-инвалид, поехал в Малагу и там чуть не угодил под экипаж, запряженный шестерней. Карета остановилась, из нее вылез пожилой, богато одетый идалго в парике с косицей и кинулся поднимать беднягу инвалида. И как же тот удивился, узнав в почтенном кабальеро старину Лопе Санчеса, который справлял свадьбу своей дочери Санчики с одним из местных грандов.

Была в карете и Донья Санчес, раздобревшая, как бочка, вся в перьях и драгоценностях, увешанная жемчужными и алмазными ожерельями, униженная перстнями – словом, подобного наряда не видали со времен царицы Савской. А маленькая Санчика стала такой писаной красавицей, что ее впору было принять за герцогиню, а то и за принцессу. Рядом с нею сидел жених – невзрачный тонконогий человечешко, но зато сразу было понятно, что кровь в нем самая голубая: ведь настоящие испанские гранды выше трех локтей не растут.

Богатство не испортило славного Лопе. Старый приятель несколько дней прогостил у него, побывал с ним и в театрах и на корриде и наконец отправился домой с мешком денег для себя и с другим для всех прочих друзей Лопе в Альгамбре.

Сам Лопе рассказывал, будто богатый братец в Америке завещал ему медные рудники; но дошлые старожилы Альгамбры в один голос говорят, что он просто-напросто разгадал тайну двух мраморных красавиц. Эти скрытные статуи и по сей день все так же значительно смотрят обе в одну точку на стене, и многие полагают, что остатки клада еще там и дожидаются какого-нибудь предприимчивого путешественника. Другие же, в особенности гости Альгамбры, самодовольно поглядывают на статуи и считают их памятником женской скрытности: оказывается, женщины тоже умеют хранить секреты.

Крестовый поход великого магистра ордена Алькантара

Как-то утром, перелистывая в университетской библиотеке старинные хроники, я попал на небольшой эпизод истории Гранады, столь характерный для того неумемного рвения, с каким христиане порою ополчались против этого прекрасного, но обреченного города, что меня потянуло извлечь его из пергаментной гробницы на свет божий и представить на суд читателю.

В лето господне 1394-е великим магистром ордена Алькантара был доблестный и набожный рыцарь по имени Мартин Яньес де Барбудо, сжигаемый пламенным желанием послужить Христу и сокрушить мавров. К несчастью для этого отважного и благочестивого воителя, между христианской и мусульманской державами царил прочный мир. На кастильский престол недавно взошел Энрике III, а гранадский унаследовал Юсуф бен Мухаммед, и оба склонны были жить в том же согласье, что и их отцы. Великий магистр скорбно озирали украшавшие палаты его замка мавританские знамена и оружие, памятники доблести его предшественников, и горько сетовал, что обречен судьбою на бесславное прозябанье.

Наконец терпенье его истощилось, и, понимая, что большой войны не предвидится, он решил на свой страх и риск затеять малую. Так гласят одни старинные хроники, другие же объясняют эту внезапную и пылкую решимость нижеследующим образом.

Однажды, когда великий магистр сидел у стола с несколькими своими рыцарями, в палату вдруг вошел высокий, тощий и костистый человек с изможденным лицом и огненным взором. По всему судя, это был отшельник, смолodu воин, удалившийся под старость в пещеру на покаянье. Он подошел к столу и ударил по нему кулаком, который, казалось, был выкован из стали.

– Рыцари, – сказал он, – почему вы сидите здесь в праздности, а оружие ваше ржавеет

по стенам, когда враги истинной веры владычествуют над прекраснейшим испанским краем?

– Святой отец, что же нам делать, – отозвался великий магистр, – если брани нет и в помине и мечи наши удержаны порукою мира?

– Внимай же моей вести, – сказал отшельник. – Сидя поздней ночью у входа в свою пещеру и созерцая небеса, я забылся думою, и чудное виденье предстало мне. Я видел ущербную луну – вернее, блистающий серебром полумесяц в небе над гранадским царством. И вдруг в небесах возгорелась звезда и, увлекая за собой все звезды небесные, ринулась на луну и низвергла ее с небосвода; и твердь озарилась сияньем этой пламенной звезды. Я взирал, как бы ослепленный дивным зрелищем, и рядом со мною возник некто с белоснежными крылами и сверкающим ликом. «О муж молитвы, – сказал он, – гряди к великому магистру Алькантары и поведай ему о своем виденье. Ибо пламенная звезда – это он: ему суждено изгнать мусульманский полумесяц из пределов испанского края. Пусть смело обнажит меч и завершает то, что встарь начал Пелайо, и победа осенит его знамя».

Великий магистр счел отшельника посланцем небес и далее слушался его во всем. По его совету он отправил двух отважнейших рыцарей в полном доспехе послами к мавританскому царю. Они беспрепятственно въехали в ворота Гранады, ибо две державы были в мире, и двинулись в Альгамбру, где их сразу провели к царю в Посольский Чертог. Они изложили, что им было поручено, резко и напрямик.

– Мы посланы, о царь, от Дона Мартина Яньеса де Барбудо, великого магистра ордена Алькантара; он утверждает нашими устами, что вера Иисуса Христа – истинная и святая, а вера Магометова лживая и презренная, и, буде ты не согласен, вызывает тебя на рукопашный поединок. Если ты откажешься, он вызывает на бой двести твоих рыцарей против ста его, и так до тысячи, один христианин против двух мусульман. Помни, о царь, что отвергнуть вызов ты не можешь, ибо твой пророк, зная слабость своего учения, завещал своим приверженцам насаждать его оружием. Борода царя Юсуфа затряслась от гнева.

– Ваш магистр Алькантары, – сказал он, – видно, сошел с ума, раз шлет такие посольства, а вы – предерзкие рыцари.

Сказав так, он приказал бросить послов в темницу, чтоб они набрались там учтивости: по дороге же туда им пришлось худо от простонародья, возмущенного оскорблением своему государю и вере.

Великий магистр Алькантары едва поверил ушам, узнав про обхождение со своими послами, зато отшельник возликовал.

– Господь, – сказал он, – ослепил этого нечестивца, дабы приуготовить его паденье. Раз он не ответил на вызов, считай его принятым. Собирай же войско и выступай на Гранаду, иди без задержки, пока не завидишь Эльвиру гору. Свершится чудо. Грянет великая битва, и враг будет разгромлен, но ни один из твоих воинов не погибнет.

Великий магистр призвал к оружию всех, готовых порадеть о христианской вере. Вскоре под знамя его собрались три сотни конников и тысяча пеших воинов. Всадники были закалены в боях и хорошо вооружены, пехота необученная и нестройная. Однако победить они все равно должны были чудом, а великий магистр веровал безоглядно и знал, что чудо тем больше, чем невероятнее. И он смело выступил в поход с малым войском; отшельник шагал впереди с крестом и орденским значком на конце длинного шеста.

У стен Кордовы их впопыхах нагнали послы от кастильского государя с воспретительными грамотами. Великий магистр был человек упорный и неукротимый; иначе говоря, одному.

– В любом ином походе, – сказал он, – я повиновался бы грамотам государя моего короля, однако ныне я призван властью вышней, нежели королевская. Я воздвиг крест

против нечестивых, и повернуть сейчас назад, ничего не достигнув, – значит предать знамя Христово.

Протрубили трубы, крест вознесся над войском, и рать ревнителей веры двинулась дальше. Народ на улицах Кордовы был изумлен при виде отшельника с воздетым крестом во главе вооруженного отряда; но, узнав о предстоящей чудесной победе и низвержении Гранады, мастеравые и ремесленники побросали снасть и примкнули к крестоносцам; за ними увязалась толпа всякого сброда в надежде пограбить.

Знатные рыцари Кордовы, которым не верилось в обетованное чудо и которые, напротив, опасались дурных последствий этого беспричинного набега на мавританские земли, съехались у моста через Гвадалквивир и упрашивали великого магистра воздержаться от похода. Он был глух к мольбам, увещаниям и угрозам, приверженцы его возроптали на препоны в деле веры и криками своими положили конец переговорам; крест снова воздвигся, и мост был перейден.

Толпа крестоносцев возрастала: когда великий магистр достиг твердыни Алькала ла Реаль, которая высится на горе над гранадской Вегой, под знаменем его было уже больше пяти тысяч пеших воинов.

В Алькала навстречу ему выступили Алонсо Фернандес де Кордова, правитель Агилара, брат его Диего Фернандес, маршал Кастилии, и другие доблестные, испытанные рыцари. Они преградили путь великому магистру.

– Дон Мартин, что это за безумие? – говорили они. – У мавританского царя под рукою две сотни тысяч пеших воинов и пять тысяч конных; думаешь ли ты одолеть их со своей горсткою рыцарей и горластым сбродом? Вспомни, что постигло других христианских военачальников, которые спускались с этих гор с войском вдесятеро против твоего. Помысли также об уроне королевству от вероломного Проступка вельможи твоего сана, великого магистра ордена Алькантара. Остановись, умоляем тебя, пока мир еще не нарушен. Дождись в наших пределах ответа царя Гранады на твой вызов. Если он согласится на поединок с тобою, если выйдут по двое или по трое с каждой стороны, это твоя брань и бейся во имя господне; если же он откажется, ты сможешь вернуться со славою, а мавры будут опозорены.

Нескольким рыцарям, до той поры ревностным приверженцам великого магистра, увещанья показались разумными, и они предложили ему послушаться доброго совета.

– Рыцари, – отвечал он Алонсо Фернандесу де Кордова и его спутникам, – благодарю вас за совет, данный, я знаю, от чистого сердца; если б я искал славы для себя, я, может статься, и последовал бы ему. Но я призван явить торжество нашей веры, и господь соделает чудо моею рукою. Что до вас, рыцари, – обратился он к своим поколебавшимся сторонникам, – то если в сердца ваши закралась робость или вы сожалеете о том, что пошли на великое дело, возвращайтесь с богом, и благословенье мое пребудет с вами. Я же, если останусь сам-друг с этим святым отшельником, все равно пойду вперед, и мне суждено водрузить наше святое знамя на стенах Гранады либо сгинуть в сече.

– Дон Мартин Яньес де Барбудо, – отвечали рыцари, – мы не из тех, кто оставляет своего предводителя, сколь бы ни был он опрометчив в решениях. Мы предостерегли, и только. Веди же нас, и если на смерть, то умрем мы рядом с тобою.

Тем временем пешее воинство заволновалось. «Вперед! Вперед! – кричали они. – Вперед, за веру!» И не знаку великого магистра отшельник снова воздел крест, и они вступили в горное ущелье с торжествующими песнопениями.

На ночь они встали лагерем у реки Асорес, а поутру, в день воскресный, перешли границу. На пути их возникла *atalaya*, одинокая башня, воздвигнутая на скале: это была пограничная застава, с которой подавали весть о вторжениях. Поэтому она звалась *el Torre del Ehea* (Башня-соглядатай). Великий магистр остановил войско и приказал башенной страже сдаваться. В ответ на него обрушили град камней и ливень стрел – он

был ранен в руку и три воина убиты.

– Как же так, святой отец? – сказал он отшельнику. – Ты ведь уверял, что из моего войска не погибнет ни один!

– Так и будет, сын мой; я говорил тебе о великой битве с царем нечестивых. Есть ли нужда в чуде, чтобы взять эту жалкую башенку?

Эти слова убедили великого магистра. Он приказал обложить башню бревнами и хворостом и спалить ее. Пока что с мулов сгрузили съестной припас, и крестоносцы расселись на траве подальше от башенных лучников, чтобы подкрепить силы перед трудами дневными. В это время вдаль внезапно появилось мавританское войско. Нагорные *atalayas* огнем и дымом подали сигнал «неприятель нарушил границу», и повелитель Гранады выступил навстречу врагу с сильной ратью.

Крестоносцы, которых едва не застали врасплох, схватились за оружие и приготовились к бою. Великий магистр приказал своим тремстам всадникам сойти с коней и драться в общем пешем строю. Но мавры молниеносным ударом отрезали рыцарей от пехоты и не дали войску соединиться. Великий магистр возгласил старинный боевой клич: «Сантьяго! Сантьяго! Испания, на бой!» Он и его рыцари устояли под яростным натиском, но были окружены бесчисленными врагами; их осыпали камнями, стрелами, дротиками и аркебузными пулями. Они не дрогнули и учинили страшное побоище. Отшельник врубился в самую гущу. Одной рукою он вздымал крест, другою неистово разил мечом, сокрушая ряды врагов, пока, весь иссеченный, не рухнул наземь. Великий магистр видел это и понимал теперь, что пророчество не сбылось. Отчаявшись, он сражался еще яростнее, но и его одолела вражья сила. Тем же святым рвением одушевлены были и его преданные рыцари. Никто не обратился вспять, никто не запросил пощады: все стояли насмерть. Из пеших воинов многие были убиты, многие взяты в плен, кое-кто спасся в Алькала ла Реаль. Когда мавры принялись обдирать убитых, оказалось, что раны у всех рыцарей были спереди.

Так были разгромлены незадачливые крестоносцы. Мавры хвастали победой как доказательством превосходства своей веры, и Гранада встретила царя всенародным ликованием.

Поход этот, вне всяких сомнений, был затеян самочинно, вопреки прямому запрету короля Кастилии, и державы остались в мире. Мавры даже оказали почтение доблести великого магистра и с готовностью выдали его тело Дону Алонсо Фернандесу де Кордова, который явился за этим из Алькала. Приграничные обитатели христианского королевства воздали павшему скорбные почести. Тело его возложили на носилки, застланные флагом ордена Алькантара, перед носилками несли сломанный крест, знак нерушимого упования и роковой неудачи. Похоронное шествие пронесло его останки тем же горным перевалом, на который он устремился с такой решимостью. И всюду по пути, в городах и селеньях, жители провожали носилки слезами и стенаньями, оплакивая доблестного рыцаря и мученика веры. Тело его было погребено в часовне монастыря Санта Мария де Альмоковара, и на гробнице по сей день видны затейливые старинные литеры – надпись, свидетельствующая о его отваге: *Aquí yaz aquel que por neua cosa nunca eue pavor en seu corazon*).

Испанская патетика

Под конец моего пребывания в Альгамбре, я все чаще заходил в иезуитскую библиотеку при университете, пристрастившись к чтению старинных испанских летописей, обернутых в пергамент. Меня восхищали причудливые повести из тех

времен, когда христиане делили полуостров с маврами. Есть в них ханжество, а порою и изуверство, но речь идет о благородных деяниях и возвышенных чувствах, и всюду разлит острый и пряный восточный привкус, который исчезает с изгнанием мавров. Правда, Испания и поныне страна особая: ее история, обычаи, нравы и склад ума – все иное, нежели в остальной Европе. Это страна романтической патетики, не имеющей ничего общего с той чувствительностью, которая под именем романтизма господствует в новейшей европейской литературе, она занесена с блистательного Востока, и доблестными учителями ее были сарацинские рыцари.

С арабами-завоевателями в готскую Испанию вторглась иная, высшая образованность чувства и ума. Арабы тогда были смысленным, хитроумным, горделивым и мечтательным народом, вскормленным восточной наукой и литературой. Их новоявленные государства становились питомниками искусств и учености, нравы покоренного народа смягчались и облагораживались. Постепенно обживаясь на завоеванных землях, они почувствовали себя законными наследниками, и в них стали видеть не пришельцев, а равноправных соседей. Полуостров – скопище государств христианских и мусульманских – на многие веки превратился как бы в ристалище, где искусство войны почиталось главным призванием человека и рыцарственная патетика достигла высшей утонченности. Первопричина враждебности – различие вероисповеданий – с веками перестала быть основанием для ненависти. Соседние иноверческие государства то и дело заключали союзы, наступательные и оборонительные, так что крест и полумесяц являлись бок о бок в сражении с общим врагом. В мирное время знатная молодежь той и другой веры стекалась в одни и те же города, христианские или мусульманские, дабы постигать военную науку. И зрелые мужи, которые недавно мерялись силами в смертельном бою, в перерывах между кровопролитными схватками, забыв вражду, встречались на состязаниях, турнирах и других воинских празднествах и старались превзойти друг друга в достойной и мужественной учтивости. Непримиримые противники сходились мирно, а если и возникали несогласья, то обе стороны стремились разрешить их благороднейшим образом с утонченнейшей любезностью, как подобает благовоспитанным рыцарям. Воины разной веры состязались в великодушии столь же рьяно, сколь и в отваге. Рыцарское поведение иной раз кажется безмерно чопорным и щепетильным, а иногда поражает благородством и прямодушием.

Летописи тех времен пестрят яркими примерами изощренной учтивости, героической самоотверженности, возвышенного бескорыстия и церемонного достоинства, и чтение это согревает душу. О рыцарских подвигах написаны драмы и сложены поэмы; они прославлены в тех вездесущих балладах, которые нужны народу как воздух и которые так закалили испанский характер, не сломленный веками превратностей и невзгод, что испанцы при всех своих многочисленных недостатках и поныне – самый великодушный и чистосердечный народ в Европе.

Правда и то, что патетика, почерпнутая из упомянутых источников, подобно всякой другой, бывает показной и неумеренной. Порою она делает испанца напыщенным и велеречивым: он готов поставить *rundonor*, то есть вопрос чести, над здравым смыслом и требованиями нравственности; вконец обнищав, он все же будет изображать из себя *grande caballero* и взирать сверху вниз на «презренные ремесла» и любые житейские попеченья; но хоть это паренье духа подчас и высокопарно, оно все же поднимает его над тысячью низостей; он может впасть в нищету, но не опустится до подлости.

В наши дни, когда народная литература занялась низменной жизнью и смакует человеческие пороки и безрассудства, когда владычица корысть вытаптывает нежные ростки поэтических чувств и опустошает души; в наши дни, говорю я, читателю, пожалуй, стоило бы иной раз заглянуть в эти повести о более достойных временах и более возвышенных устремлениях и как следует глотнуть старинной испанской

патетики.

Вслед за этими вступительными соображениями, осаждавшими меня утром в старой иезуитской библиотеке, я попытаюсь рассказать для примера одну легенду, извлеченную из пресловутых почтенных хроник.

Легенда о доне Муньо Санчо де Инохоса

В Кастилии, в городе Силосе, под аркадами старинного бенедиктинского монастыря Сан Доминго, стоит ряд обветшалых, но все еще великолепных надгробий когда-то могущественного рыцарского рода Инохоса. Там есть мраморное изваяние простертого рыцаря в полном доспехе, ладони его сложены как бы для молитвы. На одной стороне его надгробия высечен барельеф отряд конных воинов-христиан гонит в плен кавалькаду мавров и мавританок; на другой стороне те же воины стоят на коленях перед алтарем. Эта гробница, как и соседние, почти разрушилась, и барельеф может различить лишь зоркий глаз археолога. История же, связанная с изображениями на гробнице, сохранилась в целости в древних испанских летописях, и суть этой истории такова.

В давние времена, несколько сот лет назад, жил-был благородный кастильский рыцарь по имени Дон Муньо Санчо де Инохоса, владелец пограничного замка, о который разбились многие мавританские набеги. У него была своя дружина, семьдесят конных ратников старого кастильского закала: опытные воины, лихие наездники, железные люди. С ними он выезжал на мавров и стяжал грозную славу по ту сторону границы. Стены чертога его замка были увешаны знаменами, саблями и мусульманскими шлемами, добытыми в боях. Дон Муньо был к тому же страстным охотником: он держал собак всех пород, быstroногих скакунов и ловчих птиц для несравненной соколиной забавы. В передышках между походами он выезжал на охоту в окрестные леса: лаяли псы, трубили рога, у Дона Муньо было кабанье копье в руке или кречет на перчатке, и за ним мчалась охотничья свита.

У жены его, Доньи Марии Паласин, нрав был тихий и кроткий, и она едва ли годилась в супруги столь отважному и дерзновенному рыцарю; реки слез проливала она, когда ее муж отправлялся в свои отчаянные походы, и неустанно молилась, чтобы он вернулся цел и невредим.

Однажды на охоте этот доблестный рыцарь, укрывшись в зарослях у края зеленой прогалины, разослал загонщиков по лесу поднять и гнать на него зверя. Откуда ни возьмись, на лужайку вдруг выехала веселая кавалькада мавров и мавританок. Они все были без оружия, зато разодеты на диво: в бархат, парчу, индийские шали; золотые запястья, поножи и украшения сверкали на солнце.

Во главе этой беспечной кавалькады ехал юноша с гордой и величавой осанкой, одетый пышнее других, а рядом с ним девица; ветер откинул ее покрывало, и она скромно потупила глаза, но ее нежное личико сияло радостью и любовью.

Дон Муньо возблагодарил звезды за такую добычу и порадовался, что одарит жену блестящими побрякушками с этих нечестивцев. Он поднес рог к губам, и лес содрогнулся от трубного звука. Со всех сторон примчались загонщики, и растерянные мавры вмиг стали пленниками.

Прекрасная мавританка в отчаянии заломила руки, а ее служанки разразились душераздирающими воплями. Один лишь юный мавританский рыцарь сохранил достоинство и выдержку. Он спросил, как зовут предводителя всадников. Ему ответили, что это Дон Муньо Санчо де Инохоса, и лицо его просветлело. Он приблизился к рыцарю и поцеловал его руку.

– Дон Муньо Санчо, – сказал он, – ты слависься как истинный и безупречный витязь,

яростный в бою, но сведущий в благородных обычаях рыцарства. Надеюсь, что таковы и есть. Пред тобою Абадил, сын мавританского правителя. Я ехал с этой дамой праздновать нашу свадьбу; по воле случая мы в твоей власти, но я полагаюсь на твоё великодушие. Возьми все наши уборы и драгоценности, требуй какого хочешь выкупа, но избавь нас от оскорблений и бесчестия.

Выслушав эту просьбу и видя прелесть юной четы, славный рыцарь склонился душою к ласке и учтивости. – Сохрани бог, – сказал он, – чтобы я помешал столь счастливому браку. Но в плен я вас все же возьму и заточу в своём замке на целых пятнадцать Дней: по праву сильного я хочу быть гостем на вашей свадьбе.

Сказав так, он отправил вперед самого быстрого всадника оповестить Донью Марию Паласин о прибытии свадебной процессии и образовал со своими охотниками почётный эскорт плененной кавалькады. Завидя их, в замке вывесили флаги, и трубы запели со стен; навстречу им опустился подъёмный мост и вышла Донья Мария со своими дамами и рыцарями, пажам и менестрелями. Она приняла Аллифру, юную невесту, в свои объятия, поцеловала её с сестринской нежностью и повела в замок. Между тем Дон Муньо разослал гонцов во все стороны, в замок навезли всевозможной снеди и лакомств и свадьбу справили торжественно и пышно. Пятнадцать дней в замке пировали и веселились. Были устроены воинские состязания и бои быков, танцы и музыка, лилось вино, звучали песни менестрелей. По истечении срока Дон Муньо поднес молодым великолепные подарки и благополучно переправил их через границу со всею свитою. Таковы были учтивость и великодушие испанского рыцаря прежних времен.

Несколько лет спустя король Кастилии призвал своих вассалов в поход на мавра. Дон Муньо Санчо откликнулся одним из первых и повел под королевское знамя семьдесят всадников, стойких и испытанных воинов. Донья Мария не могла оторваться от его груди.

– Ах, дорогой мой, – воскликнула она, – доколе ты будешь искушать судьбу и когда же ты утолишь свою жажду славы!

– Ещё одна битва, – отвечал Дон Муньо, – ещё одна, во славу Кастилии, и вот я приношу обет, что вслед за этим отложу меч и отправлюсь с моими рыцарями паломником ко гробу господню в Иерусалиме.

Все рыцари принесли тот же обет, и Донья Мария немного утешилась, но все же на сердце у неё было тяжело, и печальным взглядом провожала она конников, пока стяг их не скрылся в лесу.

Король Кастилии повел своё войско на равнину Альманары, и здесь, неподалеку от Уклеса, они встретили мавританскую рать. Завязалась долгая и кровавая битва, христиане отступали и наступали вновь, одушевленные отвагой предводителей. Дон Муньо был изранен, но поля брани не покидал. Наконец христиане дрогнули, ряды их смешались, и королю грозил плен.

Дон Муньо призвал своих рыцарей на выручку.

– Настало время, – крикнул он, – постоять за государя. Мужайтесь! Мы бьемся за истинную веру, сложим же головы и обретем жизнь вечную!

Они встали живой стеной между королем и его преследователями и задержали погоню; король был спасен, но их спасти было некому. Они все бились до последнего вздоха. На Дона Муньо налетел могучий мавританский витязь, они сшиблись, и раненный в правую руку рыцарь был убит на месте. Когда сеча кончилась, мавр спешился у тела поверженного врага, чтобы снять его доспехи. Но, расстегнув шлем и увидев лицо Дона Муньо, он громко вскрикнул и ударил себя в грудь.

– Горе мне! – рыдал он. – Я убил своего благодетеля! О цвет воинской доблести! О самый великодушный в мире рыцарь!

Во время битвы на равнине Альманары Донью Марию Паласин терзала жестокая

тревога. Она не сводила глаз с дороги из мавританских земель и беспрестанно спрашивала дозорного: «Что ты видишь?»

Однажды вечером, в сумеречный час, дозорный затрубил в рог.

– Я вижу в долине, – крикнул он, – большое шествие, христиане вперемешку с маврами. Впереди – стяг нашего господина.

– Добрые вести! – возгласил старый сенешаль. – Господин наш возвращается с победой и ведет пленников!

Замок огласился радостными кликами; развернули знамя, затрубили в трубы, опустили подъемный мост, и Донья Мария со своими дамами и рыцарями, пажами и менестрелями вышла навстречу победителю-мужу. Но когда шествие приблизилось, она увидела высокий катафалк, крытый черным бархатом, а на нем покоился воин: он лежал в латах, со шлемом на голове и с мечом в руке, не побежденный и в смерти; и катафалк был обвешан щитами с гербом рода Инохоса.

За катафалком скорбно шли мавританские рыцари в трауре; предводитель их бросился к ногам Доньи Марии, пряча лицо в ладонях. Она узнала в нем красавца Абадила, которого однажды принимала в своем замке вместе с его невестою, ныне же он привез бездыханный труп ее мужа, ненароком зарубив его в бою!

Раченьем мавра Абадила была воздвигнута гробница под аркадой монастыря Сан Доминго, то был горестный Дар в знак его скорби о гибели славного рыцаря Дона Муньо и почтения к его памяти. Хрупкая и верная Донья Мария ненадолго пережила мужа. На одном из камней маленькой арки возле его гробницы выбита простая надпись: *Hic jacet Maria Palacin, uxor Munonis Sancij de Hinojosa.* (Здесь покоится Мария Паласин, супруга Муньо Санчо де Инохоса.)

Но легенда о Доне Муньо Санчо не кончается его смертью. В тот день, когда отбушевала битва на равнине Альманары, служитель Святейшего Храма в Иерусалиме, стоя у городских ворот, увидел издали вереницу христианских рыцарей, должно быть паломников. Служитель был родом из Испании, и, когда паломники приблизились, он узнал в первом из них Дона Муньо Санчо де Инохоса, с которым когда-то был близко знаком. Поспешив к патриарху, он сообщил ему о прибытии знатных пилигримов, и патриарх вышел им навстречу с большой процессией священников и монахов, дабы оказать пришельцам должный почет. За предводителем шли семьдесят рыцарей – могучие и статные воины. Они несли шлемы в руках, и лица их были мертвенно-бледны. Никого не замечая и глядя прямо перед собой, они вошли во храм и, преклонив колена перед гробом Спасителя, в молчанье сотворили молитву. Затем они поднялись с колен, словно желая удалиться; патриарх со служителями подступили и обратились к ним, но их вдруг не стало.

Все были поражены и недоумевали, что значит это чудо. Патриарх записал день и час и отправил гонца в Кастилию за вестями о Доне Муньо. Ему было отвечено, что в указанный день этот доблестный рыцарь и семьдесят его приближенных погибли в бою. Значит, рассудил патриарх, в Иерусалим являлись блаженные души христианских воинов во исполнение их обета о паломничестве ко гробу господню. Такова была кастильская верность прежних времен: слово надлежало держать и за гробом.

Если кто-либо усомнится в чудесном явлении призрачных рыцарей, пусть заглянет в «Историю королей Кастилии и Леона», сочиненную ученым и благочестивым братом Пруденсио де Сандовалем, епископом памплонским; он найдет рассказ об этом в «Истории короля Дона Алонсо VI», на сто второй странице. Легенда эта слишком драгоценна, чтобы приносить ее в жертву недоверию.

Поэты и поэзия мусульманской Андалузии

Под конец моего пребывания в Альгамбре меня несколько раз навещал мавр из Тетуана, с которым я, к великому своему удовольствию, прогуливался по чертогам и дворикам – он переводил и объяснял мне арабские надписи. Он очень старался, и смысл доходил до меня в точности; но передать мне красоту языка и изящество слога он наконец отчаялся. Аромат поэзии, говорил он, выдыхается в переводе. Однако передал он достаточно, чтобы еще прочнее привязать меня к этому необычайному творению зодчества. Может быть, в целом свете нет такого памятника своему веку и своему народу, как Альгамбра: суровая крепость снаружи, роскошный дворец внутри, зубцы стен ощерились войною, а в сказочных чертогах веет поэзией. Воображение снова и снова невольно переносится в те времена, когда мусульманская Испания сияла островком света в христианской, но помраченной Европе; извне она виделась хищной и воинственной державой, внутри это было царство изящной словесности, наук и искусств, где философией занимались с таким упоением, что довели ее до степени изощренного суемудрия, и где чувственное роскошество было облагорожено игрою мысли и воображения.

Арабская поэзия, как известно, достигла высочайшего расцвета при испанских Омейядах, когда Кордова была средоточием могущества и роскоши Западного халифата. Один из последних халифов этой блистательной династии, Мухаммед бен Абдаррахман, сам был поэтом, как, впрочем, и большинство его предшественников. Он роскошествовал в знаменитом дворце и пышных садах аз-Захры, где его окружало все, что будит воображение и улаживает чувства. Дворец его был пристанищем поэтов. Его визиря Ибн Зейдуна называли Горацием мусульманской Испании; это прозвание он заслужил своими изысканными стихами, которые с восторгом читали даже при дворе Восточных халифов. Визирь страстно влюбился в царевну Валаду, дочь Мухаммеда. Она была кумиром отцовского двора и замечательнейшей поэтессой и славилась красотой не меньше, чем дарованием. Если Ибн Зейдун – Гораций, то она – Сафо мусульманской Испании. Царевна вдохновила самые сладостные стихи визиря; к ней обращен знаменитый рисалех – послание, которое историк Аш-Шаканди объявляет непревзойденным в его томной печали. Был ли поэт счастлив в любви, этого авторы, читанные мною, не сообщают; один из них роняет мимоходом, что царевна была столь же скромна, сколь и прекрасна, и что многие обожатели тщетно вздыхали по ней. Правда, владычеству любви и поэзии в дивной обители аз-Захры скоро настал конец: разразился народный мятеж. Мухаммед с семьей укрылся в крепости Уклее близ Толедо, где его вероломно отравил тамошний правитель. Так погиб один из последних Омейядов.

Падение этой блистательной династии, при которой все и вся стекалось в Кордову, было благоприятно для литературных провинций мавританской Испании.

«Когда ожерелье порвалось и жемчужины рассыпались, – говорит Аш-Шаканди, – правители малых государств поделили между собою наследие Бени Омейя». Они наперебой зазывали к себе поэтов и ученых и расточали им щедрые награды. Особенной щедростью отличались мавританские властители Севильи из прославленного рода Бени Аббада, «при которых, – по слову того же автора, – всюду явились пальмы и гранаты, увешанные плодами; дивное красноречие струилось в стихах и прозе; каждый день стал торжественным игрищем; повесть их царствования изобилует благородными и возвышенными деяниями, слава о которых переживет века и навечно останется в памяти людской».

Но больше всех от падения Западного халифата выиграла в куртуазном изяществе Гранада, которая стала наследницей пышной Кордовы и превзошла ее своей пленительной прелестью.

Ее благодатный климат – сочетание пламенного зноя южного лета и прохладного дыхания снежных гор; сладостный покой ее долин и чарующая тень рощ и садов – все нежило душу и располагало к любви и поэзии. Поэтому в Гранаде сочинялось столько любовных стихов. Поэтому любовные песнопения дышали воинственным пылом и суровое ремесло воина украшалось добродетелями рыцарства. Баллады, которыми до сих пор восторженно гордится испанская литература, – лишь эхо любовных и рыцарских лэ, когда-то восхищавших мусульманский двор Андалузии; нынешний историк Гранады [23 - Мигель Лафуэнте Алькантара (примеч. авт.).] считает, что от них берет начало *gima Castellana* [24 - Стих испанского романса (исп.).] и что это разновидность «веселой науки» трубадуров.

Отнюдь не чуждался поэзии и прекрасный пол. «Если бы Аллах, – говорит Аш-Шаканди, – даровал Гранаде лишь одну милость, сделав ее родиной столько поэтов, то и тогда бы она прославилась в веках». Одной из самых знаменитых поэтов была Хафса, наделенная, как свидетельствует все тот же летописец, красотой, дарованием, знатностью и богатством. До нас дошел лишь отрывок одного ее стихотворения, обращенного к возлюбленному по имени Ахмед и описывающего вечер, проведенный с ним в саду Маумалья: «Аллах даровал нам блаженную ночь, какой не изведуют злые и недостойные. Мы глядели, как ветерок с гор шевелил кроны кипарисов Маумалья, – легкий ветерок, напоенный запахом левкоев; голубь любовно ворковал меж деревьев; нежный базилик клонился к прозрачной струе».

Сад Маумалья был знаменит у мавров своими ручьями, фонтанами, цветами и особенно кипарисами. Он носил имя визиря гранадского султана Абдаллаха, внука Абен Габуза. Визирь этот немало порадел о благоустройстве Гранады. Он соорудил акведук, оросивший горной водою Альфакара холмы и сады северной окраины города. Он проложил кипарисную прогулочную аллею и «насадил дивные сады для утешения мавров, пребывающих в скорби». «Имя Маумалья, – говорит Алькантара, – надо увековечить в Гранаде золотыми буквами». Оно увековечено надежнее, став именем разбитого им сада и скользя в стихах Хафсы. Как часто случайно оброненное слово поэта становится залогом бессмертия!

Может быть, читателю будет любопытно узнать что-нибудь про Хафсу и ее возлюбленного, история любви которых срослась с названием одной из жемчужин Гранады. Вот то небольшое, что мне удалось отыскать во мраке забвения, сокрывшем сиянные славой имена и яркие дарования мусульманской Испании.

Ахмед и Хафса жили и благоденствовали в шестом веке Хиджры, или двенадцатом столетии христианской эры. Ахмед был сыном правителя Алькала ла Реаль. Отец хотел сделать из него сановника и воина и прочил его себе на смену, но юноша склонялся душой к поэзии и предпочел службе изысканные досуги и роскошные уюты Гранады. Он окружил себя твореньями искусства и обложился учеными трудами, перемежая занятия прихотливыми развлечениями в избранном кругу. Он любил охотничьи забавы, держал лошадей, собак и ловчих птиц. Более всего он предан был литературе и славился начитанностью; его сочинения в прозе и стихах чаровали всех и не сходили с уст.

Сердце у него было пылкое и влюбчивое, женская прелесть имела для него неотразимое обаяние, и он стал страстным обожателем Хафсы. Чувство его увенчала взаимность, и поначалу любовь их протекала как нельзя более счастливо. Влюбленные были молоды, равны талантами, славой, знатностью и богатством, чтили друг в друге дарование и обитали в волшебном крае любви и поэзии. Вся Гранада восторгалась их обоюдным стихотворством. Они постоянно обменивались посланьями «и слог их, – замечает арабский летописец Аль Маккари, – был нежен, как голубиное воркование».

Пока они так ворковали, в Гранаде сменилась власть. Мусульманской Испанией завладели альмохады, берберское горное племя марокканского Атласа, и столица

переместилась из Кордовы в Марокко. Султан Абдельмуман властвовал над Испанией через своих наместников – вали и правителей – алькайдов, и его сын Сиди Абу Сайд стал наместником в Гранаде. Он облакся царственным величием и роскошью и твердой рукою правил от имени отца.

Чужой в здешних краях и мавр по рождению, он постарался укрепить престол, приблизив к себе арабов из числа народных любимцев, и сделал Ахмеда, который был тогда на вершине славы и известности, своим визирем. Ахмед противился назначению, но вали и слышать не хотел никаких отговорок. Обязанности визиря были докучны поэту, и он вознегодовал на принуждение. В бытность с веселыми друзьями на соколиной охоте он разразился поэтическим уподобленьем, ликуя, что вырвался из-под самовластного надзора, словно кречет от сокольника, и волен парить по своей прихоти.

Слова его повторили Сиди Абу Сайду. «Ахмед, – сказал доносчик, – негодует на принуждение и глумится над твоей особой». Поэт тут же перестал быть визирем. Потеря этой хлопотной должности была бы весьма приятна беспечному Ахмеду, но скоро ему открылась истинная причина опалы. Вали был его соперником. Он увидел Хафсу и влюбился в нее. Печальней было то, что эта неожиданная победа вскружила голову самой поэтессе.

Сперва Ахмед недоуменно насмешничал и взывал к предубеждению арабов против мавританской расы. Сиди Абу Сайд был исчерна-смугл. «Как ты терпишь этого черномазого? – с презреньем спрашивал Ахмед. – Клянусь Аллахом, на невольничьем рынке я за двадцать динаров подышу тебе получше».

Насмешка достигла ушей Сиди Абу Сайда и озлобила его сердце.

Потом Ахмед предался любовным сетованиям, напоминал о былом блаженстве, корил непостоянную Хафсу и в отчаянии предупреждал ее, что она станет причиной его смерти. Все его слова были тщетны. Мысль, что ее любовник – султанский сын, воспламеняла воображение поэтессы.

Обезумев от ревности и скорби, Ахмед вступил в заговор против правящей династии. Умысел заговорщиков был раскрыт, и им пришлось спасаться бегством из Гранады. Кое-кто нашел прибежище в горных замках; Ахмед бежал в Малагу и скрывался там, намереваясь добраться морем до Валенсии. Его нашли, заковали в Цепи и бросили в темницу ждать приговора Сиди Абу Сайда.

В заточении его навел племянник, который затем описал эту встречу. Юноша был тронут до слез, видя своего блистательного родственника, низвергнутого с вершины славы и почета и закованного, будто простого злодея

– Почему ты плачешь? – спросил Ахмед. – Неужели ты льешь слезы обо мне? Обо мне, который насладился всеми земными благами? Не надо обо мне плакать. Я не был обделен счастьем: я вкушал изысканнейшие яства, пил из хрустальных бокалов, спал на пуховых перинах, одевался в тончайшие шелка и парчу, ездил на самых быстроногих скакунах, упивался любовью прекраснейших женщин. Не надо плакать обо мне. Судьба должна была когда-нибудь повернуться другой стороной. Вина моя велика, на прощенье я не надеюсь, и казнь меня не минует.

Предчувствие его оправдалось. Мстительный Сиди Абу Саид жаждал крови соперника, и злополучный Ахмед был обезглавлен в Малаге в месяц Джумада, в год Хиджры 559 (апрель 1164 года). Когда весть о его казни дошла до непостоянной Хафсы, она была потрясена горем и раскаянием и, облачившись в траур, припоминала зловещие слова Ахмеда – и корила себя за то, что стала причиной его смерти.

Дальнейшая судьба Хафсы мне неизвестна; я знаю лишь, что она скончалась в Марокко в 1184 году, пережив обоих своих любовников, ибо Сиди Абу Сайд умер в том же Марокко во время чумы 1175 года. Памятником его правления в Гранаде

остался дворец, который он выстроил на берегу Хениля. Сада Маумалья, приюта любви Ахмеда и Хафсы, нынче уж нет, и дознаться, где он был, под силу разве что археологу, если он заинтересуется поэзией.

В путь за патентом

Одним из самых важных местных событий был отъезд Мануэля, племянника Доньи Антонии, в Малагу – держать экзамен на доктора. Я уже извещал читателя, что от успеха этого испытания весьма и весьма зависели брак Мануэля с его двоюродной сестрицей Долорес и их будущее благополучие; так, по крайней мере, под большим секретом сообщил мне Матео Хименес, и сведения его вполне подтвердились. Между ними все было слажено так тихо и незаметно, что я бы, верно, никогда ни о чем не догадался, если б не всеведущий Матео.

На этот раз Долорес не слишком таилась и несколько дней кропотливо снаряжала в путь славного Мануэля. Одежда его была отобрана, приготовлена и тщательно уложена; сверх всего она даже сшила ему собственными руками щегольскую дорожную куртку с андалузской вышивкой. Утром в день выезда у портала Альгамбры стоял дюжий мул, и дядя Поло, старый солдат-инвалид, обряжал его в сбрую. Ветеран этот был примечательной фигурой. Его дубленое лицо со впалыми щеками, длинным прямым носом и густыми, косматыми бровями дочерна загорело в тропиках. Я часто видел, как он с головой уходил в чтение затрепанного пергаментного тома; иногда вокруг него собирались инвалиды-соратники: одни сидели на парапете, другие лежали на траве, и все в оба уха внимали ему, а он внятно и с расстановкой читал вслух любимую книгу, порою прерываясь, чтобы объяснить или растолковать трудное место не столь просвещенным слушателям.

Однажды я улучил случай подержать в руках эту древнюю книжицу, служившую ему чем-то вроде молитвенника; оказалось, что это томик сочинений падре Бенито Херонимо Фейхоо, трактующий об испанской магии, таинственных пещерах Саламанки и Толедо, чистилище Сан Патрисио (Святого Патрика) и тому подобных чудесах. С тех пор я стал приглядываться к ветерану.

В то утро я с живым любопытством наблюдал, как он снаряжает Мануэлева мула со всею предусмотрительностью бывалого воина. Долгое время он прилаживал и поправлял на его спине громоздкое старинное седло с высокой лукою спереди и сзади и мавританскими стремями лопаткой: казалось, оно добыто из оружейной Альгамбры; глубокое сиденье было застлано пышной овчиной; за седлом пристегнута малета [25 - Чемодан, дорожный мешок (исп.)], уложенная заботливой рукою Долорес; на нее наброшена манта [26 - Одеяло, плед, шаль (исп.)], подстилка или одеяло, это уж как придется; самонужнейшие альфорхи повешены были спереди, и с ними бота, кожаная бутылка с вином или водою; в заключение старый солдат приторочил сзади трубу, пошепту благословив его. Наверно, так же снаряжали в Древние времена мавританских ратников – в набег или в город на состязания. Кругом сошлись крепостные зеваки, среди них кое-кто из инвалидов; все глазели, предлагали помощь и подавали советы, к превеликому раздражению дяди Поло.

Когда все было готово, Мануэль распрощался с домашними, дядя Поло подержал ему стремя, поправил седло, затянул подпруги и отсалютовал по-военному, потом обернулся к Долорес, которая любовалась посадкой своего зарысившего прочь кавалера.

– Ah Dolorocita, – воскликнул он, с кивком подмигнув ей, – es muy guapo Manuelito ie su jaqueta! (Мануэль-то какой у нас молодец в своей новой куртке!)

Девушка покраснела, рассмеялась и убежала в дом.

День шел за днем, а вестей от Мануэля не было, хотя он и обещал написать. В сердечко Долорес закралась тревога. Может, что-нибудь случилось с ним по пути? Или он не выдержал экзамена? Дома тоже было неладно, и она совсем расстроилась и приуныла. Стряслось почти такое же несчастье, как тогда с голубем. Ее пестрая кошечка ночью сбежала и вылезла на черепичную крышу Альгамбры. Ночную тишь прорезал гневный кошачий визг: верно, какой-нибудь дрянной котофей был с нею неучтив; потом в дело пошли когти, и завязалась неистовая схватка; бойцы скатились с крыши и кувырком полетели с немалой высоты в рощу на горном склоне. Беглянка не вернулась и не отыскалась, и бедная Долорес решила, что главные несчастья впереди.

Однако через десять дней Мануэль вернулся торжествующий: теперь он был вправе лечить или миловать, и всем тревогам Долорес настал конец. Вечером у Доньи Антонии собрались все ее бесчисленные приятели и прихлебатели: поздравить ее и засвидетельствовать почтение новоиспеченному доктору, ведь El Señor Medico [27 - Господин лекарь (исп.)] раньше или позже будет волен в их животе и смерти. В числе самых почетных гостей был старый дядя Поло, и я с радостью воспользовался случаем познакомиться с ним поближе.

– О сеньор, – вскричала Долорес, – вы такой любитель старинных историй про Альгамбру, а дядя Поло знает их больше всех на свете. Куда до него Матео Хименесу со всем его семейством! Vaya-vaya [28 - Ну-ну (исп.)], дядя Поло, расскажи-ка сеньору все, что, помнишь, рассказывал нам тогда вечером, про зачарованных мавров и призраков на мосту через Дарро и про гранатовые деревья, которые посажены еще при царе Чико.

Но старого инвалида уломать было не так-то просто. Он покачал головой – нет, это все пустые рассказы, разве можно докучать ими почтенному кабальеро! Из него удалось кое-что вытянуть только после того, как я сам рассказал добрый десяток подобных историй. В голове его причудливо смешались легенды, слышанные в Альгамбре, с тем, что он вычитал у падре Фейхоо. Передать его повесть слово в слово я не берусь – вот ее беглый пересказ.

Легенда о зачарованном страже

Все слышали о пещере святого Киприана в Саламанке, где в давние времена некий престарелый пономарь тайно преподавал астрологию, некромантию, хиромантию и прочие темные и окаянные науки; говорят, что пономарь этот был сам дьявол. Пещеру давно замуровали и забыли даже, где она была; впрочем, по преданию, вход ее находился поблизости от нынешнего каменного креста на маленькой площади у карвахальской семинарии; и если верить нижеследующей повести, то предание право.

В Саламанке был когда-то студент по имени Дон Висенте, нищий и веселый, из тех, что пустились в науку без гроша в кармане и в каникулы бродят по градам и весям, промышляя подаванием на прожитие в будущем семестре. Как-то раз он собрался в такое странствие с гитарой через плечо, ибо он был большой дока по части музыки: с ее помощью он надеялся забавлять селян и платить за еду и ночлег.

Проходя мимо каменного креста на семинарской площади, он обнажил голову и наскоро помолился святому Киприану о ниспослании удачи, потом, опустив глаза, увидел, что у подножия креста что-то поблескивает. Он нагнулся и поднял печатный перстень из сплава золота и серебра. На печати были изображены два перекрестных треугольника, образующих звезду. Говорят, что это изображение – кабалистический знак, измышленный премудрым царем Соломоном, и что он имеет власть над всеми заклятиями, но наш честный студент не был ни мудрецом, ни волшебником и ни о чем таком не знал. Он подумал, что святой Киприан вознаградил его за молитву, надел

кольцо на палец, отвесил поклон кресту и, забренчав на гитаре, весело отправился в путь.

Нищему студенту в Испании живется вовсе не так уж худо, особенно если он умеет понравиться и угодить. Он скитается из селенья в селенье, из города в город, куда позовет его любопытство или прихоть. Сельские священники, которые большей частью были в свое время тоже нищими студентами, дают ему приют на ночь, кормят ужином, а наутро нередко снабжают в путь горстью грошиков, а то и полушкой. Он идет по улице от дверей к дверям и не встретит ни сердитого отказа, ни холодного презрения, ибо в нищенстве его нет ничего постыдного – ведь многие ученые люди в Испании с этого начинали; а если, как наш студент, он еще недурен собой и наделен веселым нравом да вдобавок умеет играть на гитаре, то крестьяне почти всегда встречают его радушно, а их жены и дочери – с кокетливой улыбкой.

Так, бренча гитарой, наш обтрепанный студент прошагал полкоролевства: он решил непременно побывать в прославленной Гранаде, а уж там и назад. Иногда его принимал на ночь деревенский пастырь, иногда он ночевал под убогим, но гостеприимным крестьянским кровом. Сидя у двери хижины с гитарой, он тешил честной народ песенками и балладами, а то наигрывал болеро или фанданго, и смуглые деревенские парни и девушки пускались в пляс в золотистых сумерках. Утром хозяин и хозяйка провожали его ласковым словом, а дочка их, бывало, позволит и руку пожать.

Так, с музыкой и песнями, он наконец достиг цели своего неблизкого путешествия, многославной Гранады – и с восторженным изумленьем узрел мавританские башни, дивную долину и снежные горы в струистой знойной выси. Не стану и описывать, как ему было любопытно войти в ворота и бродить по улицам, как у него разбегались глаза при виде восточного великолепия. Глянет ли женское личико из окошка, улыбнется ли с балкона – он уже готов был признать в незнакомке Зораиду или Зелинду; всякая статная дама, разгуливающая по Аламеде, казалась ему мавританской царевной, и впору было стелить свой студенческий плащ ей под ноги.

Беспечный нрав, в руках гитара, одежонка худая, но юн да пригож – конечно, везде ему были рады, и несколько дней он напропалую веселился в мавританской столице и ее окрестностях. Чаще всего бывал он у фонтана Авельянос в долине Дарро. Еще с мавританских времен это излюбленное место веселых сборищ гранадцев, и здесь любознательный студент во все глаза изучал женскую прелесть; на это у него всегда хватало прилежания.

Он присаживался со своей гитарой, сочинял песенку-другую на забаву щеголям и щеголихам, потом наигрывал танец, а танцевать в Андалузии все и всегда готовы. Сидя так однажды под вечер, он увидел, что к фонтану идет приходский священник и все приподнимают перед ним шляпы. Он, видно, был здесь знаменит – если не святостью, то благоутробием; плотный и румяный, он пытел и отдувался – от жары и от трудов праведных. Время от времени он выуживал из кармана мараведис и с особым значением подавал его нищему. «Ах, отец наш милосердный! – раздавалось кругом. – Живи и здравствуй, дай тебе бог скорей стать епископом!»

Подъем в гору давался ему нелегко, и он мягко опирался на руку служанки, должно быть избранной овечки этого любящего пастыря. Ах, что это была за девушка! Андалузянка с головы до пят: от розы в волосах до крохотного башмачка и ажурного чулочка; андалузянка по всей стати, в каждом изгибе – сочная, наливная андалузянка! Но такая скромная! Такая робкая! С опущенным взором внимала она благочестивым речам падре, а если и кидала взгляды по сторонам, то тут же спохватывалась и потупляла очи долу.

Добрый падре благосклонно оглядел сборище, важно уселся на каменной лавке, и служанка мигом поднесла ему искристый стакан воды. Он степенно и со вкусом прихлебывал, заедая питье ноздреватым пирожным из взбитых белков, столь лакомым

испанским гурманам, а возвратив стакан служанке, потрепал ее по щечке с отцовской нежностью.

– Ах, славный пастырь! – шепнул про себя студент. – Как бы пробраться в твоё стадо – поближе к этой овечке!

Но такой благодати ему пока не выпало. Напрасно он пустил в ход все обаяние, пленившее стольких сельских священников и деревенских красоток. Гитара его звенела и плакала, напевы брали за душу, но тут священник был не сельский, а красotka не деревенская. Служитель божий явно не любил музыки, а скромная девица ни разу даже глаз не подняла. Недолго они и пробыли у фонтана: добрый падре заторопился в Гранаду. Перед уходом девушка робко глянула на студента, и сердце его рванулось за нею.

Они удалились, а он начал расспросы. Падре Томас был гранадской святынею, зеркалом праведности: час в час он восставал от сна, прогуливался для аппетита, час в час трапезовал, вкушал сиесту, играл вечерами в тресильо с любимыми дочерьми церкви, час в час ужинал и удалялся на покой, дабы набраться сил на завтрашний день – точно такой же.

У него был гладкий, откормленный мул для разъездов, осанистая домоправительница, мастерица стряпать лакомые кушанья, и излюбленная овечка, которая взбивала ему на ночь подушки и приносила поутру шоколад.

Прости-прощай веселая и беззаботная студенческая жизнь; раз только искоса глянули ясные глазки – и погиб человек. День и ночь видел он перед собой ее одну – самую скромную девушку на свете. Он отыскиал особняк падре. Увы! В такой дом бродячему студенту вроде него ходу не было. Достойный падре не имел к нему никакого сочувствия; сам он не бывал *Estudiante sopista* [29 - Студент-попрошайка (исп.)] и не зарабатывал ужин песнями. А тот день-деньской бродил под окнами, в которых иногда мелькала служаночка; но мелькание это лишь разжигало его пыл и ничего ему не обещало. Он пел серенады под ее балконом, и однажды – о, радость! – в окне возникло что-то белое. Увы, это был лишь ночной колпак падре.

Никогда еще не было такого преданного обожателя и такой робкой девицы; бедный студент впал в отчаяние. Между тем настал канун Иванова дня, когда простой люд толпами валит из Гранады за город, весь вечер танцует и проводит ночь под солнцеворот на берегах Дарро и Хениля. Счастливы те, кому удастся омыть лицо речной водою с последним полуночным ударом соборного колокола: на миг вода становится волшебной и делает человека красавцем. Студент от нечего делать затесался в праздничную толпу и добрел с нею до узкой долины Дарро, к подножию горы, на которой высились красноватые стены Альгамбры. В полу высохшем русле реки, на прибрежных скалах и садовых террасах на горных уступах – всюду шумели пестрые компании; под виноградными лозами и раскидистыми смоквами шли танцы, звенели гитары и трещали кастаньеты.

Студент в тоске и унынии прислонился к одному из причудливо изогнутых гранатовых деревьев, растущих по обе стороны мостика над Дарро. Печально обозревая картину общего веселья, где у каждого кавалера была своя дама или, выражаясь более уместно, у всякого барана своя ярочка, он вздыхал о своей одинокой судьбе – надо же было ему плениться черными глазками такой неприступной девицы! – и роптал на свое затасканное платье, в котором нечего было и стучаться во врата надежды.

Постепенно его заинтересовал сосед, такой же одинокий. Это был воин сурового вида, с проседью в густой бороде; он стоял, как на часах, у граната напротив. Лицо его было землисто-зеленоватое; в старинном испанском доспехе, с копьем и щитом, он стоял неподвижно, как статуя. Студент немного удивился, что никто не замечает его необычного наряда: на него даже не глядели и только что не пихали локтями.

«В этом городе много всякой старины, – подумал студент, – и, наверно, к этому

чужаку тоже привыкли и не удивляются».

Ему все же стало любопытно, а нрав у него был общительный, и он подошел к воину.
– Редкостный у вас доспех, приятель. Это каких же войск?

Челюсти воина растворились со скрежетом, точно Двери на заржавленных петлях, и глухой голос отвечал:

– Королевская стража Фердинанда и Изабеллы.

– Санта Мария! Да этой стражи уже лет триста и в помине нет!

– А я триста лет как в карауле. Теперь, кажется, конец моей службы близок. Хочешь разбогатеть?

В ответ студент трепыхнул драным плащом.

– Я тебя понял. Если ты человек надежный и имеешь мужество, следуй за мной – и станешь богат.

– Не спеши, приятель; чтоб следовать за тобой, особого мужества мне не надо: у меня только и есть что жизнь да старая гитара – и той и другой цена ломаный грош.

Надежный-то я надежный, но тут меня не собьешь: не введи нас во искушение. Если ради богатства надо украсть или убить, то пусть уж я лучше буду щеголять в драном плаще.

Воин полыхнул на него гневным взором.

– Меч мой, – сказал он, – я вынимал из ножен только в защиту веры и трона. Я Cristiano viejo; следуй за мной и дурного не опасайся.

Студент, поколебавшись, побрел за ним. Он заметил, что на разговор их никто не обратил внимания и что воин шел сквозь толпу гуляк как бы невидимкой.

За мостом воин свернул узкой и крутой тропой мимо мавританской мельницы и акведука, вверх по ложбине, разделяющей угодья Хенералифе и Альгамбры. Последний закатный луч скользнул по красным зубцам высоко над ними, и монастырские колокола возвестили грядущее празднество. Ложбина заросла смоквами, виноградом и миртом, и небо заслоняли крепостные башни и стены. Было темно и безлюдно, и сумеречные нетопыри метались кругом. Наконец воин остановился у отдаленной разрушенной башни, когда-то, верно, охранявшей мавританский акведук. Он ударил древком копья в башенное основание. Прокатился подземный гул, и тяжкие камни разверзлись, образовав проход шириною с дверной проем.

– Входи во имя пресвятой троицы, – сказал воин, – и ничего не бойся.

Сердце у студента екнуло, но он перекрестился, пробубнил под нос «Аве Марию» и вошел за своим таинственным вожатым в глубокий погреб, вырубленный в скале под башней и исчерченный арабскими письменами. Воин указал на каменную скамью в стене.

– Смотри, – сказал он, – она триста лет служила мне ложем.

Ошарашенный студент попробовал отшутиться.

– Клянусь блаженством святого Антония, – сказал он, – крепко же вам спалось, ежели было не жестковато.

– Напротив, сон ни разу не смыкал мне очи: я обречен нести бессменный караул. Слушай, как это было. Я был телохранителем Фердинанда и Изабеллы, попал в плен во время мавританской вылазки, и меня заточили в этой башне. Когда готовились сдать крепость христианским государям, некий факих, мавританский законоучитель, соблазнил меня помочь ему укрыть в этом погребе часть сокровищ Боабдила. За это я понес кару – и поделом. Факих этот был африканский чернокнижник и демонским ухищрением наложил на меня заклятье – я стал караульщиком сокровищ. С ним, должно быть, что-нибудь случилось, ибо он исчез навсегда, похоронив меня заживо. Протекли года и века, гора содрогалась от землетрясений, и я слышал, как камень за камнем крушило башню время; но над заколдованными стенами этого погреба не властны ни время, ни стихии.

Раз в сто лет, в праздник святого Иоанна, заветье приотпускает меня: я могу выйти и стоять на часах у моста через Дарро, где ты встретил меня, – стоять и ждать, не явится ли такой, у кого есть власть разрушить злые чары. Дважды я простоял там напрасно. Я окутан как бы облаком и сокрыт от смертных взоров. За триста лет ты первый подошел ко мне. Это понятно. Я вижу у тебя на пальце перстень с печатью Соломона премудрого, пронизающей все заветья. В твоей власти вызволить меня из этой ужасной темницы или оставить на страже еще сто лет.

Студент выслушал этот рассказ в немом изумленьи. Он слыхивал много историй о сокровищах, хранимых нерушимыми заветьями в подвалах Альгамбры, но считал их вздорными выдумками. Теперь он оценил и подарок святого Киприана. И все-таки, даже владея могучим талисманом, жутковато было оказаться в таком месте наедине с зачарованным стражем, который по законам природы должен был без малого триста лет назад спокойно истлеть в могиле.

Во всяком случае, с этим живым мертвецом шутки были плохи, и студент заверил его, что готов по дружбе и с охотой сделать все возможное ради его избавления.

– На одну дружбу я бы не положился, – молвил страж.

Он указал на объемистый железный сундук, запоры которого покрывала арабская вязь.

– Этот сундук, – сказал он, – таит несметные сокровища – золото, драгоценности, каменья. Разрушь заветье, сковывающее меня, и половина сокровищ – твоя.

– Но как же мне это сделать?

– В помощь тебе нужны христианский священник и христианская дева. Священник совершит обряд изгнания нечистой силы, девушка коснется сундука Соломоновой печатью. Сделать это надо ночью. Но только помни: дело это нешуточное и не под силу рабам плотских похотей. Священник должен быть Cristiano viejo, образец праведности, и перед тем как явиться сюда, ему надо умерщвлять плоть суровым постом ровно сутки, а девица должна быть безупречна и неподвластна искушеньям. Немедля пустись на их поиски. Через три дня конец моему отпуску если на третьи сутки до полуночи я не буду избавлен, то останусь нести караул еще на сто лет.

– Не бойтесь, – сказал студент. У меня есть на примете как раз такой священник и такая самая девица. Но как мне снова проникнуть в эту башню?

– Соломонова печать отверзнет ее перед тобою.

Студент вышел из башни куда веселей, чем вошел, и стена сомкнулась за ним наглухо.

Наутро он смело постучался в особняк падре; он ведь теперь явился не как студент-попрошайка, у которого, кроме гитары, за душой ничего нет, а как посланец из мира теней, хозяин зачарованных сокровищ. На чем они договорились, неизвестно, но достойный падре тут же возгорелся рвением спасти старого бойца за веру и сундук царя Чико из когтей сатаны: сколько милостыни можно раздать, сколько храмов построить, сколько бедных родственников облагодетельствовать, заполучив эти мавританские сокровища!

Что до непорочной служанки, то она согласна была приложить руку к святому делу – а большего от нее и не требовалось, и если судить по двум-трем робким взглядам, то посланец тьмы очень выиграл в ее скромных глазках.

Главной препоной оказался пост, которому добрый падре должен был себя подвергнуть. Он пробовал Дважды, и дважды плоть одолевала дух. Только на третий день ему удалось устоять перед искушеньем кладовой; но оставалось сомнение, дотерпит ли он до Того, как рухнет заветье.

Поздно вечером троица пробиралась ложбиной при свете фонаря, с собою у них была корзинка съестного, чтобы посрамить голодного беса, когда все прочие изыдут к черту на кулички.

Печать Соломона отворила им башню. Воин дожидался их, сидя на заколдованном сундуке. Обряд изгнания был завершен честь по чести. Девушка выступила вперед и коснулась запоров сундука Соломоновой печатью. Крышка откинулась – и какая россыпь золота, украшений и драгоценных камней ослепила им глаза!

– Хватай кто сколько может! – радостно заорал студент, набивая карманы.

– Спокойно, всем поровну! – остерег воин. – Вытащим сундук целиком и поделимся.

И они из всех сил принялись тащить сундук, но он не поддавался: тяжесть была невероятная, и за столетия он вдавился в камень. Пока они тужились, добрый пастырь уселся в сторонке и взял в оборот корзину, чтобы изгнать голодного беса, явившегося у него в желудке. Он вмиг уплел жирного каплуна, разом глотнул полбутылки отменного Валь де Пеньяс и взамен затрапезной молитвы от души чмокнул в самые губы свою возлюбленную овечку, которая ему прислуживала. Сделано это было в укромном уголке, но болтливые стены разнесли эхо со злорадным торжеством. Никогда еще невинный поцелуй не кончался таким грохотом. Воин испустил ответный вопль отчаяния; наполовину поднятый сундук бухнулся на место и снова заперся.

Священник, студент и девушка очутились снаружи, и стена башни сомкнулась с громовым раскатом. Увы! Добрый падре слишком рано прервал свой пост!

Короче, соборный колокол прозвонил полночь, заклятье вступило в полную силу: солдат был обречен караулить еще сто лет и сидит над сокровищем и поныне – и все оттого, что чадолюбивый падре поцеловал свою служанку.

– Ах, отец, отец! – сказал студент по дороге через овраг, горестно покачивая головой. – Боюсь, что поцелуй ваш был не без греха!

На этом достоверные сведения обрываются. По слухам, однако, студент вынес в карманах достаточно на первое обзаведенье, и дела его, говорят, пошли на лад, а почтенный падре отдал ему в жены свою возлюбленную овечку, чтобы загладить проступок в погреб; непорочная девушка стала из примерной служанки примерной супругой и народила мужу кучу детей. Особенно удался их первенец: он хоть и появился на свет через семь месяцев после свадьбы, но был крепче и толще всех прочих, даром что недоношенный. Остальные родились в положенные сроки.

История о зачарованном страже остается излюбленным гранадским преданьем. Правда, рассказывают его по-разному: простые люди, например, говорят, что страж каждый год накануне Иванова дня стоит под исполинским гранатом у моста через Дарро, но увидеть его можно, только если раздобыть кольцо с печатью Соломона.

Послесловие к зачарованному стражу

Есть древние испанские поверья о глубоких пещерах, в которых либо сам дьявол, либо его доверенные ведуньи обучали чернокнижию. Особенно славилась пещера в Саламанке. Дон Франсиско де Торребланка упоминает о ней в первой книге своего труда о магии, гл. 2, § 4. Рассказывают, будто дьявол выступал там оракулом, отвечая пришельцам на их роковые вопросы, подобно как в знаменитой пещере Трофония. Дон Франсиско хоть и приводит эти рассказы, но сам им не верит: ему положительно известно, что в этой пещере тайно преподавал черную магию некий пономарь, по имени Клемент Потоши.

Падре Фейхоо, который навел основательные справки, сообщает, что по народному разумению наставником был дьявол самолично; зараз он брал семь учеников, и один из семерых, по жребию, должен был предаться ему душой и телом. Однажды по завершении курса наук жребий пал на молодого маркиза де Вильена, которому удалось надуть нечистого и подсунуть ему вместо тела свою тень.

Дон Хуан де Диос, университетский профессор-латинист начала прошлого века,

излагает эту историю, якобы по старинным манускриптам, следующим образом. Заметим, кстати, что он сильно поубавил в ней сверхъестественного, а дьявола изгнал вовсе.

Что касается истории о пещере святого Киприана, пишет он, то нам удалось удостовериться лишь одно: на том месте, где сейчас посреди маленькой площади, прилегающей к карвахальской семинарии и носящей ее имя, стоит каменный крест, была некогда приходская церковь святого Киприана. Двадцать ступеней вели в подвальную ризницу, просторную и сводчатую, как пещера. Здесь пономарь преподавал во время оно магию, астрологию, геомантию, гидромантию, пиромантию, акромантию, хиромантию, некромантию и тому подобное.

Манускрипт сообщает, что однажды в ученики пономарю напросились за немалую плату сразу семь студентов. Они кинули между собой жребий, кому платить за всех, и уговор был таков, что неплательщик остается запертым в ризнице, пока не выложит все до последнего грошика. Так и повелось.

Как-то жребий пал на Энрике де Вильена, тезку его отца маркиза. Он заметил, что дело нечисто, и, заподозрив, что к мошенничеству приложил руку сам пономарь, платить наотрез отказался. Его заперли в этом преддверии ада. Случилось так, что в углу ризницы стоял кувшин для воды, громадная посуда, растрескавшаяся и пустая. Юноша исхитрился залезть туда с головой. Пономарь со служкой принесли ему на ночь свечку и ужин. Отперши дверь, они увидели, что в подвале никого нет, лишь на столе раскрыта книга заклинаний. Они в испуге бежали, забыв запереть за собой, и Вильена спокойно вышел из заточенья. Пошел слух, что он перекинулся невидимкой. Теперь читателю известны обе версии, пусть сам выбирает. Замечу лишь, что старожилы Альгамбры склоняются к версии сатанинской.

Энрике де Вильена жил и благоденствовал во времена короля Хуана II Кастильского, которому доводился дядею. Он прославился по знаниям в естественных науках и в те невежественные времена, разумеется, прослыл чернокнижником. Фернан Перес де Гусман в своих рассказах о людях именитых признает за ним великую ученость, но сетует на его пристрастие ко всяческой ворожбе, толкованьям снов, символов и знамений.

По смерти Вильены библиотека его перешла к королю, и его упредили, что в ней уйма колдовских книг, которые читать не должно. Король Хуан повелел скопом отвезти ее на рассмотрение к некоему достопочтенному прелату. Тот был не столько учен, сколько набожен. Одни книги оказались по математике другие – по астрономии, с чертежами, диаграммами и планетными знаками, третьи-по химии и алхимии с мудреными иностранными словами. На взгляд благочестивого прелата, все это было сущее чернокнижие и книги предали огню, как некогда библиотеку Дон Кихота.

Печать Соломона

На печати вырезаны два равносторонних треугольника, наложенные один на другой и образующие звезду, вписанную в круг. Согласно арабскому преданию, когда всевышний предложил Соломону блага на выбор и он избрал мудрость, с неба упал перстень с таким начертанием. В этом талисмане была тайна его мудрости, довольства и величия, оттого и царство его процветало. За прегрешение против целомудрия он уронил перстень в море и тут же стал обычным из обычных людей. Покаянье и молитва вернули ему милость божию: перстень отыскался в брюхе рыбы, и Соломон вновь обрел небесные дары. Чтоб не потерять их вторично и навсегда, он посвятил приближенных в тайну чудесного перстня.

Таинственную печать, как нам сообщают, святотатственно оскверняли нечестивцы

магометане, до них – арабские язычники, а еще до них – евреи, применяя ее для «сатанинских затей и мерзостного идолопоклонства». Кто хочет получить обо всем этом доскональные сведения, пусть заглянет в трактат ученейшего отца Атаназия Киркера «Cabala Sargasenica» [30 - Сарацинская кабала (лат.)].

Слово к любознательному читателю. В наши скептические времена многие старательно осмеивают все связанное с оккультными науками и черной магией, не верят в колдовство, ведовство и заклинания и ничтоже сумняшеся заявляют, будто все это пустые выдумки. Этим закоренелым скептикам нипочем свидетельства былых веков, они доверяют лишь собственным чувствам и отрицают прошлые чудеса по той простой причине, что в наши дни ничего подобного не встречали. Им невдомек, что, когда люди понаторели в естественных науках, отпала прямая надобность в сверхъестественных и они отошли в область преданий; секреты изощренных ремесел явились на смену тайнам волшебства. И все же, по мнению людей сведущих, чародейные силы существуют, хоть и сокрыты, в стороне от людского разумения. Талисман остается талисманом, и все его исконные и устрашающие свойства по-прежнему при нем, хоть он и пролежал много веков втуне на дне морском или в пыльной каморке антиквария.

Печать Соломона премудрого, к примеру, заведомо имела власть над духами, демонами и заклятьями: кто может ручаться, что эта самая волшебная печать, где бы она не находилась, ныне вдруг утратила былую дивную силу? Маловерам я советую отправиться в Саламанку, спуститься в пещеру святого Киприана, проникнуть в ее таинства, тогда и судить. А кому такое изыскание в тягость, тот пусть уж отринет праздное недоверие и принимает вышеизложенную легенду за чистую монету.

Прощание автора с Гранадой

Мое счастливое и безмятежное царствование в Альгамбре внезапно подошло к концу: однажды, когда я вкушал восточную негу в прохладных купальнях, мне принесли письма, отзывавшие меня из моего мусульманского элизиума в толчею и свалку тусклого мира. Каково мне было возвращаться к заботам и тревожностям после отдохновений и грез! И как перенести житейскую прозу после поэзии Альгамбры!

Сборы понадобились недолгие. Двуколка под названием тартана, очень похожая на крытую телегу, должна была доставить меня и одного молодого англичанина через Мурсию в Аликант и Валенсию, оттуда наш путь лежал во Францию. Длинноногий малый, бывший контрабандист, а может стать и разбойник, навязался нам в проводники и телохранители. Да, собрался я быстро, но уехать было нелегко. День за днем я откладывал отъезд и день за днем проводил в своих излюбленных местах, которые изо дня в день казались мне все восхитительнее.

К тому же я на удивление сжился с маленьким домашним мирком, печали и радости которого столь долго разделял; и всех так огорчил мой близкий отъезд, что я им, надо полагать, был тоже не безразличен. И когда наконец наступил последний день, я даже не стал устраивать расставанья с семейством тетюшки Антонии, а то бедная малышка Долорес и так ходила с глазами, полными слез. Безмолвно простившись с дворцом и его обитателями, я спустился в город, словно на прогулку. Между тем тартана и проводник уже дожидались; мы со спутником пообедали в гостинице и отправились в путь.

Убог был кортеж и печален отъезд царя Чико Второго! Племянник тетюшки Антонии Мануэль, мой назойливый, а ныне безутешный оруженосец Матео и два-три инвалида из Альгамбры, с которыми я любил перекинуться словцом-другим, пришли меня проводить, ибо есть в Испании добрый старый обычай выезжать на несколько миль

навстречу другу и те же несколько миль сопровождать отъезжающего. Так мы и тронулись: наш длинноногий телохранитель шагал впереди, эскопета на плече; Мануэль и Матео – по обе стороны тартаны; старые инвалиды – позади.

К северу от Гранады дорога постепенно поднимается в гору; я вылез из двуколки и пошел пешком рядом с Мануэлем, который решил, что настала пора поведать мне тайну своего сердца и рассказать о нежной приязни между ним и Долорес, не зная, что я был уже обо всем этом наслышан от всеведущего и всеоткрывающего Матео Хименеса. Лекарский патент приуготовил их брак, и теперь оставалось только получить дозволение от папы римского: как-никак близкие родственники! И тогда, если он станет *Medico* в крепости, то и мечтать больше не о чем. Я одобрил его рассудительный и отличный выбор подруги жизни, пожелал им всяческого счастья в браке и выразил надежду, что в будущем милая Долорес сможет пестовать от избытка чувств не только гуляющих кошек и беглых голубей.

Горестно распростился я с этими добрыми людьми и горестно следил, как они медленно спускаются под гору, оборачиваются и машут рукой напоследок. Мануэлю-то утешений хватало, но бедняга Матео был как в воду опущенный. Какое ужасное падение: вчера еще – визирь и историограф, а нынче – бурый плащ и голодное ремесло плетельщика. Я, признаться, вовсе и не думал, что так привязался к своему назойливому оруженосцу. Мне было бы гораздо легче расставаться, если б я знал, что судьба его изменится к лучшему и я тому причиной: то, что я так внимательно выслушивал его рассказы, болтовню, а порой и любопытные сведения, и то, что он так часто прогуливался со мною, возвысило его в собственных глазах и открыло перед ним новое поприще. Сын Альгамбры стал постоянным проводником по дворцу и крепости – и недурно зарабатывал. Мне рассказывали, что больше ему не пришлось надевать тот бурый плащ, в котором я его впервые увидел.

Солнце склонилось к закату; дорога сворачивала в горы; я остановился и кинул последний взгляд на Гранаду. Холм, на котором я стоял, был северным подобьем южного Холма Слез (*la Cuenta de las Lagrimas*), где прозвучал «прощальный вздох мавра». Теперь я как нельзя лучше понимал чувства, которые испытывал бедный Боабдил, оставляя позади рай земной и видя перед собою каменистый и пустынный путь в изгнание.

Заходящее солнце, как обычно, озарило печальным сиянием багровые башни Альгамбры. Приглядевшись, я смутно различил окно и тот балкон на башне Комарес, где я провел в мечтаниях столько дивных часов. Густые рощи и сады вокруг города были облиты закатным золотом; лиловатая вечерняя дымка застилала Бегу; во всем было прощальное, нежное и скорбное очарование.

– Пойду поскорее прочь, – подумал я, – куда солнце не село. Хорошо бы так и запомнить всю эту красоту.

С такими мыслями я побрел в горы. Еще немного – и Гранада, Бега и Альгамбра скрылись за поворотом; так прервался один из сладчайших жизненных снов, и читатель, может быть, скажет, что он был чересчур переполнен сновиденьями.